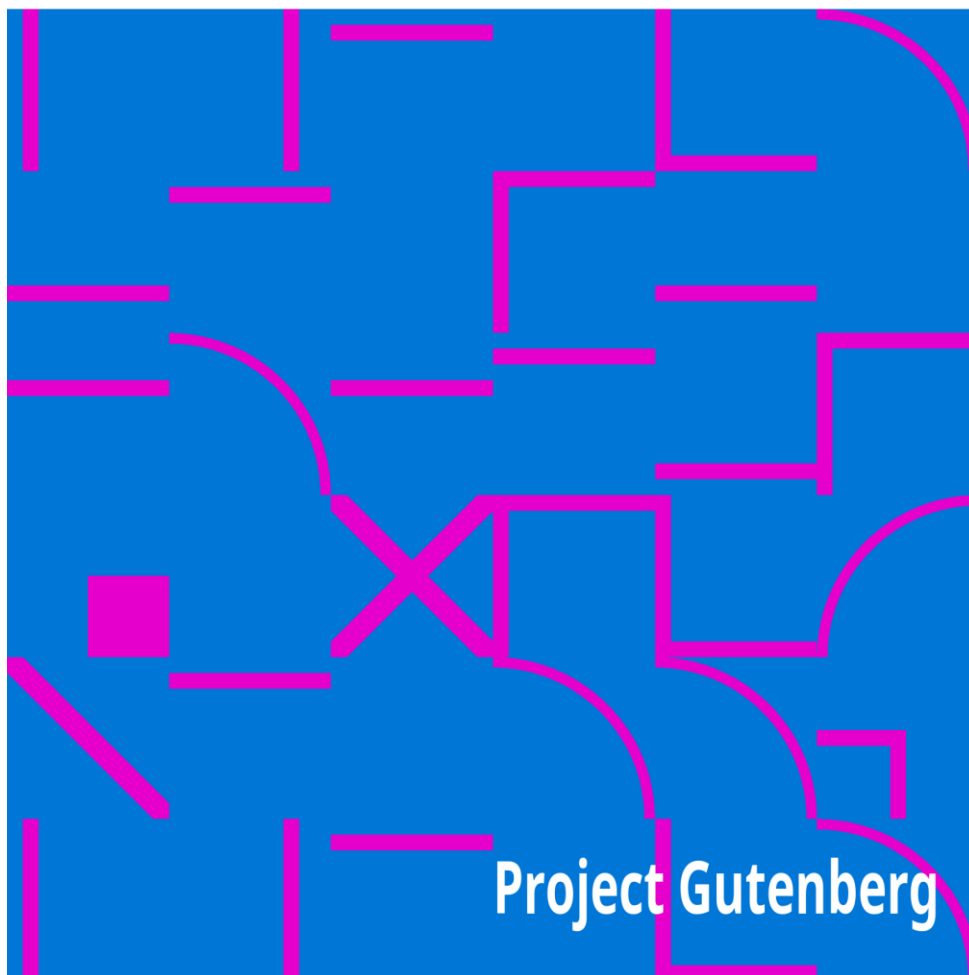


Жизнь Цицерона, том II

Энтони Тrollop

The Life of Cicero, Volume II.

Anthony Trollope



The Project Gutenberg eBook of The Life of Cicero, Volume II.

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинстве других частей света без каких-либо затрат и почти без ограничений. Вы можете копировать, дарить или повторно использовать ее на условиях Лицензии Проекта Гутенберга, прилагаемой к этой электронной книге или размещенной на сайте www.gutenberg.org. Если вы находитесь не в Соединенных Штатах, то перед использованием этой электронной книги вам придется ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь.

Название: Жизнь Цицерона, том II.

Автор: Энтони Тrollop

Дата выхода: 3 мая 2009 [eBook #28676]

Язык: Английский

Кредиты: Подготовлено Тургутом Динчером, Тедом Гарвином и командой Online Distributed Proofreading Team на <http://www.pgdp.net>

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА GUTENBERG EBOOK THE LIFE OF CICERO, VOLUME II. ***

Примечание транскриптора:

LIFE OF CICERO

BY ANTHONY TROLLOPE

В ДВУХ ТОМАХ

Том II.

НЬЮ-ЙОРК

ХАРПЕР И БРАТЯ, ФРАНКЛИН СКВЕР

1881

ТОМ I.

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА II.

	СТРАНИЦА
ГЛАВА I.	
Его возвращение из изгнания	7
ГЛАВА II.	
Цицерон, ætat. 52, 53, 54.	38
ГЛАВА III.	

Мило	59
ГЛАВА IV.	
Киликия	76
ГЛАВА V.	
Война между Сезаром и Помпеем	110
ГЛАВА VI.	
После битвы	129
ГЛАВА VII.	
Марцелл, Лигарий и Дейотар	147
ГЛАВА VIII.	
Смерть Сезара	172
ГЛАВА IX.	
Филиппики	195
ГЛАВА X.	
Смерть Цицерона	231
ГЛАВА XI.	
Риторика Цицерона	249
ГЛАВА XII.	
Философия Цицерона	277
ГЛАВА XIII.	
Нравственные сочинения Цицерона	304
ГЛАВА XIV.	
Религия Цицерона	321

ПРИЛОЖЕНИЕ 333

ИНДЕКС 333

Глава I.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ИЗГНАНИЯ.

Жизнь Цицерона в течение следующих двух лет была отмечена рядом речей, которые были произнесены во время его изгнания и возвращения. Они отличаются похвалой в свой адрес и жестокостью, с которой он нападал на своих врагов. Надо признать, что никогда еще оскорбления не были столь оскорбительными, а самовосхваление не произносилось более хвалебным языком. ¹ Теперь Цицерон сделал все, что было полезно в его общественной жизни. Впереди - великие памятники его литературы. До сих пор не было написано ничего, кроме небольшой части его писем - около десятой части, - и о них он думал не больше, чем о публике, как и обычные современные писатели. Было создано несколько стихотворений и история его собственного консульства на греческом языке, но они нам неизвестны. Он уже стал величайшим оратором, возможно, всех времен, и мы располагаем многими из произнесенных им речей. Некоторые из них - те пять, что рассказывают историю Верреса, - не предназначались для произнесения, а были написаны по случаю дня, а не с целью создания постоянной литературы. Он был квестором, эдилом, претором и консулом, причем с необыкновенным и неизменным успехом. Он был честен при исполнении государственных обязанностей, когда быть честным означало быть необычным. Он покупал золотые мнения у самых разных людей. Он был верен своей стране и одновременно полезен - сочетание, которого не дано было достичь ни одному государственному деятелю тех дней. Будучи претором и консулом, он отказался от привычных наград и воздержался от провинций. Его речи, за редким исключением, до сих пор произносились в пользу честности. Это выступления против несправедливости, против взяточничества, против жестокости и все от имени достойной цивилизованной жизни. Если бы он умер тогда, он не стал бы героем литературы, чудом среди литераторов, которым восхищается читающий мир; но он был бы великим человеком и спас бы себя от ожесточения кесаревых языков.

Его общественная работа была, по сути, закончена. Дальнейшее его служение заключалось в управлении Киликией в течение года - работа, которая была для него одиозной, хотя ее исполнение было благословением для провинции. Затем последовала тщетная борьба с Сезаром, попытка сделать из Сезара лучшего победителя, последний громкий крик в защиту Республики, а затем все было кончено. Четырнадцать лет жизни, которые еще оставались ему, хватило на возведение того литературного памятника, о котором я говорил, но его общественная польза была окончена. Читателю его биографии покажется, что эти предстоящие четырнадцать лет будут лишены того изящества, которое украшало последние двадцать. Биограф будет вынужден придумывать оправдания, которые он не будет делать, не веря в их истинность, но сильно сомневаясь в том, что сможет вызвать веру у других. Он думает, что видит, как человек переходит из одной формы в другую - его сомневающуюся преданность Помпею, его вынужденную приверженность Сезару, его страстную оппозицию Антонию; но он все еще видит его верным своей стране и всегда начеку против тирании и во имя чистого патриотизма.

В настоящее время мы имеем дело с Цицероном, который не колеблется, а громко ликует и громко критикует. В течение двух лет после своего возвращения он произнес ряд речей, во всех из которых мы видим изменившийся тон его мышления. В них уже нет той веры в конечный успех справедливости и окончательный триумф республики, которая светила в его орациях Веррина и Катилины. Он вынужден опуститься в своих устремлениях. Его

интересует не то, будет ли Рим свободен, будет ли чиста скамья правосудия, а то, будет ли отомщен Цицерон и наказан Габиний. Может быть, это и правильно - правильно, что Цицерон должен быть отомщен, а Габиний наказан; но следует признать, что эти темы менее привлекательны.

Его первая оратория, как принято считать, была произнесена перед сенатом в честь его возвращения. Вторая была обращена к народу на ту же тему. Третья была обращена к коллегии жрецов с целью вернуть землю, на которой стоял его дом и которую Клодий пытался навсегда отторгнуть, посвятив ее якобы религиозным целям. Следующее, как и положено в нашем списке, хотя и не вовремя, было снова адресовано сенату по поводу официальных сообщений, сделанных публичными прорицателями, толкователями оккультных знаков, о том, были ли некоторые предзнаменования посланы богами, чтобы показать, что Цицерону не следовало возвращать свой дом. Перед этим он защищал Секстия, который, будучи трибуном, оказал особую услугу в содействии его возвращению. Это было сделано перед судейской коллегией; и отдельно от этого, хотя и, по-видимому, в одно и то же время, идет яростная атака на Ватиния, одного из креатур Цезаря, который был свидетелем против Секстия. Затем идет седьмое, касающееся распределения провинций между пропреторами и проконсулами, целью которого было заставить отозвать Пизона из Македонии и Габиния из Сирии, а также завоевать расположение Цезаря, показав, что Цезарю должно быть позволено сохранить две Галлии и Иллирикум. К ним следует добавить два других, составленных в тот же период, - для Целия и Бальбуса. Тесная дружба между Цицероном и молодым человеком Целием была одной из необычных деталей жизни оратора. Бальбус был испанцем, приближенным к Цезарю, и примечателен тем, что стал первым человеком, не являвшимся итальянцем, который добился чести консульства.

Было спорно, были ли первые четыре оратории действительно работой Цицерона: некоторые немецкие критики и английские ученые объявили их "ragum Ciceronias" - слишком мало похожими на Цицерона. Именно эту фразу использовал Ноббе, который опубликовал ценное издание всех работ Цицерона по тексту Эрнести в одном томе. Мистер Лонг в своем предисловии к этим орациям осуждает их в столь сильных выражениях, что лишает их всякого шанса на абсолютное признание со стороны тех, кто знает точность учености мистера Лонга.² Возможно, были и последующие интерполяции. Однако первая из этих четырех речей так подробно упоминается самим Цицероном в речи, произнесенной им два года спустя в защиту Планция, что факт обращения к сенату с похвалой тем, кто помог ему вернуться, не может вызывать сомнений; и оратор прямо говорит нам, что из-за важности случая он записал ее, прежде чем произнести.³ Что касается латинского языка, то не в моих силах, да и вообще не в моих силах, выразить уверенное мнение; но что касается сути речи, то я думаю, что Цицерон в его тогдашнем состоянии духа мог произнести то, что ему приписывают. Сказав все это, я лучше продолжу свое повествование, рассмотрев четыре речи, как если бы они были подлинными.

57 г. до н. э., ætat. 50.

Цицерон высадился в Брундизии 5 августа, в день, когда народ объявил о его отзыве из изгнания, и встретил там свою дочь Туллию, приехавшую приветствовать его возвращение в Италию в день ее рождения. Но она приехала вдовой, только что потеряв своего первого мужа, Пизо Фруги. На тот момент ей было не более девятнадцати лет. О чувствах Туллии мы ничего не знаем из ее собственных высказываний, поскольку они до нас не дошли; но по теплоте любви отца к ней и по близости их дружбы мы можем предположить, что радость ее жизни зависела от него больше, чем от любого из трех ее мужей. Она не прожила долго ни с

одним из них и умерла вскоре после рождения ребенка, будучи разведенной с третьим. Я полагаю, что в этой встрече было много триумфа, хотя Пизон Фруги умер совсем недавно.

Возвращение Цицерона в Рим было полностью триумфальным. Следует помнить, что все современные рассказы о нем принадлежат его собственному перу. В основном они взяты из ораций, которые я назвал выше, хотя последующие ссылки на славу его возвращения в Рим нередки в его произведениях. Но если бы его хвастовство не было правдой, противоречия с ним были бы сделаны таким образом, чтобы дойти до наших ушей. Плутарх, правда, утверждает, что рассказ Цицерона о славе его возвращения не соответствует истине.

Можно считать само собой разумеющимся, что среди этого слабого чудовища - граждан Рима - Цицерон вновь обрел популярность, равную той, что была дарована ему, когда он только что изгнал Катилину из Рима. Какова была природа толпы, которая так громко восхваляла своего великого консула и так же громко радовалась возвращению великого изгнанника, мы должны составить свое собственное мнение на основе косвенных доказательств. Была масса людей с острыми ушами, получавших художественное наслаждение от красноречия и личных достоинств, но настроенных на безделье и на то, чтобы быть сытыми, а также развлеченными в своем безделье; были также огромные группы мужчин, готовых к бою - их называли бандами гладиаторов, хотя, вероятно, лишь немногие из них когда-либо обучались на арене, - чьим делом было кричать, а также сражаться от имени своих покровителей. Мы не будем оправданы, если предположим, что те, кто в двух названных случаях отдавал свои сладкие голоса за Цицерона, были лишь упорядоченной, хотя и праздной частью народа, в то время как те, кто голосовал против него в пользу Клодия, были убийцами, задирами и фехтовальщиками. Возможно, мы окажемся ближе к истине, если представим, что граждане в целом руководствовались преобладающими в данный момент чувствами к своим лидерам, но приходили в восторг, когда получали возможность без ущерба для своих интересов выразить свои чувства к тому, кто действительно был популярен среди них. Когда Цицерон после смерти пяти заговорщиков объявил, что те "жили" - "*vixerunt*", - его собственной власти было достаточно, чтобы убедить народ в том, что они будут безопасны, восхваляя его. Когда он вернулся в Рим, Помпей настоятельно требовал его возвращения, и Цезарь согласился. Когда был принят закон о его изгнании, Триумвират был против него, и Клодий смог натравить на него свою команду. Но у Милона тоже была своя команда, а Милон был другом Цицерона. Как команда Клодия помогла изгнать Цицерона из Рима, так и команда Милона помогла вернуть его обратно.

Добравшись до Рима, Цицерон сразу же отправился на Капитолий, в храм Юпитера, и там воздал благодарность за то великое дело, которое было для него сделано. Его сопровождала огромная процессия, которая из храма отправилась с ним в дом его брата, где он встретил свою жену и где проживал некоторое время. Его собственный дом, расположенный неподалеку, был разрушен. Он добрался до Рима 4 сентября, а 5-го числа герою дня представилась возможность выразить благодарность сенату за то, что они для него сделали. В Македонии его интеллект не оскудел, хотя он и был праздным. 5-го числа Цицерон выступил с речью перед сенатом, 6-го - перед народом. До конца месяца он произнес гораздо более длинную речь перед жрецами, защищая свою собственность. От полного сердца говорят уста, и его сердце было очень полно этой темой.

Первым делом он поблагодарил сенат и его ведущих членов за их доброе отношение к нему. Сияющий язык, в котором это было сделано, идет вразрез с тем, что мы постоянно читаем о событиях его жизни, рассказанных им самим. Его последние скорбные слова были выражением отчаяния, обращенным к Аттикусу; теперь же он разражается триумфальной песней. Мы должны помнить, что прошло восемь месяцев, и этого времени хватило, чтобы

превратить тьму в свет. "Если я не могу, как должно, поблагодарить вас, отцы-призывники, за неизменные милости, которые вы оказали мне, моему брату и моим детям, припишите это, умоляю вас, величию того, что вы для меня сделали, а не недостатку моей добродетели". Затем он восхваляет двух консулов, называя их Лентул и Метелл - Метелл, как читатель помнит, до недавнего времени был его врагом. Он хвалит преторов и трибунов, двое из которых противились его возвращению; но громче всего он восхваляет Помпея, этого "Сампсицерама", этого "Иеросолимария", этого "Арабарха", чей характер он так ясно видел, когда писал из Македонии Аттику, этого "кн. Помпей, который своей доблестью, своей славой, своими достижениями занимает выдающееся место среди всех народов, всех эпох, всей истории". Мы не можем не возмущаться, читая эти слова, хотя и понимаем, насколько хорошо он осознал, что бессилен что-либо сделать для Республики, если не сможет привлечь к сотрудничеству такого человека, как Помпей. Мы также должны помнить, насколько невозможно, чтобы один римлянин поднялся над ложью, свойственной римлянам. Мы и сами еще не всегда можем вырваться из атмосферы двуличия, которой так наслаждается полис. Он описывает состояние Рима в свое отсутствие. "Когда меня не было, вы" - вы, сенат - "не могли ничего постановить ни для своих граждан, ни для своих союзников, ни для зависимых царей. Судьи не могли вынести приговор, народ не мог записать свои голоса, сенат ничего не добился своей властью. Вы видели только молчаливый Форум, безмолвный Сенат, город, немой и пустынный". Можно предположить, что Рим был таким, каким его описывал Цицерон, когда он был в изгнании, а Цезарь отправился в свои провинции; но его состояние было результатом сокрушительной тирании Триумvirата, а не отсутствия Цицерона.

Лентул, нынешний консул, был для него, по его словам, вторым отцом, почти богом. Но ему не понадобилась бы рука консула, чтобы поднять его с земли, если бы он не был ранен консульскими руками. Катул, один из лучших граждан Рима, говорил ему, что, хотя Рим время от времени страдал от плохого консула, он никогда еще не страдал от двух вместе. Пока был один консул, достойный этого имени, Катул говорил, что Цицерон будет в безопасности. Но пришли двое, двое вместе, чей дух был так узок, так низок, так развращен, так отягощен жадностью и невежеством, "что они не могли постичь, а тем более выдержать великолепие имени консула". Они были не консулами, а покупателями и продавцами провинций". Это были Пизон и Габиний, из которых первый теперь был губернатором Македонии, а второй - Сирии. Презрение Цицерона к этим людям, которые, будучи консулами, допустили его изгнание, стало для него страстью. Его последующая ненависть к Антонию была не такой горькой. Он пришел поблагодарить собравшихся сенаторов за их заботу о нем, но гнев настолько захватил его, что он посвятил значительную часть своей речи этим возмущенным высказываниям. Читатель не жалеет об этом. Обида читается лучше, чем похвала, она обладает большей жизненной силой и, увы, более искренне исходит из сердца! Те, кто считает, что подлинная инвектива имеет свои прелести, не пощадили бы Пизона и Габиния.

Он возвращается к своей хвалебной речи и называет имена различных преторов и офицеров, которые работали на его благо. Затем он заявляет, что, по мнению нынешнего консула Лентула, в его пользу был принят указ, более славный, чем тот, которым был награжден любой другой римский гражданин - а именно, что со всей Италии должны быть собраны те, кто желает добра своей стране, чтобы вернуть его из изгнания - он, Цицерон. В этих словах много похвалы Лентулу, но еще больше похвалы Цицерону. На протяжении всех этих ораций мы чувствуем, что Цицерон выдвигается в качестве героя, в то время как Пизон и Габиний - демоны произведения. "Что я могу оставить потомкам в качестве более богатого наследия, - продолжает он, открывая очередной пункт своей речи, - чем то, что сенат должен был постановить, что гражданин, не выступивший в мою защиту, был одним из тех, кто не был в

состоянии защитить Республику". Этими хвастливыми заявлениями, хотя в данный момент он находился на вершине лестницы популярности, он оскорблял самолюбие всех окружающих. Особенно он оскорблял Помпея, с которым ему волею судьбы пришлось действовать.⁴ Но это было мало по сравнению с той обидой, которую он наносил тем, кто должен был прийти через много веков после него, кто не будет рассматривать этот вопрос с достаточной точностью, чтобы найти, что его тщеславие заслуживает прощения из-за его человечности и стремления к прогрессу. "О Лентул, - говорит он в конце оратории, - поскольку я восстановлен в Республике, как вместе со мной восстановлена и сама Республика, я ничего не ослабляю в своих усилиях по достижению свободы; но, если это возможно, добавлю кое-что к своей энергии". Переводя то одно, то другое слово, как я это делал, я в каждом выражении чувствую свою неспособность. Не существует такого понятия, как хороший перевод. Если вы хотите пить воду, в которой есть жизнь и бодрость, вы должны пойти к фонтану и пить ее там".

На следующий день он обратился к народу с аналогичной речью - если, конечно, та речь, которую мы имеем, исходила из его уст или пера, - и заметил, что в ней не было никаких намеков на Клодия, хотя он был как никогда яростен против покойных консулов. Из этого можно сделать вывод, что, хотя слушатели с удовольствием слушали его даже в самовосхвалении, могли возникнуть споры, если бы он плохо отзывался о том, кто был популярен как трибун. Его восхваление Помпея было едва ли не более пышным, чем накануне, и то же самое можно сказать о его самовосхвалении. О преданности брата он говорит в трогательных словах, но в словах, которые заставляют нас вспомнить, насколько неверен ему впоследствии был этот самый брат. Во всем этом коротком произведении есть фразы, настолько великолепные, что они добиваются от нас, когда их читают, прощения за недостатки писателя. "*Sic ulciscar facinorum singula*". Пусть читатель латыни обратится к главе ix. оратории и посмотрит, как оратор заявляет, что отомстит злодеям, которых он обличил.

Цицерон, хотя и вернулся с триумфом, вернулся разоренным и с кошельком, если не считать того, что он мог рассчитывать на сенат и народ, которые возместят ему убытки, которые он понес. Постановление сената гласило, что его имущество должно быть ему возвращено, но действительность такого обещания зависела от стоимости, которую можно было бы приписать этому имуществу. Его дом на Палатинском холме был снесен с лица земли; его тускуланская и форминская виллы были разрушены; его книги, картины, мраморные колонны, деревья были украдены; но, что хуже всего, была сделана попытка навсегда лишить его самого лучшего места во всем городе, Парковой аллеи Рима, отдав принадлежавшее ему пространство в распоряжение одного из богов. Клодий приказал построить там что-то вроде храма Либерти, потому что в Риме, как и у нас, считалось, что земля, освященная таким образом, должна быть посвящена вечному служению религии. Именно с целью оспорить этот тезис Цицерон произнес свою следующую речь, "*Pro Domo Sua*", о восстановлении своего дома, перед коллегией жрецов в Риме. Именно жрецы должны были решить этот вопрос. Сенат мог принять решение о возвращении имущества в целом, но необходимо было, чтобы этот участок земли был освобожден от оков священнического владения путем вмешательства священнослужителей. Все эти жрецы были людьми высокого происхождения и занимали видное положение в Республике. Девятнадцать из них были "консулами", или прошлыми консулами. Суеверное благоговение больше затрагивает совесть священников, чем сердца тех, кто доверяет священникам свое руководство. Знакомство порождает презрение. Цицерон, произнося эту речь, вероятно, чувствовал, что, если он сможет увлечь за собой народ, коллегия жрецов не станет хватать добычу цепкими руками. Девятнадцать консуляров мало заботились бы о святости земли, если бы их можно было заставить

пожелать Цицерону добра. Он сделал все, что мог. Через несколько дней после произнесения речи он написал Аттику об этом и заявил, что если он когда-либо и говорил хорошо по какому-либо поводу, то сделал это именно тогда, настолько глубока была его печаль и настолько велико было значение этого случая;⁵ и сразу же сообщает своему другу о решении коллегии и о том, на чем оно основывалось. "Если тот, кто заявляет, что он посвятил землю, не был назначен на это дело народом и не получил от него прямого приказа, то этот участок земли может быть восстановлен без всякого нарушения религии". Цицерон утверждает, что его сразу же поздравили с тем, что он добился своего, весь мир прекрасно знал, что Клодий не был наделен такими полномочиями. При нынешнем настроении Рима все жрецы с девятнадцатью консулами, несомненно, желали, чтобы Цицерон отстоял свои позиции. Сенат должен был интерпретировать решение, и при обсуждении вопроса Клодий пытался говорить против времени. Однако, проговорив три часа, он позволил себе откашляться. Видно, что в некоторых отношениях даже римская стойкость превзошла наши дни.

В первой части этой речи, *Pro Domo Sua*, Цицерон посвящает себя вопросу, который не имеет отношения к его дому. Одновременно с возвращением Цицерона в Рим начался голод. Такое бедствие случалось часто, хотя я сомневаюсь, что голод когда-либо приводил к такой ужасающей смертности, как та, что опустошила Ирландию незадолго до отмены "кукурузных законов". Насколько мне известно, до нас не дошло ни одной записи о том, что люди погибали на улицах; но нехватка продуктов была нередким явлением, и в таких случаях жалобы становились очень громкими. Прокормить людей было делом очень сложным и зависело от различных случайностей. Мы совершенно не знаем, каково было число людей, которых нужно было накормить, включая свободных и рабов, но догадки заставляют предполагать, что даже во времена Августа оно было меньше миллиона. Но даже если в это время их было не более пятисот тысяч, добыча пищи должна была быть сложным и трудным делом. Оно не производилось в стране. Его привозили в основном из Сицилии и Африки, и оно было то в изобилии, то наоборот, не только в зависимости от времени года, но и в зависимости от того, насколько усердными и честными были те или иные государственные чиновники, или же мошенническими и хищными. Из одной из ораций Веррина мы знаем о характере законов по этому вопросу, но не можем не удивляться, что даже с помощью таких законов можно было поддерживать предложение в справедливой пропорции к спросу. Люди надеялись на правительство в плане снабжения, а когда его не хватало, заявляли о своих проблемах подстрекательским ропотом, который иногда принимал облик восстания. В этот период после возвращения Цицерона пища стала скудной и дорогой, и Клодий, который теперь был в оружии против Помпея, а также против Цицерона, заставил поверить, что чужеземцы, стекавшиеся в Рим, чтобы приветствовать Цицерона, съели пищу, которая должна была наполнить животы людей. Идея, более далекая от истины, вряд ли могла возникнуть: никакой случайный наплыв посетителей на такое население не мог бы оказать предполагаемого воздействия. Но эта идея распространилась за границу, и нужно было что-то предпринять, чтобы успокоить умы населения. До сих пор Помпей был помощником в решении государственных проблем. Помпей рассеял пиратов, которые, однако, в этот период, похоже, снова собирались с силами. Помпей победил Митридата. Пусть Помпею поручат найти продовольствие для Рима. Помпей сам вынашивал идею поручения, которое на некоторое время должно было дать ему почти неограниченную власть. Сезар увеличивал свои легионы и становился доминирующим на Западе. Помпей, который все еще считал себя более крупным мужчиной из двух, чувствовал необходимость какого-то большого шага в соперничестве с Сезаром. От его имени было предложено отдать в его распоряжение все сокровища, принадлежащие государству; он должен был иметь армию и флот и в течение пяти лет иметь власть над каждым проконсулом в его собственной провинции. Это была

первая большая попытка Помпея задушить растущую власть Сезара. Она полностью провалилась.⁶ Страх перед Сезаром был уже слишком велик в душах римских сенаторов, чтобы они могли попытаться подавить его в его отсутствие. Однако был принят смягченный закон, обязывающий Помпея обеспечивать необходимое продовольствие и наделяющий его определенными полномочиями. Цицерон был назначен его первым лейтенантом и принял эту должность. Однако он так и не стал действовать, уступив ее своему брату Квинту. Речь, с которой он обратился к народу по поводу принятия закона, не сохранилась; но поскольку в Риме по этому поводу кипела кровь, он воспользовался случаем, чтобы оправдать назначение Помпея в более ранней части этого обращения к жрецам. Следует понимать, что он не оказывал помощи в предоставлении тех больших полномочий, которые Помпей стремился получить. Его доверие к Помпею никогда не было безупречным с первых дней триумvirата. По мнению Цицерона, и Помпей, и Цезарь были заговорщиками против Республики. Сезар был смелее, а значит, опаснее. Вероятно, могло случиться так, что для сдерживания Цезаря потребовались бы услуги Помпея. Помпей, естественно, принадлежал к "оптиматам", в то время как Сезар по природе своей был заговорщиком. Но никогда больше не наступит время, когда Цицерон с готовностью доверит Помпею такую власть, какая была дана ему за девять лет до этого в Lex Manilia. Тем не менее, он все еще мог говорить великие вещи в похвалу Помпею. "Помпею были доверены войны без числа, войны, наиболее опасные для государства, войны на море и на суше, войны необычайные по своей природе. Если найдется человек, который сожалеет о том, что это было сделано, он должен сожалеть о победах, которые одержал Рим". Но его поношение Хлодия бесконечно сильнее, чем его восхваление Помпея. За фрагментами, в которых он упоминает сестру Хлодия, я должен отослать читателя к самой речи. Здесь невозможно ни перевести их, ни описать. И эти слова были произнесены перед коллегией жрецов, девятнадцать из которых были консулами! И подготовлены они были с такой тщательностью, что Цицерон специально хвастался ими перед Атикком и заявлял, что их следует дать в руки всем молодым ораторам. Монтескье утверждает, что римские законодатели, устанавливая свою религию, не собирались использовать ее для улучшения нравов и морали.⁷ Характер их обрядов и церемоний дает нам достаточно доказательств того, что это было именно так. Если бы нужны были дополнительные свидетельства, их можно было бы найти в этом обращении, Ad Pontifices. Сам Цицерон был человеком необычайно чистой жизни, как римский аристократ, но, оскорбляя своего врага, он не сдерживался никакими представлениями о том, что мы считаем приличиями языка.

Он очень хорошо аргументирует вопрос о своем доме, как и все вопросы. Он говорит священникам, что вся радость его восстановления должна зависеть от их решения. Граждане, которые до сих пор подвергались подобным наказаниям, были злодеями, тогда как в отношении него было признано, что он был благодетелем города. Клодий установил на этом месте не статую Свободы, а, как всем было хорошо известно, фигуру греческой проститутки. Со священниками не советовались. Народ не одобрил предложенное освящение. О необходимости такой власти он приводит различные примеры. "И это было сделано, - говорит он, - нечистым и нечестивым врагом всех религий, этим мужчиной среди женщин и женщиной среди мужчин, который прошел через церемонию так поспешно, так яростно, что его ум, язык и голос были одинаково несовместимы друг с другом". "Мое состояние, - говорит он, заканчивая свою речь, - все умеренное, как оно есть, будет достаточным для меня. Память о моем имени будет достаточным достоянием для моих детей"; но если у него так отняли дом, так украли его, так ложно посвятили в религию, он не сможет жить без позора. Конечно, он вернул свой дом, а вместе с ним и 16 000 фунтов стерлингов на его восстановление, 4000 фунтов стерлингов за ущерб, нанесенный Тускуланской вилле, и 2000 фунтов стерлингов за Формианскую виллу. Этими суммами он не

удовлетворился, да и вряд ли они могли справедливо отражать нанесенный ему огромный ущерб.

b.c. 56, ætat. 51.

Так закончилась работа в год его возвращения. Из следующего года, помимо речей, мы имеем двадцать шесть писем, из которых девять были написаны Лентулу, покойному консулу, который теперь отправился в Киликию в качестве проконсула. Лентул подружился с ним, и он счел нужным выразить свою благодарность, продолжая переписку и внимательно следя за интересами отсутствующего офицера. Эти письма полны подробностей римской политики, слишком запутанных для такой работы, как эта - возможно, я бы даже сказал, слишком неинтересных, поскольку они касаются непосредственно самого Лентула. В одном из них он сообщает своему другу, что ему наконец-то удалось заручиться дружбой Помпея. В конце концов, это была лишь видимость дружбы. Он ужинал с Помпеем и говорит, что, когда он разговаривает с ним, все вроде бы идет хорошо: никто не может быть более любезным, чем Помпей. Но когда он видит друзей, которыми окружен Помпей, он, как и все остальные, понимает, что на самом деле все идет так, как он не хотел бы.⁸ Читая эти письма, в которых имя Помпея постоянно стоит перед нами, мы чувствуем, насколько Помпей одерживал верх благодаря своей внешности, умению говорить любезные вещи, а затем снова умению держать язык за зубами. "Ты знаешь медлительность этого человека, - говорит он Лентулу, - и его молчание".⁹ Медлительный, осторожный, лицемерный человек, который хорошо знал, как использовать приманки личных манер! Эти письма к Лентулу полны лести.

В пяти письмах к его брату Квинту речь идет о политике того времени, особенно о тогдашнем царе Египта, который должен был быть или не должен был быть восстановлен. От всего этого, однако, я стараюсь по возможности воздерживаться, как от вопросов, не особенно затрагивающих характер Цицерона. Он рассказывает брату о делах в сенате, которые интересны тем, что показывают нам, как вела себя эта августейшая ассамблея. Пока Помпей говорил с большим достоинством, Клодий и его сторонники тщетно пытались криками и воплями унять его. В полдень Помпей сел, а Клодий овладел рострами и в разгар бурных событий оставался на ногах в течение двух часов. Затем на стороне Помпея "оптиматы" запели непристойные песни - "versus obscenissimi" - в адрес Хлодия и его сестры Клодии. Хлодий, впав в гнев, потребовал: "Кто принес голод?". "Помпей", - кричали клодианцы. "Кто хотел отправиться в Египет?" - спросил Хлодий. "Помпей", - снова закричали его приверженцы. После этого в три часа по сигналу они начали плевать в своих противников. Затем началась драка, в которой каждая сторона пыталась вытеснить другую. Оптиматы одерживали верх, и Цицерон решил убежать, чтобы не пострадать в этой суматохе.¹⁰ Какая надежда может быть на олигархию, когда в сенате происходят такие вещи? В этом письме Цицерон самодовольно говорит о том, что в городе можно противостоять силе силой. Даже Катон, законопослушный, аккуратный Катон, счел нужным поддаться моде и пройтись по Риму с вооруженным отрядом. Он купил труппу гладиаторов и циркачей, но был вынужден продать их, как с ликованием рассказывает Цицерон своему брату, потому что не мог позволить себе их прокормить.¹¹

Есть также семь писем к Аттикусу - всегда более интересные, чем все остальные. В них царит совершеннейшее доброжелательство, так что мы можем знать, что жалобы, высказанные им в изгнании, не привели к отчуждению друга; из них мы узнаем его настоящие, сокровенные мысли, поскольку они не передаются даже его брату - как, несомненно, редко передаются мысли одного человека действия другому. Атик жаловался, что ему не дали увидеть некое письмо, которое Цицерон написал Цезарю. Это письмо он назвал παλινωδία, или отречением, и оно было адресовано Сезарю с целью заявить о том, что он в какой-то степени

отказывается от своей оппозиции Триумvirату. Это было достаточно важным событием, чтобы о нем заговорили. Атик слышал о нем и жаловался, что оно не было ему послано. Цицерон выдвигает свои оправдания, а затем изрекает истинную правду:

"Зачем мне обглаживать невкусный кусок, который надо проглотить?". Отказ от своих слов казался ему почти подлым, и он стыдился его. "Но, - говорит он, - прощай всякая истинная, честная, порядочная политика. Вы вряд ли поверите, какое предательство есть в тех, кто должен быть нашими ведущими людьми, и кто был бы таковым, если бы в них была хоть капля правды".¹² Он не полагается на тех, кто, будь они верны своей партии, позволил бы ей твердо стоять даже против Сезара. Поэтому он вынужден прибегать к помощи Сезара не ради себя, а ради своей партии. Без поддержки он не может открыто враждовать с Сезаром. Он действует. Он пишет на , воспевая хвалу Сезару. Это скорее для партии, чем для себя, но ему стыдно за это.

Есть письмо к Луцею, историку того времени, о котором тогда много думали и о котором, однако, наш поздний мир ничего не слышал. Луций пишет хронику того времени, и Цицерон смело требует, чтобы его похвалили. "Ut ornes mea postulem"¹³ - "Я прошу тебя похвалить меня". Но он становится гораздо смелее. "Снова и снова я умоляю вас, без лишних слов, говорить обо мне более высоко, чем, по вашему мнению, я заслуживаю, даже если при этом вы отступите от всех законов истории". Затем он использует красивую лесть в адрес своего корреспондента. Александр хотел, чтобы его рисовал только Апеллес. Он хочет, чтобы его восхвалял только Луций. Луций, как нам говорят, выполнил просьбу.

56 г. до н. э., ætat. 51.

Я вернусь к речам того периода, которому посвящена эта глава, взяв для начала ту, с которой он выступил перед сенатом по поводу сообщения прорицателей о некоторых чудесах. Читатели, знакомые с Ливием, помнят, как часто во время бедствий гнев Неба должен был проявляться в знамениях и чудесах, указывающих на то, что боги недовольны и что необходимо разоблачение.¹⁴ Это суеверие, как и положено всем суевериям, часто использовалось в самых неблагоприятных целях. Если у человека есть политический враг, что может сослужить ему лучшую службу, чем заставить население поверить, что дом был сокрушен ударом грома или что женщина родила свинью вместо ребенка, потому что Юпитер был оскорблен происками этого врага? С помощью такого аргумента греки много лет назад попали в Трою вместе с деревянной лошадью. Шотландские поклонники субботы заявили на днях, когда был снесен мост через реку Тэй, что Господь вмешался, чтобы предотвратить поездки в воскресенье!

Цицерон еще не успел вернуться из своего изгнания, как боги начали проявлять свой гнев. Статуя Юноны повернулась полукругом; в городе видели волка; троих горожан поразила молния; послышался лязг оружия, а затем широкие подземные звуки. Нет ничего проще, чем подготовка и продолжение подобных предзнаменований. На протяжении многих лет небо над головой и земля под ногами были задействованы для чудес.¹⁵ Прорицатели всегда с радостью заявляли о том, что боги чем-то пренебрегли. Такова природа вещей, что суеверные наклонности человечества становятся жертвой жречества. Ссоры между Цицероном и Клодием были полны жизни, как никогда. В этом году, когда Клодий был эдилом, начались дебаты по поводу закона, принятого Цезарем как консулом, в противовес Бибулу, о распределении земель между гражданами. Возник вопрос об определенном налоге, который должен был взиматься с этих земель. Сборщиков налогов поддержал Цицерон, а Клодий осудил. Затем Клодий и его друзья узнали, что боги обрушили свой гнев на город из-за того, что земля, на которой когда-то стоял дом Цицерона, была осквернена его

перестройкой. Тогда обратились к прорицателям. Те сообщили, и Цицерон откланялся. Прорицатели, конечно, были загадочными и сомнительными. Цицерон сначала показывает, что посвящение его земли священным целям было нелепостью, а затем заявляет, что боги гnevаются не на него, а на Клодия. Сказать, что боги вовсе не разгневаны, было выше сил Цицерона. Пьеса, взятая как образец декламационного искусства, полна энергии, сильна в инвективах и увлекает нас за собой в полном согласии с оратором; но в конце мы начинаем жалеть, что Цицерон не мог применить свой интеллект в более высоких вопросах.

Есть, однако, один или два отрывка, которые заставляют читателя глубоко задуматься о религиозных чувствах того времени. В одном из них, который мог быть написан Палеем, Цицерон заявляет о своей вере в творческую силу некоего бога - или богов, как он их называет.¹⁶ А еще мы видим, как извращенно римляне общались с этими богами - общались, что было очень хлопотно - не иначе как с помощью хитрости. Боги использовались то одной, то другой стороной в нечестных государственных целях. Когда Цицерон рассказывает своим слушателям о том, что боги намеревались обозначить шумом в небе и другими божественными голосами, мы уверены, что он либо обманывал тех, кто его слышал, либо говорил то, чему, как он знал, они не поверят.

до н. э. 56, ætat. 51.

До речи об "аруспиках" он защищал Секстия - или Сестия, как его часто называют, - от обвинения, выдвинутого против него Хлодием в насилии. Сразу вспоминается банальное место из Ювенала:

"Quis tulerit Gracchos de seditione querentes".

Но Рим, не возражая, мирился с подобными нелепостями. Секстий, Милон и другие объединились в борьбе против избрания Хлодия Эдилом и, вероятно, встретили насилие насилием. Как у английского хозяина гончих наготове конюхи и хлысты, так и у Милона была банда забияк, готовых к насилию. Сам Хлодий подал иск против Милона, которого защищал лично Помпей. Дело против Секстия было поручено Альбинову, а защиту взял на себя Гортензий. Секстий был одним из тех, кто добивался возвращения Цицерона, и отправился в Галлию, чтобы увидеться с Цезарем и получить его согласие. Тогда Цезарь не дал согласия, но не менее велика была услуга, оказанная Секстием Цицерону. Цицерон был благодарен, но, похоже, Секстий счел его недостаточно благодарным; из-за этого между ними возникла ссора. Но Цицерон, узнав о том, что против его старого друга возбуждено дело, сразу же предложил свою помощь. Для римлянина иметь более одного адвоката, который бы выступал за него, было таким же обычным делом, как и для англичанина. Поэтому к Гортензию добавился Цицерон, и два великих адвоката того времени выступили на одной стороне. Нам говорят, что Гортензий руководил доказательствами, показывая, вероятно, что первый удар нанес Хлодий. Затем Цицерон обратился к судьям с целью добиться их благосклонности к обвиняемому. Это ему удалось, и Секстий был оправдан. Что касается Секстия и его ссоры с Хлодием, то эта оратория не представляет для нас особого интереса. В ней вообще мало что говорится о Секстии. Она является продолжением пьесы, которую Цицерон все еще пел по поводу своего возвращения, но отличается от его прежних выступлений более тонкой мыслью и более изысканным языком. Описание общественной добродетели, продемонстрированное Катонem, возможно, никогда не было превзойдено в отношении мелодичности слов и величия чувств. Я привожу ниже слова оратора на его родном языке, потому что никаким другим способом нельзя передать представление об их звучании.¹⁷ Здесь также есть определение, сделанное очень ловко, чтобы соответствовать

его собственной точке зрения между консерваторами и либералами того времени.

"Оптиматы" - это название, под которым известны первые; вторые называются "Популяры".¹⁸

К этой речи Секстия прилагается декламация против Ватиния, который был одним из свидетелей, привлеченных обвинителем. Вместо того чтобы регулярно допрашивать этого свидетеля, он заговорил нем отдельной орацией. Мы не имеем других примеров такого судебного маневра ни в практике Цицерона, ни в наших рассказах о действиях других римских адвокатов. Это произведение дошло до нас в виде отдельной оратории. Это грубая тирада оскорблений в адрес человека, который, как мы считаем, был плохим, но в отношении которого мы чувствуем, что не имеем оснований полагать, что здесь мы можем узнать его истинный характер. Он был креатурой Сезара, и Цицерон мог сказать о Ватинии такие слова, которые он не хотел сказать о Сезаре и его делах. К этому следует добавить, что два года спустя Цицерон выступил в защиту этого самого Ватиния по совместной просьбе Цезаря и Помпея, когда Ватиний, покидая пост претора, был обвинен в коррупции.

до н. э. 56, ætat. 51.

Природа награды, на которую всегда обращал свои взоры честолюбивый олигарх Рима, уже достаточно объяснена. Он хотел стать правителем провинции. В тот период, о котором мы говорим, в этом вопросе не было никакой сдержанности. Сирия, или Македония, или Испания, или Сицилия, или Сардиния были призом. Было вполне понятно, что честолюбивый олигарх проходит через пыль, опасности и расходы политической жизни, чтобы в конце концов наполнить свою казну провинциальным грабежом. Существовали различные законы, по которым эти правительства передавались грабителям. Из них нам достаточно упомянуть *Leges Sempronie*, или законы, предложенные в 123 г. до н. э. Каем Семпронием Гракхом для распределения провинций, которыми должны были пользоваться проконсулы. Среди провинций были протекторские и консульские, хотя не было закона, который бы гарантировал, что какая-либо провинция должна быть либо консульской, либо протекторской. Но сенат без вмешательства народа и без права вето трибунов выбирал провинции для консулов; тогда как для провинций, предназначенных для преторов, народ имел право голоса, а народные трибуны - право наложить вето на внесенные предложения. Так, в этом году в сенате обсуждалась судьба трех проконсулов - не в отношении первичного распределения провинций для них, а в вопросе о том, следует ли им оставаться в том правительстве, которое они занимали. Пизон находился в Македонии, где, как считалось, он опозорил себя и империю, которой служил. Габиний находился в Сирии, где, по общему признанию, он оказал хорошую услугу, хотя его личный характер был очень низким. Сезар был владыкой двух Галлий, то есть по обе стороны Альп, в Северной Италии и в той части современной Франции вдоль Средиземного моря, которая уже была колонизирована, а также правителем Иллирика. Он уже дал понять всем людям, что покорение новой империи было его целью, а не грабеж провинций. Любим ли мы память о Сезаре как о великом человеке, показавшем себя достойным править миром, или отворачиваемся от него как от того, кто наступил железной пятой на шею людей и тем самым на века затормозил свободу человечества, мы должны признать, что он возвысился благодаря свету своего собственного гения над амбициями своих современников. Если мы, как и я, отдаем предпочтение гуманности Цицерона, мы должны признать превосходство Сезара и признать себя причастными к побежденному делу. "*Victrix causa Deis placuit; sed victa Catoni*". Обсуждая судьбу этих проконсульских чиновников, мы теперь чувствуем нелепость смешения в одном споре имен Пизона и Габиния с именем Сезара. Однако именно о таком предмете спора шла речь, когда Цицерон произносил свою речь "*De Provinciis Consularibus*", посвященную управлению консульскими провинциями.

Среди многих сенаторов бытовало мнение, что Цезарь должен быть остановлен в своей карьере. Мне нет нужды исследовать мотивы, великие или малые, на которых основывалось это мнение. Вряд ли среди сенаторов нашелся бы человек, который не желал бы низложения Цезаря, хотя многие не осмеливались заявить о своем желании. У сената были причины для особой ревности. Цизальпийская Галлия была отдана ему благодаря вмешательству народа, и особенно трибуна Ватиния - , который был консулом, и награда которого должна была быть делом исключительно сената. Затем возникло требование, самое необычное требование, касающееся и другой Галлии. Отдача двух провинций одному правителю полностью противоречила практике государства; но и постоянное и признанное продолжение заговора, подобного Триумвирату, было необычным. Сам Цезарь был очень необычен. Тогда сенат, чувствуя, что вторая провинция непременно будет получена, и желая сохранить хоть крупицу своей прерогативы, сам проголосовал за Дальнюю Галлию. Поскольку это должно было быть сделано, пусть, во всяком случае, говорят, что они это сделали. Но как они отправили Цезаря за Альпы, так они могли отозвать его или попытаться отозвать. Поэтому вместе с вопросом о Пизоне и Габинии, который на самом деле ничего не значил, возник и вопрос о Цезаре, который значил очень много.

Но Цезарь уже успел совершить в Галлии великие дела. Он разбил гелльетов и изгнал Ариовиста из страны. Он провел восемь легионов в далекие Белги и покорил Нервиев. В этом же году он построил огромный флот и уничтожил венетов, мореходный народ на побережье нынешней Бретани. Чем сильнее он себя проявлял, тем сложнее было его отозвать, но и тем желаннее он был в глазах многих. В первой части своей речи Цицерон обрушивается на Пизона и Габиния со своей обычной инвективой. Не было ни одной значительной партии, желающей возобновить их правление, но Цицерон всегда получал удовольствие от их оскорблений. Большую часть своей речи он посвящает заслугам Цезаря.¹⁹ Что касается отзыва его, то это было бы неразумно. Кто насчитывал в Риме больше врагов, чем Марий? Но разве отзывали Мария, когда он сражался за Республику?²⁰ До сих пор Республика была вынуждена бояться галлов. Рим всегда оборонялся от них. Теперь же благодаря Цезарю пределы мира стали границами Римской империи.²¹ Завоевание еще не было завершено, но, несомненно, оно должно быть оставлено тому, кто так хорошо его начал. Даже если бы Цезарь потребовал вернуться сам, считая, что он сделал достаточно для своей славы, сенаторы должны были бы удержать его - сенат должен был бы предложить ему закончить начатое дело.²² Что же касается его самого, продолжал Цицерон, то если бы Цезарь был его врагом, что с того? Теперь Цезарь не был его врагом. Он рассказал сенату, какие предложения о работе делал ему Цезарь. Если он и не мог забыть, то простить бывшие обиды был готов.²³

Для понимания характера Цицерона важно проследить смысл его высказываний о Цезаре с этого времени и до дня убийства Цезаря - его публичных высказываний и тех, что содержатся в письмах к Аттику и его брату. То, что в них было много притворства и лжи, если это жесткое слово необходимо, чтобы удовлетворить суровость тех, кто судит о человеке с трудом, признается. О том, как он восхвалял Помпея на публике и порицал его наедине, в один и тот же момент, уже было сказано. Как он добивался похвалы, заслуженной или нет, было показано. В оправдание, а не в защиту этого я утверждаю, что римляне того времени обычно лгали подобным образом. Обращение к Луцию доказывает привычную лживость не только Цицерона, но и Луция; а частные слова, написанные Аттику, в противовес публичным словам, с которыми Аттик был хорошо знаком, доказывают лживость и Аттика. Он был римлянином, он был итальянцем, он был космополитом, он был человеком. Хотелось бы только, чтобы можно было заявить, что он больше не итальянец, не космополит, не человек. По сей день даже благородному человеку очень трудно говорить всю правду в изменчивых

обстоятельствах общественной жизни. Создание даже теории истины, со всеми преимуществами, которые дало нам христианство, было настолько трудным, до сих пор настолько несовершенным, что мы должны, я думаю, хорошо изучить обстоятельства, прежде чем заклеить Цицерона как особо лживого. На мой взгляд, он был особенно правдив. Когда Сезар пробился к власти, Цицерон был с ним вежлив, льстил ему и, хотя никогда не был раболепным, но стремился подчиниться, когда это было возможно. Тем не менее, мы хорошо знаем, что вся схема политической жизни Цезаря была противоположна той, которую вынашивал Цицерон. Цицерон стремился сохранить как можно больше старой формы олигархического правления, на основе которой, как конституции, была создана Римская империя. Цезарь же намеревался смести все это. Мы видим это сейчас; но Цицерон мог видеть это лишь отчасти. С его точки зрения, этот человек обладал некоторым чувством порядка и имел все элементы величия. Во всяком случае, он был лучше, чем Веррес, Катилина, Хлодий, Пизон или Габиний. Если он думал, что лестью сможет в какой-то мере склонить Сезара на свою сторону, то в его мыслях могло быть тщеславие, но не предательство. При этом он не отказывался от своего политического *идеала*. Если наступят лучшие времена или появится лучший человек, он воспользуется ими. Пока же он мог добиться большего, управляя Сезаром, чем выступая против него. Он был далек от того, чтобы преуспеть в управлении Сезаром, но он много сделал для того, чтобы удержать свою партию вместе. Именно в этом духе он выступал перед сенатом за сохранение власти Сезара в двух Галлиях. Сенат постановил отозвать Пизона и Габиния, но решил оставить Цезаря на месте. Моммзен почти не касается Цицерона в этот период его жизни. "Они использовали его как адвоката, на что он и был годен". "Сам Цицерон должен был благодарить свою литературную репутацию за уважительное отношение, которое он испытал со стороны Цезаря". Вопрос, который мы должны задать себе, заключается в том, сделал ли он все возможное, чтобы продвинуть ту схему политики, которую он считал хорошей для Республики. Мне кажется, что он делал это. Он определенно не делал ничего с целью набить собственные карманы. Сомневаюсь, можно ли с полной правдой сказать то же самое о любом другом римлянине того времени, если только это не Катон.

Бальбус, за которого Цицерон также выступал в этом году, был испанцем из Кадиса, которому Помпей дал римское гражданство, который стал одним из слуг и друзей Цезаря, и чье гражданство теперь оспаривалось. Цицерон выступил в поддержку иска и выиграл дело. Несомненно, существовали определенные законы, в соответствии с которыми Бальбус был или не был гражданином; но Цицерон здесь говорит, что, поскольку Бальбус был хорошим человеком, поэтому не должно быть никаких вопросов относительно его гражданства.²⁴ Вряд ли это может быть хорошим юридическим аргументом. Но мы рады, что в этой оратории изложены основные принципы римского гражданства. Человек не может одновременно принадлежать более чем к одному государству. Человек не может быть изгнан из своего государства против своей воли. Человек не может быть принужден оставаться в своем государстве против своей воли.²⁵ Этот Бальбус был признан римлянином, стал одним из ведущих министров Цезаря и был избран консулом империи до 40 г. до н.э. Через тридцать четыре года после этого консулом стал его племянник. Спустя почти три столетия после этого, в 237 году н. э., потомок Бальбуса был избран императором под именем Бальбин, о котором Гиббон отзывался с хвалебными словами.²⁶

Я не знаю ни одной работы о Цицероне, написанной более приятно или вдохновленной более высоким духом справедливости, чем работа Гастона Буассье из Французской академии под названием "Цицерон и его друзья". Среди его глав есть одна, посвященная замечательной близости Цицерона с Целием, которую должны прочитать все, кто хочет изучать Цицерона. Теперь мы подошли к речи, которую он произнес в этом году в защиту

Целия. Целий очень рано вступил в общественную жизнь, будучи сыном богатого гражданина, который очень хотел, чтобы его наследник мог блистать не только богатством отца, но и собственным умом. Когда он был еще мальчиком, в соответствии с нашими представлениями о мальчишестве, его отдали в ученики к Цицерону,²⁷ как это было принято, чтобы он мог подбирать крошки, падающие со стола великого человека. Так юноша мог услышать то, что стоило услышать; так он мог познакомиться с теми, кого стоило знать; так он мог научиться в общественной жизни всему, чему стоило научиться. Целий все слышал, многих знал и многому научился; но, возможно, он научился слишком многому в слишком раннем возрасте. Он стал ярким и умным, но необузданным и рассеянным. Цицерон, однако, любил его. Ему всегда нравилось общество ярких молодых людей, и он мог простить их нравы, если их остроумие было хорошим. Хлодий, даже Хлодий, молодой Курио, Целий, а затем Долабелла были товарищами, с которыми он любил общаться. Когда он находился в Киликии в качестве проконсула, этот Целий стал для него почти вторым Аттиком, писавшим новости из Рима.

Но Целий стал одним из многочисленных любовников Клодии и, похоже, некоторое время был первым фаворитом, в ущерб бедному Катуллу. Богатый отец, судя по всему, поссорился с сыном, и Целию понадобились деньги. Он занял их у Клодии, а затем, не отдав долг, поступил с Клодией так же, как она с Катуллом. Дама попыталась вернуть деньги, а когда ей это не удалось, обвинила своего бывшего любовника в попытке отравить ее. Она сделала это так, что Целий был привлечен к суду за это преступление. От ее имени выступало не менее четырех обвинителей, или адвокатов, одним из которых был ее брат. Целия защищал Красс, а также Цицерон, и он был оправдан. Во всех этих случаях политические взгляды сочетались с уголовными обвинениями. Целий был объявлен участником катилиновского заговора. Его также обвиняли в долгах, в ссорах с отцом, в оскорблении женщин, в избиении сенатора, во взяточничестве, в различных убийствах и во всех социальных и политических эксцессах, которые только могли назвать его враги. Вероятно, его жизнь была очень нерегулярной, но то, что он пытался отравить Клодию, скорее всего, неправда.

Речь стоит того, чтобы ее прочесть. Она живая, яркая, живописная и аргументированная; из нее читатель узнает о нравах Рима того времени. Она была осуждена за отрывок, который, на мой вкус, является лучшим во всем произведении. Цицерон берется оправдывать удовольствия молодости, и нам говорят, что человек, столь серьезный, столь чистый, столь превосходный в своей собственной жизни, не должен был снисходить до столь вялых высказываний в защиту столь безнравственного молодого друга. Я попытаюсь перевести часть этого отрывка, и думаю, что все дамы, читающие эти страницы, согласятся со мной в том, что Цицерон нравится им больше за то, что он сказал по этому поводу. Он говорил об изменениях, которые претерпели нравы не только в Риме, но и в Греции, с тех пор как даже философы признали удовольствие необходимым для жизни. "Те, кто отстаивает один постоянный курс непрерывного труда как путь к славе, остались одни в своих школах, покинутые своими учениками. Сама природа создала для нас соблазны, от которых сама Добродетель иногда впадает в дремоту. Сама природа ведет молодых по скользким тропинкам, на которых не оступиться время от времени едва ли возможно. Природа создала для нас множество удовольствий, которым иногда поддается не только молодость, но даже и средний возраст. Если, таким образом, вы найдете человека, который может отвести глаза от всего прекрасного, которого не очаровывает ни сладкий запах, ни нежное прикосновение, ни богатый вкус, который может глухо слушать уговаривающие слова, я, конечно, и, возможно, некоторые другие, могут подумать, что боги были добры к такому человеку; но я сомневаюсь, что мир в целом не подумает, что боги сделали его жалким парнем". Можно привести еще много других восхитительных высказываний в том же духе; но я дал

достаточно, чтобы показать природу оправдания Целия, которое обрушило на Цицерона гнев моралистов.

Глава II.

ЦИЦЕРОН, ÆTAT. 52, 53, 54.

55 г. до н. э., ætat. 52.

Я могу лучше всего продолжить описание жизни Цицерона в этот и два последующих года, проследив за его речами и письмами. В этот период главной целью его политической жизни было примирить существование Сезара и Республики - двух полюсов, которые никак не могли соединиться. Вне политической жизни он продолжал заниматься адвокатской деятельностью со всей прежней энергией, со всей прежней горечью, со всем прежним дружеским рвением, но никогда, как мне кажется, с прежней полезностью. Его жизнь с друзьями и семьей была благополучной; но честолюбивое желание совершить какое-нибудь великое дело для своей страны, которое могло бы сделать его имя более известным, чем имена других римлян, постепенно угасало и, уходя, оставляло после себя сожаления и угрызения совести, которые не позволяли ему быть счастливым человеком. Но именно сейчас, когда ему шел пятьдесят второй год, он действительно начал ту литературную карьеру, которая сделала его вторым римлянином по известности. Есть несколько ранних риторических эссе, переведенных с греческого, сомнительной подлинности; есть несколько строк, сохранившихся из его поэзии; есть речи, которые он писал, а также говорил для тогдашнего Рима; есть его письма, которые до этого времени предназначались только для его корреспондентов. Все, что мы имеем от его пера до этого времени, сохранилось для нас благодаря свету тех великих произведений, к которым он теперь приступил. В этом году, 55 г. до н. э., появился диалог *De Oratore*, а в следующем - трактат *De Republica*. Именно неудача в качестве полководца и подтолкнула Цицерона к литературной деятельности. Поскольку я намерен добавить к этому второму тому несколько глав, посвященных его литературным произведениям, я лишь упомяну даты, когда эти диалоги и трактаты были явлены миру, пока я продолжаю свою работу.

В 55 году до н. э. двое из оставшегося в Риме триумvirата, Помпей и Красс, были избраны консулами, и каждому из них были отведены провинции на пять лет: Помпею - две Испании, а Крассу - Сирия, ставшая для него роковой. Все это было устроено в Лукке, на севере Италии, куда Сезар мог приехать, как находящийся в пределах своей провинции, чтобы встретиться со своими друзьями из Рима или врагами. Весь аристократический Рим толпами повалил в Лукку, так что на улицах этого провинциального городка можно было увидеть две сотни сенаторов. Тем не менее он находился достаточно близко к Риму, чтобы галльский завоеватель мог внимательно изучать политику города. С его разрешения, если не по его наущению, Помпей и Красс были избраны консулами, а ему самому было предоставлено управление собственной провинцией еще на пять лет - то есть до 49 года до н. э. включительно. Теперь Цицерону, по крайней мере, должно было стать ясно, что Сезар намерен править империей.

Хотя мы уже располагаем письмами Цицерона в хронологической последовательности, которую можно считать достаточно правильной для биографических целей, все же остаются большие сомнения относительно точных периодов, когда многие из них были написаны.

Абекен, немецкий биограф, говорит, что в этот год, до 55 г., было написано двенадцать писем. Во французском издании сочинений Цицерона, опубликованном Панкуком, ему отведено тридцать пять. Мистер Уотсон в своих избранных письмах не взял ни одного из рассматриваемого года. Мистер Тиррелл, который до сих пор был моим наставником в отношении переписки, к сожалению, не опубликовал результат своих трудов за пределами 53 года до н. э. на момент написания моего настоящего труда. Некоторые из тех, кто занимался жизнью и работами Цицерона и иллюстрировал их его письмами, внесли некоторую путаницу в существующую ситуацию, предполагая точность знаний в этом отношении, которой не было. Мы не имеем права ссориться с ними за то, что они так поступили; конечно, не с Миддлтоном, поскольку в его время такая точность ценилась читателями меньше, чем сейчас; и мы имеем преимущество большого количества света, который, хотя все еще несовершенный, очень яркий по сравнению с тем, которым пользовался он. Однако изучение писем в той последовательности, в которой они сейчас представлены, дает точное представление об образе мыслей Цицерона в годы между возвращением из изгнания в 57 г. и судом над Милоном в 52 г., хотя иногда читатель может быть введен в заблуждение относительно даты того или иного письма.

С датами его выступлений, во всяком случае, с годом, в который они были произнесены, мы знакомы лучше. Их, конечно, гораздо меньше, и их легко проследить по известным историческим обстоятельствам того времени. 55 г. до н. э. он совершил нападение на своего старого врага, покойного консула Пизона, которое, возможно, является самым вопиющим оскорблением, сохранившимся на любом языке. Мы не знаем точной даты, но можем быть уверены, что она была произнесена в начале года, потому что Цицерон упоминает в ней великие игры Помпея, которые готовились и были показаны, когда в мае был открыт новый театр Помпея.²⁸ Плутарх говорит нам, что они состоялись только в начале следующего года.²⁹ Пизон по возвращении из Македонии напал на Цицерона в сенате в ответ на все те жесткие слова, которые уже были о нем сказаны, и Цицерон, как говорит Миддлтон, "ответил ему на месте инвективной речью, самой резкой, пожалуй, из всех, когда-либо произнесенных человеком, о личности, частностях, всей жизни и поведении Пизона, которая, пока существует римское имя, должна передать всем потомкам его отвратительную характеристику".

Здесь нам предлагается представить, что эта атака была сделана в мгновение ока в ответ на нападение Пизона. Я не могу поверить, что так и должно было быть, как бы велика ни была власть оратора над мыслями и словами. В наши дни мы имеем замечательные примеры готового и возмущенного ответа, сделанного мгновенно, но ни в одном из них гневное красноречие не достигло такой силы, как в данном случае. Мы не можем не предположить, что если бы человеческий интеллект был достаточно совершенен для таких упражнений, он бы также взлетел достаточно высоко, чтобы воздержаться от них. Возможно, Цицерон заранее достаточно хорошо знал, что его ожидает в этот день, чтобы подготовить свой ответ. Вполне возможно, что он сам взялся за шлифовку своей речи, прежде чем она была передана публике в тех словах, которые мы сейчас читаем. Мы можем, я думаю, принять как данность, что Пизон действительно напал на него, и Цицерон сразу же ответил ему словами, которые сокрушили его и которые несправедливо представлены в тех, что дошли до нас.

Читатель, обладающий богатым воображением, потеряет голову от удивления, представив себе фигуру претенциозного проконсула с его самоуверенностью, когда он подвергается кастрации, которую обрушивает на него этот великий мастер злословия, и фигуру высокого, худого оратора с его длинными ногами, худощавого оратора с длинной шеей и острыми глазами, с руками, натренированными для помощи голосу, управляющего своей пурпурной

тогой с совершенной грацией, вкладывающего всю душу в свои страстные слова, которые без потери слога падали в уши окружавших его сенаторов. Этот Луций Кальпурний Пизон Сесороний происходил из одной из самых высокопоставленных семей Рима и обладал достаточным интересом, чтобы быть избранным консулом на тот год, когда Цицерон был отправлен в изгнание.³⁰ Он был тесно связан с Пизоном Фруги, за которого была выдана замуж дочь Цицерона; и Цицерон, когда ему угрожала фракция Клодия - фракция, которую, как он тогда считал, не поддерживал Триумвират, - думал, что консульская дружба и консульская защита, во всяком случае, уберегут его от жестоких последствий. Пизон Сесороний и вовсе подвел его, заявив в ответ на обращение Цицерона, что время сейчас такое, что каждый должен смотреть на себя со стороны. Природу гнева Цицерона можно легко представить. Попытка описать его уже была предпринята. Только после консульства в нем пробудился настоящий гнев, и единственным объектом, который он ненавидел всей душой, был Луций Пизон.

Благодаря красноречию Цицерона этот человек получил бессмертие за подлость. Мы не можем не верить, что он должен был в какой-то степени заслужить это, иначе справедливость мира оправдала бы его характер. Следует, однако, сказать о нем, что через три года после этого он был избран цензором вместе с Аппием Клавдием. Но также следует сказать, что, насколько мы можем судить, оба эти человека были недостойны этой чести. Они были двумя последними цензорами, избранными в Риме до времен империи. Невозможно не поверить, что Пизон был мерзок, но невозможно также поверить, что он был настолько мерзок, каким его представлял Цицерон. В это время Сезар был его зятем, как он был отцом Кальпурнии, с которой нас познакомил Шекспир. Я не знаю, что Сезар плохо воспринял те жесткие слова, которые были сказаны о его теще.

Первая часть речи утрачена. Первые слова мы знаем, потому что их цитирует Квинтилиан: "О боги бессмертные, что это за день, который воссиял для меня последним?".³¹ Из этого можно заключить, что Цицерон хотел сказать, что он ликует по поводу наступления своей мести. Ниже приводится точный перевод начального отрывка того, что дошло до нас: "Чудовище, что ты есть, неужели ты не видишь, не понимаешь, как омерзительно для окружающих твое лицо?" Затем быстрыми словами он обрушивает на несчастного обвинения в личной некомпетентности. Никто не жалуется, говорит Цицерон, что вчерашний парень Габиний должен был стать консулом: мы в нем не обманулись. "Но твои глаза и брови, твой лоб, твое лицо, которое должно быть немым указателем внутреннего ума, обманули тех, кто тебя не знал. Лишь немногие из нас знали о твоих постыдных пороках, о лени твоего ума, о твоей тупости, о твоей неспособности говорить. Когда твой голос был услышан на Форуме? Когда твои советы подвергались проверке? Когда ты оказал какую-либо услугу в мире или на войне? Вы заняли свое высокое положение благодаря ошибкам людей, благодаря почтению к грязным образам ваших предков, на которых вы не имеете никакого сходства, кроме их нынешней мрачной окраски. И может ли он похвастаться передо мной, - говорит оратор, обращаясь от Пизона к собравшимся вокруг, - что он безропотно перешел с одной ступени магистратуры на другую? Этим могу похвастаться я - "hominī novo", человек без предков, которому римский народ оказал все свои почести. Тебя сделали эдилом, говоришь ты; римский народ выбирает Пизона своим эдилом - не из каких-то своих соображений, а потому что он Пизон. Прэторство было даровано не тебе, а твоим предкам, которые были известны и умерли! О вас, живых, никто ничего не знает. Но я...!" Затем он продолжает контраст между собой и Пизоном, ибо речь его столь же полна достоинств, сколь и мерзостей другого человека.

Так оратор продолжает до конца. Он утверждает, обращаясь к Пизону, что если бы увидел его и Габиния распятыми вместе, то не знал бы, что его больше обрадует - наказание, постигшее их тела, или разрушение их репутации. Он заявляет, что молился за все зло для Пизона и Габиния, и боги его услышали, но молился он не о смерти, не о болезни, не о мучениях, а о тех бедах, которые действительно на них обрушились. Два консула, посланные с большими войсками в две величайшие провинции, вернулись с позором. Один, то есть Пизон, не осмелился даже послать домой отчет о своих делах, а другой, Габиний, не получил от сената ни доверия к своим словам, ни удовлетворения ни одной из своих просьб! Он, Цицерон, едва ли смел надеяться на все это, но боги сделали это за него! Самый абсурдный отрывок - тот, в котором он говорит Пизону, что, потеряв свою армию, что он и сделал, он ничего не вернул в целостности и сохранности, кроме своей "старой дерзкой физиономии".³² В целом это тирада оскорблений, весьма уступающая достоинствам Цицерона. Ле Клерк, французский критик и редактор, говорит правду: "Il faut avouer qu'il manque surtout de modération, et que la gravité d'un orateur consulaire y fait trop souvent place à l'emportement d'un ennemi." Однако она полна жизни и забавна как выражение искренней ненависти. Читатель, читая ее, конечно, будет помнить, что римские нравы позволяли высшим классам выражать свое мнение, что совершенно недопустимо для тех из нас, кто надеется считаться джентльменом.

Игры в театре Помпея, на подготовку которых Цицерон ссылается в своей речи против Пизона, описаны им со свойственной ему живостью и юмором в письме, написанном сразу после них своему другу Мариусу. Игры Помпея, с которых он праздновал свое второе консульство, похоже, были разделены между великолепным театром, который он только что построил - фрагменты которого до сих пор сохранились - и "цирком максимус". Это письмо Цицерона очень интересно тем, что показывает, как оценивались или предполагались эти игры римским литератором, а также тем, что дает нам некоторое описание того, что делалось по этому случаю. Марий не приехал в Рим, чтобы увидеть их, и Цицерон пишет, будто его друг презирал их. Сам Цицерон, будучи в Риме, конечно же, был их свидетелем. Быть в Риме и не видеть их было бы просто невозможно. Не приехать в Рим издали было эксцентричностью. Он поздравил Мариуса с тем, что тот не приехал: то ли потому, что был болен, то ли потому, что все это было слишком презрительно: "Ты ранним утром любовался видом на залив, а мы смотрели на полусонных марионеток. Дорогостоящие игры, но, судя по вам, они должны были бы вызвать у вас отвращение. Там выступал бедный Эзоп, но он так не годился по возрасту, что все его друзья не могли не пожелать, чтобы он бросил это занятие. Зачем мне рассказывать вам обо всем этом? Сама дороговизна этого дела отнимала все удовольствие. Шестьсот мулов на сцене в роли Клитемнестры или три тысячи золотых кубков в "Троянском коне" - какое удовольствие они могут вам доставить? Если ваш раб Протоген читал вам что-нибудь - лишь бы это не была одна из моих речей, - вам во всяком случае было лучше, чем нам. Было два чудесных убийства зверей, которые продолжались пять дней. Никто не отрицает, что они были очень грандиозными. Но какое может быть удовольствие для литератора³³, когда какое-нибудь слабое человеческое существо уничтожается сильным зверем, или когда какое-нибудь одинокое животное пронзается охотничьим копьем. Последний день был днем слонов, которые не могли доставить никакого удовольствия, кроме как вульгарной толпе. Их нельзя было не пожалеть, чувствуя, что у бедных животных есть что-то общее с человечеством". В этих боях было убито двадцать слонов и двести львов. Дурной вкус и систематическая коррупция Рима достигли своего апогея, когда Помпей открыл этот театр и показал эти игры.

Он сообщает Аттику,³⁴ в письме, написанном примерно в это время, что вынужден писать ему рукой секретаря; из чего мы заключаем, что это не было, во всяком случае, его

практикой. Он каждый день выступает на Форуме, произнося речи; он уже написал диалоги *De Oratore* и отправил их Лентулу. Хотя он больше не занимал должность, его время, похоже, было занято так же полно, как и в бытность его претором или консулом.

У нас есть записи по крайней мере дюжины речей, произнесенных до 55 г. и до 54 г., между речью против Пизона и следующей сохранившейся, которая была произнесена в защиту Планция. Он защищал Циспия, но Циспий был осужден. Он защищал Каниния Галла, о котором мы можем предположить, что он был осужден и сослан, поскольку Цицерон нашел его в Афинах по пути в Киликию, а Афины были местом, куда обычно отправлялись изгнанные римские олигархи.³⁵ В этом письме к своему молодому другу Целию он говорит о том, как приятно ему было встретиться с Канинием в Афинах; а в цитированном мною письме к Мариусу он жалуется на необходимость защищать этого человека, которая выпала на его долю. Жаркое лето этого года он провел в деревне, но, вернувшись в город в ноябре, застал Красса защищающим своего старого врага Габиния. Габиний вернулся из своей провинции в город и был встречен всеобщим презрением и обвинением. Цицерон поначалу не обвинял и не защищал его, но, будучи вызван в качестве свидетеля, похоже, не смог удержаться от того, чтобы не проявить суровость, с которой он обошелся с Пизоном. Во всяком случае, там был отрывок, в котором Габиний назвал его изгнанным преступником.³⁶ Тогда сенат встал единым фронтом, чтобы воздать почести своему покойному изгнаннику. Однако впоследствии под натиском Помпея он был вынужден встать на защиту этого человека. На первом суде Габиний был оправдан, но был осужден и изгнан, когда Цицерон выступил в его защиту. Цицерон очень страдал от того, что Помпей наложил на него ограничения, и отказывал Помпею до тех пор, пока не была добавлена просьба Цезаря. Мы можем представить, что для него не было ничего более горького, чем навязанное ему обязательство. У нас не сохранилось ничего из этой речи, но трудно поверить, что она была красноречивой. Однако после этого между Крассом и Цицероном наступило примирение: и Цезарь, и Помпей сочли нужным вмешаться. В результате в начале следующего года Цицерон защищал Красса в сенате, когда была предпринята попытка лишить покойного консула его желанной миссии в Сирии. О том, что он сделал в этом отношении, он хвастается в письме к Крассу,³⁷ которое, с нашей точки зрения, несомненно, будет расценено как подлое. Он презирал Красса, а здесь ставит себе в заслугу все то хорошее, что тот о нем говорил; но мы не вправе думать, что Цицерон мог быть совсем не похож на римлянина. Он также выступает в сенате от имени жителей Тенедоса, которые поставили под сомнение свои иммунитеты и привилегии из-за предполагаемого недостатка веры. Об этой речи мы знаем только то, что она была произнесена напрасно. Он выступал против азиатского царя Антиоха Комагенского, с которым дружил Помпей, но Цицерон, похоже, посмеялся над ним, лишив его некоторых мелких владений.³⁸ Он выступал от имени жителей Реаты по какому-то вопросу о привилегиях на воду против Интерамнатов. Интерамны мы теперь знаем как Терну, где современный папа сделал прекрасный водопад и одновременно исправил водные привилегии окружающего района. Цицерон спустился в этот приятный Темп, как он его называет, и пробыл там некоторое время с неким Аксием.³⁹ Затем он вернулся в Рим, чтобы поручить какое-то дело Фонтею, и посетил игры, которые устраивал Милон, избранный эдилом. Здесь у нас есть небольшая драматическая критика об актере Антифоне и актрисе Арбускуле, которая напоминает о Пэписе. Затем он защищает Мессия, затем Друза, затем Скавра. Обо всех этих случаях он упоминает в одном и том же письме, но так незначительно, что мы не можем беспокоиться об их деталях. Мы лишь чувствуем, что он был занят не меньше, чем лондонский барристер, имеющий полную практику. Он также защищал Ватиния - того Ватиния, чьими беззакониями он так возмущался во время суда над Секстием. Он дважды защищал его по наущению Цезаря; и, похоже, не пострадал при этом, как, несомненно, пострадал, когда ему пришлось выступить в защиту своего покойного

консульского врага Габиния. Валерий Максим, скучный автор, которого часто цитируют, но редко читают, чьей задачей было привести примеры всех добродетелей и пороков, порожденных человечеством, ссылается на эти ходатайства за Габиния и Ватиния как на примеры почти божественного прощения обид.⁴⁰ Я думаю, что мы должны искать добро, если добро можно обнаружить в этом деле, в предполагаемой силе, которую могли бы придать Республике дружеские отношения между ним и Цезарем".

до н. э. 54, ætat. 53.

Весной этого года мы видим, что Цицерон пишет Цезарю, по-видимому, очень близкое письмо. Он рекомендует Цезарю своего молодого друга Требатия, юриста, который отправлялся в Галлию на поиски своего состояния, и при этом ссылается на шутивное обещание Цезаря сделать другого друга, которого он рекомендовал, королем Галлии; или, если не это, то, по крайней мере, бригадиром Лепты, его главы механиков. Лепта был доверенным лицом Цезаря, с именем которого мы познакомились в переписке Цицерона, хотя я не помню, чтобы Цезарь когда-либо упоминал о нем. "Пришли мне кого-нибудь другого, чтобы я мог показать свою дружбу", - сказал Цезарь, прекрасно зная, что Цицерон стоит любой цены. Цицерон заявляет Цезарю, что, услышав это, он поднял руки в благодарном удивлении и поэтому послал Требатия. "Mi Cæsar", - пишет он со всей нежностью; затем он хвалит Требатия, заверяя Цезаря, что не рекомендует юношу всеу, поскольку у него были и другие никудышные юноши, например Милон. В результате Требатий получает много хорошего, хотя поначалу ему не нравится служба в армии. Он юрист, и работа в Галлии кажется ему очень тяжелой. Цицерон, переживающий за него, смеется над и советует ему принимать все блага, которые встречаются на его пути. В последующие годы Требатий стал известен всему миру как знаток законов, с которым Гораций якобы советуется по поводу клеветнического характера своих сатир.⁴¹

В сентябре этого года Цицерон выступил в суде в защиту своего друга Кн. Планций, против которого было выдвинуто обвинение в том, что, занимаясь агитацией и получая должность Эдила, он был виновен во взяточничестве. Во всех этих обвинениях, которые дошли до нас как выдвинутые Цицероном, так и опровергнутые, нет ни одного, в котором читатель сочувствовал бы обвиняемому сильнее, чем в этом. Планций проявил к Цицерону во время его изгнания привязанность брата или почти сына. Планций приютил и обеспечил его в Македонии, когда это было незаконно. Теперь Цицерон с большим удовольствием отплатил ему тем же. Читатель этой оратории не может понять, что Планций действительно совершил что-то противозаконное. На самом деле против него выдвигались претензии за то, что он, занимая сравнительно скромное положение рыцаря, осмелился стать противником такого галантного молодого аристократа, как Ювентий Латеренсис, который был побежден на этих выборах и теперь в отместку подал этот иск. В этой оратории нет ни одного разорванного в клочья врага, зато много пафоса и, как это было свойственно Цицерону в этот период его жизни, неумеренного самовосхваления. В ней много подробностей о том, как племена голосовали на выборах, которые терпеливый и любопытный студент найдет поучительными, но которые, вероятно, покажутся кавальными всем, кто не является терпеливым и любопытным студентом. Есть несколько отрывков, имеющих особую силу. Обращаясь к сопернику Планция, он говорит Латеренцию, что, хотя народ, возможно, плохо рассудил, выбрав Планция, его долг не менее важен - принять решение народа.⁴² Скажем, что народ не должен был этого делать; но для него должно быть достаточно того, что он так поступил. Затем он с прекрасной иронией смеется над притязаниями обвинителя. "Предположим, что так и было", - говорит он.⁴³ "Пусть никто из тех, чей род не поднялся выше преторских почестей, не оспаривает место у того, кто принадлежит к консульскому роду. Пусть ни один

простой рыцарь не выступает против того, кто имеет преторские связи". В таком случае не было бы необходимости в голосовании народа. Далее он излагает свои взгляды на честь государства в очень величественных выражениях. "В первую очередь, - говорит он, - я стремился заслужить высокое звание штата; во вторую - чтобы меня считали достойным его. Само звание было лишь третьим объектом моих желаний".⁴⁴ Планций был оправдан - как нам кажется, вполне заслуженно.

В этот, возможно, самый сложный период своего существования, когда организованный заговор еще не опрокинул вехи конституции, он написал длинное письмо своему другу Лентулу⁴⁵, который, будучи консулом, сыграл важную роль в его спасении из изгнания, а теперь был проконсулом в Киликии. Лентул, вероятно, по-дружески обвинил его в том, что он перешел из партии "оптиматов" или сенаторов в партию заговорщиков Помпея, Сезара и Красса. Его называли дезертиром за то, что в ранние годы он перешел из народной партии в сенатскую, и теперь ведущие оптиматы сомневались в нем - не проявляет ли он слишком большую склонность к выполнению воли демократических лидеров. Одно обвинение было столь же несправедливым, как и другое. В этом письме он напоминает Лентулу, что капитан, заходя в порт, не может всегда плыть по прямой, но должен делать галсы и буксировки и использовать косой ветер, когда он может его получить. Цицерон всегда старался пробиться против встречного ветра и метался туда-сюда, вызывая недоумение у тех, кто смотрел на него, не зная природы ветров; но его порт всегда был рядом, он был хорошо виден, если только он мог до него добраться. Этим портом была Старая Республика с ее хорошо отлаженными и некогда успешными институтами. Ее нельзя было "догнать". Ветра стали слишком извращенными, а вход занесло песком. Но он сделал все, что мог, и, хотя в своих попытках его толкали туда-сюда, следует помнить, что для посторонних глаз таким должен быть внешний вид тех, кто вынужден идти галсами в поисках своего порта.

У меня перед глазами подробный и очень точный рассказ мистера Форсайта об этом письме. "Теперь, однако, - говорит биограф, - будущее лежало перед ним во мраке; и ни один самый проницательный политик в Риме не смог бы предугадать череду событий - подлую слабость с одной стороны и беспринципное честолюбие с другой - которые привели к диктатуре Сезара и свержению конституции". Ничто не может быть более правдивым. Цицерон был, вероятно, самым проницательным политиком в Риме; и он, хотя и понимал многие слабости и, следует добавить, алчность своей собственной партии, не предвидел того, к чему должен был прийти Цезарь, и что теперь, вероятно, было зафиксировано на глазах самого Цезаря. Но я не могу согласиться с м-ром Форсайтом в том, к какому результату он пришел, когда цитировал отрывок из одной из заметок, приложенных Мельмотом к своему переводу этого письма: "Только страх определял его решение; и, однажды уже пострадав за свободу, он не считал себя расположенным быть дважды ее мучеником". Я бы не счел эти слова достойными опровержения, если бы они не были поддержаны мистером Форсайтом. Как Цицерон проявил свой страх? Если бы он боялся - а поводов для этого было предостаточно, когда в условиях жестокости времени ведущему человеку было трудно сохранить горло неперерезанным или дом над головой, - разве он не мог обезопасить себя, приняв предложение Цезаря? Проконсул вне Рима был достаточно безопасен, но он не станет проконсулом вне Рима, пока не сможет больше избегать этого. Когда настал день опасности, он присоединился к армии Помпея против Сезара, сомневаясь, не ради своей жизни, а ради своего характера, что будет лучше для Республики. Он не боялся, когда Сезар был мертв и остался только Антоний. Когда настал час перерезать ему горло, он не испугался. Когда человек демонстрирует такую силу действия перед лицом опасности, какую Цицерон

проявил в сорок четыре года во время своего консульства, а затем в шестьдесят четыре года в продолжительной борьбе с Антонием, противоречит природе, чтобы он был трусом в пятьдесят четыре года.

И все свидетельства того периода говорят против этой теории трусости. Ему нечего было особенно бояться, когда Цезарь находился в Галлии, Красс собирался отправиться в Сирию, а Помпей - в свои провинции. Таково было состояние Рима, социальное и политическое, что все было неопределенным и опасным. Но люди уже привыкли к опасности и в общей суматохе стремились лишь к тому, чтобы урвать то, что можно. В распоряжении Цицерона было неограниченное количество награбленного - провинции, магистратуры, ненормальные лейтенанты, но он ничего не взял. Он даже сказал в шутку своему другу, что хотел бы стать авгуром, и критики в ответ заключили, что он был готов продать свою страну за пустяк. Но он ничего не брал, когда все остальные помогали себе сами.

Письмо Лентулусу стоит изучить хотя бы потому, что оно свидетельствует о вдумчивости, с которой он взвешивал каждый пункт, затрагивающий его собственную персону. Он действительно хотел хорошо относиться к "оптиматам", одним из которых был Лентул. Он хотел быть в хороших отношениях с Сезаром и Помпеем, который в это время был шакалом Сезара. Ему было трудно бежать с зайцем и охотиться с гончими. Должно быть, в конце концов он научился ненавидеть все компромиссы. Но его постигли тяжелые времена, и задача, стоявшая перед ним, была невыполнима. Однако если его руки были чисты, когда другие были грязны, а его мотивы патриотичны, когда другие были эгоистичны, то многое можно сказать в его пользу.

В том же году он защитил Рабирия Постума и тем самым осуществил цель, к которой его подстрекал Сезар, защищая Габиния. Этот Рабирий был племянником того, кого за десять лет до этого Цицерон защищал, когда его обвинили в убийстве Сатурнина. Он был рыцарем и, как это было принято у эквитов, долгое время занимался торговлей, зарабатывал деньги, ссужая деньги и тому подобное. Судя по всему, он был успешным человеком, но в неудачное для себя время столкнулся с царем Птолемеем Аулетом, когда встал вопрос о восстановлении этого жалкого государя на троне Египта. Поскольку сам Цицерон не слишком много занимался этим вопросом, я не стал касаться царя и его дел, желая по возможности избежать вопросов, которые касаются скорее истории Рима, чем жизни Цицерона; но дела этого изгнанного царя постоянно всплывают в записях того времени. Помпей подружился с Аулетом, а Габиний, будучи проконсулом в Сирии, добился восстановления царя на его троне - несомненно, в повиновении Помпею, но не в повиновении сенату. Аулетесу, когда он находился в Риме, требовались большие суммы денег - податливым царям в городе нужны были деньги, чтобы купить продажных сенаторов, и Рабирий снабдил его. Прибыль, которую можно было получить от податливых царей, нуждающихся в деньгах, обычно была очень велика, но этот царь, похоже, завладел всеми деньгами, которыми владел Рабирий, так что рыцарь-банкир оказался вынужден стать одним из приближенных царя, когда тот отправился обратно, чтобы завладеть своим царством. Никаким другим способом он не мог удержать огромный долг, который ему причитался. В Египте он был вынужден подвергаться различным унижениям. Он стал не лучше главного слуги среди царских слуг. Одно из обвинений, выдвинутых против него, состояло в том, что он, римский рыцарь, позволил одеть себя в полуженское одеяние восточной служанки при царе. Также против него выдвигалось обвинение в том, что он подкупил или пытался подкупить некоего сенатора. Номинально Рабирий обвинялся в преступлении "de repetundis" - вымогательстве денег в должности магистрата. Деньги, о которых идет речь, на самом деле были вымоганы Габинием у Птолемея Аулетеса в качестве платы за его реставрацию, и в

значительной степени, вероятно, были взяты из кармана самого Рабирия. Габиния осудили и обязали вернуть деньги. У него не было, чтобы вернуть деньги, и требование, в соответствии с каким-то пунктом закона, было передано Рабирию как его представителю. Рабирия обвинили в том, что он вымогал деньги, которых на самом деле лишился, но дух обвинения заключался в том, что он, римский рыцарь, подло подчинился египетскому царю. То, что Рабирий поступил подло и подло, не подлежит сомнению. То, что его погубила сделка с Аулетесом, также несомненно. Предполагается, что он был осужден. Впоследствии он был нанят Сезаром, который, придя к власти, возможно, вызвал его из ссылки. В оратории есть много отрывков, к которым я бы охотно отослал читателя, если бы у меня было для этого место. Я назову лишь один, в котором Цицерон пытается задобрить свою аудиторию, ссылаясь на старую, устоявшуюся ненависть римлян к царям: "Кто есть среди нас, кто, хотя и не пробовал их сам, не знает путей царей? "Слушайте меня здесь!" "Повинуйтесь моему слову немедленно! Скажи хоть слово больше, чем тебе сказано, и увидишь, что получишь!" 'Сделай это во второй раз, и ты умрешь!' Мы должны читать о таких вещах и смотреть на них со стороны не только для нашего удовольствия, но и для того, чтобы знать, что мы должны осознавать и чего нам следует избегать".⁴⁶

В этом же году написано письмо Куриону, еще одному молодому другу, подобному Целию, о котором я уже говорил. Курио тоже был умен, рассеян, экстравагантен и беспринципен. Но в этот период своей жизни он был привязан к Цицерону, которому были небезразличны услуги, которые могли принести ему друзья, которые могли быть жестокими и беспринципными с правой стороны.

53 г. до н. э., ætat. 54.

Это письмо было написано, чтобы заручиться услугами Курио для другого друга, не столь юного, но столь же привязанного, и, возможно, из всех римлян того времени самого беспринципного и жестокого. Этим другом был Милон, который собирался выдвинуть свою кандидатуру на пост консула в следующем году. Курио был на пути из Малой Азии, где он был квестором, и Цицерон пригласил его стать лидером партии Милона по этому случаю.⁴⁷ Мы не можем не представить, что ветры, которыми был призван управлять Курио, - это смерчи и шквалы, которые должны были бушевать на улицах Рима к большому огорчению врагов Милона во время его агитации. Рим дошел до такого состояния, что первые шесть месяцев этого года в нем не было консулов - выборы были признаны невозможными. Милон был главным противником Клодия в городских рядах, которые состоялись еще до изгнания Цицерона. Моммзен называет этих двух людей Ахиллом и Гектором улиц.⁴⁸ Цицерон, конечно, был на стороне Милона, так как Милон был врагом Хлодия. В этом вопросе его чувства были настолько сильны, что он заявляет Курио, что не думает, что благосостояние и удача одного человека когда-либо были так дороги другому, как сейчас Мило для него. Успех Мило - единственный объект его интереса в мире. Это интересно для нас сейчас как прелюдия к великому судебному процессу, который должен был состояться в следующем году, когда Мило, вместо того чтобы быть избранным консулом, был осужден за убийство.

За два предыдущих года Цезарь совершил два вторжения в Британию, в последнем из которых его сопровождал Квинт Цицерон. Цицерон в различных письмах упоминает об этом предприятии, но едва ли придает ему то значение, которое, по нашему мнению, мы, бритты, должны были бы придавать столь грандиозному предприятию. По его мнению, пересечение моря и скалистых берегов острова может быть сопряжено с некоторой опасностью, но ничего стоящего получить нельзя. Он говорит Аттику, что вряд ли может рассчитывать на

рабов, искусных музыке или письму,⁴⁹ и советует Требатию, что, поскольку он наверняка не найдет ни золота, ни рабов, ему лучше посадить себя в британскую колесницу и вернуться на ней как можно скорее.⁵⁰ В этом году Цезарь расправился с оставшимися племенами Галлии и во второй раз перешел Рейн. Шел шестой год его пребывания в Галлии, и люди научились понимать его характер. Цицерон обнаружил его величие, как и Помпей, должно быть, к своему ужасу; и он сам обнаружил, кем он был; но в этом году произошли два происшествия, которые, возможно, были столь же важны для римской истории, как и дальнейший успех Цезаря. Юлия, дочь Цезаря и жена Помпея, умерла во время родов. Ее, похоже, любили все, и она с самого брака боготворила своего бесславного мужа, который был старше ее более чем на двадцать четыре года. Она, несомненно, была крепкой связью между Сезаром и Помпеем; настолько, что мы удивляемся, что подобное чувство было столь сильным среди римлян того времени. "Concordiæ pignus", "залог дружбы", называет ее Патеркул, который в том же предложении говорит нам, что у триумvirата не было других уз, которые бы его скрепляли.⁵¹ Осталась ли бы дружба в силе, если бы Юлия была жива, мы не можем сказать; но она умерла, и два друга стали врагами. С момента смерти Юлии Триумvirата не существовало.

Другая случайность оказалась столь же роковой для уз союза, связывавшего трех мужчин. В конце года после консульства (54 г. до н. э.) Красс отправился в свою Сирию с двойным намерением - увеличить свое богатство и соперничать с военной славой Сезара и Помпея. В следующем году он стал легкой жертвой восточной хитрости и был уничтожен парфянами вместе со своим сыном и большей частью римской армии, которой было поручено его.⁵² Нам говорят, что Красс в конце концов покончил с собой. Однако я сомневаюсь, что в то время среди римлян было достаточно патриотизма, чтобы вызвать чувство, которое должно было стать причиной такой большой потери и такого большого позора. Насколько мы можем судить, уничтожение Красса и его легионов не вызвало в Риме столько размышлений, сколько распад триумvirата.

Дочь Цицерона Туллия уже во второй раз осталась без мужа. Она была вдовой своего первого мужа Пизона; затем, около 56 года, вышла замуж за Крассипа и развелась с ним. О нем мы ничего не слышали, кроме того, что он был разведен. Возникает сомнение, действительно ли она была замужем за Крассипсом. Из писем, адресованных брату и Аттику, мы узнаем, что Цицерон был доволен сватовством, когда оно состоялось, и сделал все возможное, чтобы дать даме богатое приданое.⁵³

В этом году Цицерон был избран в коллегию авгуров, чтобы заполнить вакансию, образовавшуюся после смерти молодого Красса, который был убит вместе со своим отцом в Парфии. Читатель помнит, что он в шутку выразил желание получить эту должность. Теперь он получил его без труда и, конечно, без ущерба для своих принципов. Раньше авгуры имели право заполнять вакансии в своей коллегии, но теперь это право перешло к народу. Теперь оно перешло к Цицерону без серьезных возражений.

Глава III.

МИЛО.

52 г. до н. э., ætat. 55.

Предыдущий год закончился без консульских выборов. Именно для выборов, которые, как ожидалось, должны были состояться, Цицерон так горячо отстаивал услуги Курия от имени Милона. Чтобы помешать выборам, Хлодий обвинил Милона в долгах, а Цицерон выступил в его защиту. В чем заключалось обвинение, мы точно не знаем. "Расследование долгов Милона!" Так назывались обвинительные речи в тех фрагментах, которые дошли до нас.⁵⁴ В них, коротких и не особенно интересных, нет ни слова о долгах Милона; зато много оскорблений в адрес Хлодия, с некоторыми похвалами в адрес самого Цицерона, а также Помпея, который вскоре должен был взяться за оружие против Цицерона, не метафорически, а в мрачной реальности меча и пряжки, в этом вопросе его дальнейшей защиты Милона. Мы не можем поверить, что долги Милона помешали его избранию, но мы знаем, что в конце концов он не был избран. В начале года Хлодий был убит, и тогда, по предложению Бибула, которого читатель помнит как коллегу Сезара по консульству, когда Сезар своим насилием довел своего коллегу до смешного бессилия, Помпей был избран единственным консулом - честь, которой не удостоился ни один другой римлянин.⁵⁵ Должно быть, состояние Рима было очень низким, если такой человек, как Бибул, считал, что порядок возможен только путем передачи абсолютной власти в руки того, кто так недавно был партнером Сезара в заговоре, который еще не был доведен до конца. То, что Бибул действовал под принуждением, несомненно, правда. Сейчас было бы неважно, по какой причине он действовал, если бы не то, что его участие в этом полном разрушении римской формы правления является еще одним доказательством того, что для республики больше не осталось никакой надежды.

Но историю убийства Хлодия необходимо рассказать подробнее, потому что она дает нам наилучшее представление о том, с каким насилием приходилось вести римские дела, а также потому, что она послужила поводом для одного из лучших образцов судебного красноречия, когда-либо подготовленного умом и мастерством адвоката. Хорошо известно, что речь, о которой я говорю, не была произнесена и не могла быть произнесена в той форме, в которой она дошла до нас. Мы не знаем, какая часть ее была произнесена, а какая опущена; но мы знаем, что *Pro Milone* существует для нас и что она живет среди славы языка как опубликованная оратория. Просматривая *Institutio Oratoria* Квинтилиана, я обнаружил, что, по его мнению, *Pro Milone* была первой по популярности среди всех ораций нашего автора - "*facile princeps*", если судить по количеству ссылок и примеров, которые мы можем собрать по этому вопросу, идеи критика. Работа Квинтилиана состоит из уроков ораторского искусства, которые он подкрепляет цитатами великих ораторов, как греческих, так и латинских, с речами которых он ознакомился. Цицерон был для него главным из ораторов; настолько, что мы можем почти сказать, что "*Institutio*" Квинтилиана - это скорее лекция в честь Цицерона, чем общий урок. Метод преподавания римского школьного учителя в интересах римской молодежи того времени нас сейчас не касается, но мы можем узнать из его ссылок, как оценивали различные ораторские произведения в его время другие, а также он сам. *Pro Cluentio*, которая вдвое длиннее *Pro Milone* и которая, как мне кажется, никогда не была любима современными читателями, цитируется Квинтилианом очень часто. Она является второй в списке. Квинтилиан делает восемнадцать ссылок на него; но *Pro Milone* попадает в поле зрения читателя тридцать семь раз. Квинтилиан, безусловно, был хорошим критиком; и он понимал, как зарекомендовать себя перед своими последователями, цитируя превосходные произведения, которые уже были признаны лучшими из тех, что могла предложить римская литература.

Те, кто до меня писал жизнь Цицерона, рассказывая о Мило, очень правильно обращались к Асконию за подробностями. Поскольку я тоже должен это сделать, я, вероятно, не буду сильно от них отклоняться. Асконий писал еще в правление Клавдия и имел в своем

распоряжении летописи того времени, которые до нас не дошли. Среди прочих трудов он мог ссылаться на те книги Ливия, которые с тех пор были утеряны. Похоже, что он выполнял свою работу комментатора без прикрас и враждебности, как с одной, так и с другой стороны. Нет никаких оснований сомневаться в беспристрастности Аскония в отношении суда над Милоном, и есть все основания доверять его знанию фактов.

b.c. 52, ætat. 55.

Когда начался год, консулы еще не были выбраны, и потребовался интеррекс - один интеррекс за другим, чтобы сделать возможным избрание консулов в соответствии с формами конституции. Каждый из них занимал свой пост в течение пяти дней, и было принято, что выборы, которые затягивались, должны были завершиться в течение дней второго или третьего интеррекса. Кандидатов было трое: Милон, Гипсей и К. Метелл Сципион, и все они открыто и беззастенчиво пользовались подкупом и насилием. Цицерон, как мы видим из его письма к Куриону, поддерживал Милона, но не похоже, чтобы он сам принимал какое-либо активное участие в агитации. Для выполнения поставленных задач требовались скорее услуги Курио. Помпей, с другой стороны, был почти так же горячо ангажирован в пользу Гипсея и Сципиона, хотя в том повороте, который приняли дела, он, кажется, был достаточно готов сам принять должность, когда она попадалась ему на пути. Мило и Хлодий часто дрались на улицах Рима, каждый из них сопровождался отрядом вооруженных бойцов, так что в дерзости, как говорит Асконий, они были равны.

20 января Милон возвращался в Рим из Ланувия, где он, как главный магистрат города, занимался выдвижением своего друга в муниципалитет. Он ехал в повозке со своей женой Фаустой и другом, а за ним, как это было принято, следовал большой отряд вооруженных людей, среди которых были два известных гладиатора, Евдамус и Биррия. В Бовилле, у храма Бона Деа, его кортеж встретил верхом Клодий, с которым было несколько друзей и тридцать рабов, вооруженных мечами. Свита Милона была почти в десять раз многочисленнее. Асконий не предполагает, что кто-то из них ожидал этой встречи, но можно предположить, что она была случайной. Мило и Хлодий прошли мимо друг друга без слов и ударов, несомненно, переругиваясь; но два гладиатора, находившиеся в конце шеренги людей Мило, начали ссориться с некоторыми из последователей Хлодия. Хлодий вмешался, и Биррия ранил его в плечо; затем его отнесли в соседнюю таверну, пока продолжался бой. Милон, узнав, что его враг спрятан там, и решив, что смерть такого противника значительно облегчит его карьеру, и что следует рискнуть, хотя последствия могут быть тяжелыми, заставил вытащить Хлодия из таверны и зарезать. На каком основании Асконий приписал Милону эти вероятные мысли, мы не знаем. В то, что приказ был отдан, присяжные поверили или, во всяком случае, постарались поверить.

До этого момента Мило был не более виновен, чем Хлодий, и ни один из них, вероятно, не был виновен более чем в обычной жестокости. Партизаны с обеих сторон пытались доказать, что каждый из них подготовил засаду для другого, но нет никаких доказательств того, что это было именно так. Сейчас нет никаких доказательств того, что Хлодия вытащили, чтобы убить; но мы знаем, каково было общее мнение Рима в то время, и можем заключить, что оно было правильным. Вероятно, приказ был отдан Мило, как он был бы отдан Хлодием в аналогичных обстоятельствах, - в самый неподходящий момент, когда Мило позволил своей страсти взять верх над рассудком.

Тридцать слуг Хлодия были либо убиты, либо разбежались и спрятались, когда некий сенатор С. Тедий, шедший той дорогой, нашел на дороге мертвое тело и, внеся его в город на подстилке, положил в доме покойника. Еще до наступления ночи о смерти Клодия стало

известно всему городу, и тело окружила толпа граждан низшего сословия и рабов. С ними была вдова Фульвия, которая обнажила раны мертвеца и вызвала у людей сочувствие. На следующий день толпа увеличилась, среди них были сенаторы и трибуны, тело вынесли на Форум, и трибуны объясняли народу весь ужас совершенного деяния. Затем тело было перенесено в соседний сенатский дом⁵⁶ толпой под предводительством Секста Клодия, двоюродного брата убитого. Здесь его сожгли большим пожаром вместе со столами и скамьями и даже с книгами и архивами, которые там хранились. Пламя уничтожило не только здание сената, но и храм, который находился рядом с ним. Дом Милона подвергся нападению, и его удалось отстоять с помощью оружия. Нам дают понять, что весь Рим находился в состоянии насилия и анархии. Фаски консулов были убраны в один из храмов - храм Венеры Либитины: народ схватил их и понес в дом Помпея, объявив, что он должен быть диктатором, а он один консулом, смешивая анархию с удивительным почтением к юридическим формам.

Но в городе возникло чувство сильного гнева из-за сожжения дома сената, которое на некоторое время, казалось, погасило симпатии к Клодию, так что Милон, который, как предполагалось, удалился, вернулся в Рим и возобновил свою агитацию, раздавая взятки всем гражданам - "millia assuum", возможно, что-то более десяти фунтов каждому человеку. И он, и Целий томили народ и заявляли, что Клодий начал войну. Но пока город находился в таком состоянии, консулы не могли быть избраны, и Помпей, желая защитить Республику в обычной форме, собрал войска со всей Италии. Начались приготовления к суду над Милоном, и друзья каждой стороны потребовали, чтобы рабы другой стороны были подвергнуты пыткам и допрошены в качестве свидетелей; но все возможные препятствия и юридические тонкости были использованы защитниками обеих сторон. Гортензий, выступавший за Милона, заявил, что все рабы Милона стали свободными людьми и их нельзя трогать. Взад и вперед рассказывались истории о жестокости и насилии с каждой стороны. Милон предложил Помпею отказаться от своей агитации в пользу Гипсея, если Помпей примет это как компромисс. Помпей с обычным для него достоинством ответил, что он не римский народ и что не ему вмешиваться.

Тогда по инициативе Бибула Помпей стал единоличным консулом. Он сразу же распорядился принять новый закон о ведении судебного процесса, а когда против него выступил Целий, заявил, что, если понадобится, он добьется своего силой оружия. Притворившись, что боится насилия Милона, он остался дома, а однажды распустил сенат. Впоследствии, когда Милон вошел в сенат, один из присутствующих сенаторов обвинил его в том, что он пришел с оружием, спрятанным под тогой; тогда он поднял свою тогу и показал, что его там нет. Асконий рассказывает, что после этого Цицерон объявил, что все остальные обвинения, выдвинутые против обвиняемого, столь же ложны. Это первое известное нам высказывание Цицерона по данному вопросу.

Два или три человека заявили, что, поскольку они присутствовали при смерти Клодия, их похитил и держал в плену Милон; и эта история, правдивая или ложная, причинила Милону большой вред. Похоже, что Милон снова стал очень одиозен для народа, а его ненависть на время распространилась и на Цицерона, как друга и предполагаемого защитника Милона. Помпей, похоже, разделял это чувство и заявил, что против него самого замышляется насилие. "Но Цицерон был так постоянен, - говорит Асконий, - что ни отчуждение народа, ни подозрения Помпея, ни страх перед тем, что может постигнуть его самого на суде, ни ужас перед оружием, которое открыто применялось против Милона, не могли помешать ему продолжать защиту, хотя в его силах было избежать ссоры с народом и возобновить свою дружбу с Помпеем, воздержавшись от нее". Председателем был выбран Домиций Энобарб, а

остальные судьи, как нам говорят, были одинаково хорошими людьми. Милона обвиняли и в насилии, и во взяточничестве, но ему удалось договориться, чтобы сначала рассматривалось первое дело. Метод судебного разбирательства объясняется. В итоге был выбран 51 судья или присяжный. Первым был допрошен свидетель Схола, который из всех сил преувеличивал ужас убийства. Когда Марцелл, защитник Мило, начал допрашивать Схолу, народ так разбушевался, что президент был вынужден защитить Марцелла, отведя его за барьер судейских мест. Мило также был вынужден потребовать защиты в суде. Помпей, сидевший в это время в казначействе и напуганный шумом, заявил, что на следующий день сам выступит с войсками. После выслушивания показаний трибун Мунаций Планк обратился к народу с речью, умоляя его прийти на следующий день в большом количестве, чтобы не допустить Милона к мысу. На следующий день, 11 апреля, все таверны были закрыты. Помпей заполнил своими солдатами Форум и все подступы к нему. Сам он, как и прежде, сидел в казначействе, окруженный отборным войском. На суде в этот день, когда выступили трое из защитников Милона - Аппий, Марк Антоний и Валерий Непос, - Цицерон встал на защиту преступника. Брут подготовил орацию о том, что убийство Хлодия само по себе было хорошим поступком, достойным похвалы от имени Республики; но Цицерон отказался от этой речи, заявив, что человек не может быть законно убит только потому, что его смерти желают, и речь Брута не была произнесена. Свидетели заявили, что Милон поджидал Клодия. Цицерон утверждал, что это ложь, утверждая, что Клодий поджидал Милона, и старался доказать именно это и никакое другое. "Но доказано, - говорит Асконий, - что в тот день никто из них не замышлял насилия; что они встретились случайно, а убийство Клодия произошло из-за ссоры рабов. Было хорошо известно, что каждый из них часто угрожал смертью другому. Рабы Милона, несомненно, были гораздо многочисленнее, чем рабы Клодия, когда произошла встреча, но рабы Клодия были гораздо лучше подготовлены к бою. Когда Цицерон начал выступать перед судьями, приверженцев Клодия не мог заставить воздержаться от беспорядков даже страх перед солдатами, так что он не мог говорить с привычной твердостью".

Таков рассказ Аскония, который далее сообщает, что из пятидесяти одного судьи тридцать восемь осудили Милона и только тринадцать были за то, чтобы оправдать его. Таким образом, Мило был осужден и вынужден был сразу же удалиться в изгнание в Марсель.

Судьи, похоже, признали, что Хлодий не был ранен вначале при попустительстве Милона; но они решили, что Милон распорядился убить Хлодия во время драки, которую рабы затеяли между собой. Насколько мы можем интересоваться этим вопросом, мы должны предположить, что так оно и было; но мы вынуждены согласиться с Брутом, что убийство Хлодия само по себе было хорошим поступком, и в то же время мы должны признать, что убийство Мило было бы таким же хорошим поступком. Хотя мы можем сомневаться в том, каким образом был убит Хлодий, в этом деле есть моменты, в которых мы можем быть совершенно уверены. Мило был осужден не за убийство Хлодия, а потому, что в тот момент он выступал против той линии политики, которая, по мнению Помпея, в наибольшей степени отвечала его собственным интересам. Милон был осужден, а смерть несчастного Клодия отомщена, потому что Помпей желал, чтобы Гипсей стал консулом, а Милон посмел встать на его пути. Цицерону было отказано в аудиенции, но не из-за симпатии к Хлодию, а потому что Помпею было угодно, чтобы Милон был осужден. Если бы Цицерон произнес слова, которые потом были опубликованы, присяжные могли бы колебаться, и преступник был бы оправдан. Сезар отсутствовал, и Помпей на мгновение вновь обрел верховную власть. Хотя никто в Риме не оскорблял Помпея так, как Хлодий, и никто не сражался за Помпея так, как Цицерон, все же Помпею было угодно отомстить Хлодию и наказать Цицерона за то, что он принял участие в борьбе за консульство Милона. После осуждения за смерть Хлодия Милон был

осужден на трех последующих процессах, один за другим, почти мгновенно: за подкуп, за тайный сговор и снова за насилие в городе. Он отсутствовал, но добиться его осуждения не составило труда. Когда его не стало, один Сауфий, его друг, который был с ним во время беспорядков, был отдан под суд за участие в смерти Хлодия. Во всяком случае, было известно, что он виновен в этом деле. Он возглавлял отряд, напавший на таверну, убил трактирщика и потащил Хлодия на казнь. Но Сауфей был дважды оправдан. Если бы в Риме была хоть какая-то надежда на спокойствие, возможно, было бы хорошо, чтобы Клодий был убит, а Милон изгнан. Как бы то ни было, ни смерть одного, ни изгнание другого ничего не дали. Жаль, что такой человек, как Цицерон, человек с таким умом, такими амбициями, такими симпатиями и таким патриотизмом, был вынужден сражаться на такой арене.

до н. э. 52, ætat. 55.

В этой истории мы имеем наглядную и наиболее поразительную картину тогдашнего Рима. Консулы не избирались и не могли быть избраны, а система, при которой "интерреги" могли руководить выборами своих преемников вместо консулов истекающего года, разрушилась. Помпей стал единственным консулом в неофициальном порядке и взял на себя все полномочия диктатора по сбору войск. Власть в Риме, похоже, в тот момент делилась между ним и бандами гладиаторов, но ему тоже удалось вооружиться, и, поскольку фракция Клодиев была на его стороне, он на некоторое время стал верховным правителем. К закону к этому времени он не испытывал особого почтения, поскольку последние восемь лет был партнером Сезара в так называемом триумvirате. Однако у него не было склонности к тому, чтобы полностью отбросить закон в сторону и совершить такой переворот, который то и дело оказывался в его власти. Кроме Помпея, в это время в Риме не было никакой власти, кроме власти гладиаторов и владельцев гладиаторов, каждый из которых стремился к грабежу империи. Были некоторые люди, такие как Бибул и Катон, которые считали себя "оптиматами" - ведущими гражданами, верившими в Республику, и, несомненно, стремились сохранить установленный порядок вещей, как мы можем представить, что герцоги и графы стремятся к этому в наши дни. Но они были бессильны и плохи в делах, и в целом были слишком привязаны к своим "рыбным прудам", под которыми Цицерон подразумевает их общую роскошь и экстравагантность. В душах этих людей, несомненно, жило желание увековечить республику, которая так много для них сделала, и мужество, достаточное для совершения великого дела, если это великое дело окажется на их пути. Они отправились в Фарсалию, а Катон отправился в поход через пустыни Ливии. Они убили Цезаря и после этого доблестно сражались; но они были как песок на веревке, у них не было ни достойного лидера, ни высокой цели.

Среди них был Цицерон, который, конечно, не был подходящим лидером, когда нужно было сражаться, и который в политике в целом был скорее приспособлен к благородным стремлениям, чем поддерживался твердыми целями. Мы вынуждены удивляться тому, что в такой период и среди такого народа должны были существовать столь благородные стремления, соединенные с таким тщеславием выражения. Среди римлян он стоит выше всех, потому что из всех римлян он был наименее римлянином. Он начал с высоких намерений и воплотил их в жизнь. Среди всех квесторов, эдилов, преторов и консулов, которых знал Рим, не было ни одного лучше, ни одного честнее, ни одного патриотичнее. В те дни неожиданно появился человек, проникнутый нежданной мыслью о том, что он должен исполнить свой долг перед государством в соответствии с лучшими его качествами - не Цинциннат, не Деций, не Камилл, не Сципион, не претенциозный последователь этих полумифических героев, не полубог, пытающийся пройти по сцене жизни, закутавшись в тогу и решив навязать всем взгляды, приняв божественное достоинство, но тот, кто на

каждом шагу осознавал свой человеческий долг и стремился выполнить его в меру своих человеческих способностей. Он сделал это; и мы должны признать, что тщеславие его пересилило. Он заблуждался относительно чувств окружающих, думая, что и они будут увлечены восхищением его поведением. Вплоть до того дня, когда он сошел с поста консула, долг был для него превыше всего. Затем постепенно к нему пришло убеждение, что долг, хотя и был для него первостепенным, не так уж важен для других. Он щедро поклонялся Помпею, думая, что Помпей, которого он в юности считал лучшим из граждан, из всех людей будет верен Республике. Помпей обманул его, но он не мог внезапно отказаться от своего кумира. Постепенно, как мы видим, его охватил страх, что великая Римская республика не была тем совершенным учреждением, которое он себе представлял. В его ранние годы Хрисогон был низменным, и Веррес, и Оппианик, и Катилина; но все же, по его мнению, тело Римской республики было крепким. Но когда он вышел из консульства, решив, что останется в Риме, презрев провинции и грабежи, и будет как бы особым провидением для Республики, он постепенно отступил от своей высокой цели, обнаружив, что нет таких римлян, какими он их себе представлял. Тогда он отпал и стал человеком, который снисходил до того, чтобы растрачивать свой непревзойденный интеллект на нападки на Пизона, на восхваление себя и на защиту Милона. Слава его активной жизни закончилась, когда он стал консулом, - за исключением славы, которую принесла ему последняя борьба с Антонием, - но работа, благодаря которой должно было быть достигнуто его бессмертие, еще была перед ним. Я думаю, что после защиты Милона он должен был признать для себя, что вся партизанская борьба в Риме - это подлость, бесчестие и пустота. Когда здание Сената и его архивы были сожжены как погребальный костер в честь Клодия, а Форум, на котором ему пришлось отстаивать свои права, был выстроен в ряд с солдатами, которые останавливали его лязгом оружия, вместо того чтобы защищать его в своей речи, Цицерон должен был признать, что старая Республика мертва, и нет никакой надежды на ее воскрешение. Он часто говорил об этом Аттикусу; но в унынии люди произносят слова, которые не хотят, чтобы их принимали в качестве устоявшегося убеждения. В таком настроении Цицерон писал своему другу; но теперь ему, должно быть, пришло в голову, что его брюзгливые высказывания становятся слишком правдивыми. Подстрекая Курио агитировать за Милона и защищая Милона, как будто это было хорошо для римского аристократа - путешествовать по окрестностям города с армией по пятам, он, должно быть, перестал верить даже в себя как в римского государственного деятеля.

В доступной нам оратории, которую мы должны приучить себя считать совершенно иной, чем та, которую Цицерон мог произнести среди солдат Помпея и клодианского сброда, читателя поражает великолепие языка, в который можно облечь столь скверное само по себе дело, и заставляет почувствовать, что если бы он был присяжным и если бы к нему обратились с подобной речью, он бы непременно проголосовал за оправдательный приговор. Вина или невиновность Мило в убийстве действительно зависела от того, отдавал ли он приказ вытащить Хлодия из таверны и убить; но здесь, в этой речи, выдвигаются три пункта, в каждом из которых оратор мог заставить присяжных поверить, что Хлодий действительно подготовил засаду, что Хлодий был худшим из всех римлян, а Мило был верным и настоящим, и, несмотря на некоторую свирепость нрава, в душе был хорошим гражданином. Мы согласны с Милоном, который, будучи изгнанным, заявил, что никогда бы не смог насладиться марсельской рыбой, если бы Цицерон произнес на Форуме ту речь, которую он впоследствии сочинил.

"Я не стал бы напоминать вам, - говорит он, - о трибунстве Милона и обо всех его заслугах перед государством, если бы не смог объяснить вам, как днем, засаду, которую в тот день устроил для него его враг. Я не стану просить вас простить преступление только потому, что

Мило был хорошим гражданином; и потому, что смерть Хлодия стала благословением для всех нас, я не стану просить вас считать ее поступком, достойным похвалы. Но если факт засады абсолютно очевиден, то я прошу вас во всяком случае признать, что человек может законно защищаться от высокомерия и от оружия своих врагов".⁵⁷ Из этого можно понять характер используемых аргументов. За языком читатель должен обратиться к оригиналу. О том, что ему стоит это сделать, свидетельствуют все критики - особенно Милон, когда он ел сардины в изгнании, и Квинтилиан, когда он готовил свои уроки риторики. Похоже, что Цицерона обвиняли в том, что он использует в сенате нечто вроде господствующей тирании - что вряд ли было бы правдой, поскольку в тот момент преобладало влияние Помпея, - но он отбрасывает эту инсинуацию с большим размахом. "Называйте это тиранией, если вам угодно, если вы считаете, что это именно так, а не какой-то небольшой авторитет, который вырос из моих заслуг перед государством, или какая-то благосклонность среди хороших людей из-за моего звания. Называйте это как хотите, пока я могу использовать его для защиты добра от насилия злонамеренных".⁵⁸ Затем он описывает моду, в которой эти два человека путешествовали по этому случаю, - моду путешествовать так, как ему было удобно ее описывать. "Если бы вы не слышали подробностей этой истории, а просто видели картину всего происходящего, разве не стало бы ясно, кто из них спланировал нападение, кто из них был невежественен во всем зле? Один из них сидел в своей карете, облаченный в плащ, и рядом с ним была его жена. Его одежда, его клиенты, его спутники - все это показывает, как мало он был подготовлен к бою. Что же касается второго, то почему он так внезапно покинул свой загородный дом? Почему он сделал это так поздно вечером? Почему он ехал так медленно в это время года? По его словам, он направлялся на виллу Помпея. Не для того, чтобы увидеть Помпея, потому что он знал, что Помпей находится в Алсиуме. Хотел ли он увидеть виллу? Он бывал там тысячу раз. К чему все эти проволочки, хождения взад-вперед? Потому что он не хотел сходить с места, пока не подойдет Мило. А теперь сравните способ передвижения этого грубияна и Мило. У Хлодия был постоянный обычай брать с собой жену, но сейчас ее не было. Он всегда ездил в карете, но сейчас он был верхом. Его молодые греческие сибариты всегда были с ним, даже когда он отправлялся в Тоскану; в этот раз в его компании не было таких мелочей. С Милоном, для которого такие спутники не обычным делом, были мальчишки-певцы его жены и целая толпа женщин-рабынь. С Хлодием, который обычно никогда не двигался без толпы проституток за спиной, теперь не было никого, кроме людей, отобранных для этой работы".⁵⁹ Какую картину мы имеем здесь о том, как знатные римляне передвигались по городу и пригородам! Можно предположить, что поющие мальчишки жены Милона были так же плохи, как и греческие слуги, которым обычно радовался Хлодий. Затем он задает вопрос Помпею, полный прекрасной иронии. Если бы Помпей мог воскресить Хлодия из мертвых - Помпей, который так любит его; Помпей, который так могущественен, так удачлив, так способен на все; Помпей, который был бы так рад сделать это из-за своей любви к этому человеку, - разве вы не знаете, что от имени Республики он оставил бы его среди призраков там, где он есть?⁶⁰ В этом есть восхитительный оттенок сатиры, когда мы вспоминаем, каким одиозным и наглым был Клодий для Помпея в недалекие времена.

Ораторская речь завершается гистрионными эффектами, которые были бы удивительны, если бы их когда-либо произносили, но которые кажутся нам невероятными, когда мы знаем, что они были подготовлены для публикации, когда дело было закончено. "О я несчастный! О я несчастный!"⁶¹ Но все эти попытки перевода тщетны. Студенту, желающему понять, какой эффект могут произвести латинские слова, облеченные в такую изящную форму, следует прочесть "Мило".

В этом году у нас очень мало писем Цицерона - всего четыре, я думаю, и они не имеют особого значения. В одном из них он рекомендует Авиана Титу Тицию, лейтенанту, служившему тогда под началом Помпея.⁶² В нем он очень старается побудить Тиция сообщить Авиану все то хорошее, что говорил о нем Цицерон. В наше время мы иногда посылаем рекомендательные письма, вскрытые руками представляемого, чтобы он мог сам прочитать похвалу; но римляне не стеснялись просить, чтобы эта услуга была оказана и им. "Окажи мне эту услугу, Тиций, будь добр к Авиану; но окажи мне еще большую услугу, сообщи Авиану, что я попросил тебя". Так же, как Цицерон поступил с Тицием, поступали и другие знатные римляне в общении со своими друзьями в провинциях. В другом письме к Марию он выражает свою радость по поводу осуждения Мунатия Планка, который был трибуном при убийстве Хлодия. Планкус подстрекал народ, возбуждая его против Милона и Цицерона, и привел к поджогу здания сената и храма по соседству. За это Планка не могли обвинить в течение года его правления, но его отдали под суд, когда этот год закончился. Помпей сделал все возможное, чтобы спасти его, но тщетно; и Цицерон радуется не только тому, что трибун, выступивший против него, был наказан, но и тому, что Помпей был побежден, что он приписывает исключительно благосклонности, проявленной к нему присяжными.⁶³ Он испытывает неподдельное ликование от того, что на скамье присяжных оказались люди, которые, будучи избранными Помпеем для того, чтобы оправдать этого человека, осмелились его осудить. Цицерон сам выступил против Планка по этому поводу. Секст Клодий, который был главным среди бунтовщиков, также был осужден.

52 г. до н. э., ætat. 55.

Это был год, когда Цезарь едва не был побежден галлами при Герговии, а Верцингеторикс, запершись в Алезии, был наконец побежден жестокой стратегией римлян. Храбрый галл, который сделал все возможное для защиты своей страны и до последнего нес себя с прекрасной галантностью, был шесть лет продержан своим завоевателем в цепях, а затем задушен среди славы триумфа этого завоевателя - яркий пример милосердия, которое приписывается Сезарю как его особая добродетель. В этом же году были написаны диалоги Цицерона с Аттиком, *De Legibus*. Похоже, он не отвлекался от своих трудов на Форуме ни на какие другие работы.

Глава IV.

КИЛИКИЯ.

до н. э. 51, эт. 56.

Мы не можем не думать, что в это время возвращения Цезаря сильно опасалась в Риме та партия в государстве, к которой принадлежал Цицерон; и эта партия теперь должна пониматься как включающая Помпея. Помпей номинально был проконсулом в Испании с года своего второго консульства, совместно с Крассом, до 55 г., но остался в Риме и взял на себя управление римскими делами, считая себя хозяином нерегулярной власти, созданной триумвиратом; к этой партии принадлежал и Цицерон с Катонем, Бибулом, Брутом и всеми теми, кто гордо именовал себя "оптиматами". Предполагалось, что теперь они желают сохранить старую республиканскую форму правления, и это желание было более или менее искренним в зависимости от характера людей. Катон и Брут были настроены серьезно, не понимая, однако, что старая форма может быть полностью лишена старого духа. Помпей был

настроен на тот же лад, считая, что в Риме все будет хорошо, пока он будет обладать высоким постом, великими именами и уделами диктатуры. Цицерон тоже был озабочен, озабочен преданно, но озабочен без уверенности. Возможно, что-то можно было бы спасти, если бы эти оптимисты смогли пробудить в себе хоть какое-то представление о своем долге благодаря красноречию, подобному его собственному.

Я процитирую несколько слов из "Сезара" мистера Фруда: "Если бы Сезар приехал в Рим в качестве консула, сенат слишком хорошо знал, что его может ожидать"; и затем он добавляет: "Цицерон в течение некоторого времени видел, что его ждет".⁶⁴ В отношении этих утверждений я полностью согласен с мистером Фраудом; но я думаю, что он неверно прочел как историю того времени, так и характер человека, когда он продолжает утверждать, что "Цицерон предпочел, что характерно, быть в стороне в тот момент, когда он ожидал, что буря разразится, и принял управление Киликией и Кипром". Все известные подробности жизни Цицерона до периода его правления Киликией, во время правления и после возвращения из этой провинции доказывают, что для него было характерно стремление к жизни в Риме. Об этом он заявлял своим отвращением к этой работе и нетерпением возвращения во время своего отсутствия. Ничто не может быть более достоверным, чем то, что он отправился в Киликию, повинаясь новым правовым актам, которых он не мог избежать, но которые, поскольку они действовали на него самого, были для него одиозны. Мистер Фрауд говорит нам, что он занимал этот пост всего два года.⁶⁵ В последнее время сроки правления провинциальных правительств сильно варьировались. Признанная законом продолжительность составляла один год. Правящая партия растягивала их до трех, как в случае с Верресом в Сицилии; до пяти, как Помпей в своем испанском правительстве; до десяти, как Сезар в Галлии. Это было сделано с целью расширить возможности для грабежа и власти, но принесло пользу, позволив правителям выполнить работу, для которой не хватило бы и одного года. Может возникнуть вопрос, заслуживает ли Цицерон как проконсул в Киликии порицания за сокращение срока своих услуг империи или похвалы за воздержание от грабежа и власти; но факт в том, что он оставался в своей провинции не два года, а ровно один;⁶⁶ и что он бежал из нее со всей той готовностью, которую, как мы можем предположить, ожидает заключенный, когда для него открываются решетки его тюрьмы. Порицаем мы его или хвалим, но вряд ли сможем удержаться от ощущения, что его нетерпение было гротескным. У Цицерона, конечно, не было никакого желания ни ехать в Киликию, ни оставаться там, и из всех его чувств то, что побуждало его никогда не отлучаться далеко от Рима, было самым характерным для этого человека.

Среди различных законов, принятых Помпеем в предыдущем году, 52 г. до н. э., которые были приняты с учетом его личных политических взглядов, был один "de jure magistratuum" - о том, как должны выбираться магистраты империи. Среди прочих пунктов он содержал один, который объявлял, что ни один претор и ни один консул не должен наследовать провинцию до тех пор, пока он не пробыл на своем посту пять лет. Бесполезно указывать на то, насколько абсолютно разрушительным для старой системы Республики был бы этот новый закон, если бы новый закон и старая система пытались жить вместе. Пропретор был бы вынужден отказаться от стремления получить провинцию или консульство, и ни один консульский наместник не мог бы претендовать на провинцию до пятидесятого года жизни. Но в это время Помпей был и консулом, и наместником, а Цезарь был наместником в течение десяти лет с особым освобождением от другой статьи войны, которая в противном случае запретила бы ему снова баллотироваться в консулы во время его отсутствия.⁶⁷ Закон был нужен, вероятно, только на время; но он привел к тому, что Цицерон был вынужден покинуть Рим. Поскольку в результате этого, естественно, возникла бы нехватка кандидатов в провинциях, сенат постановил, что бывшие преторы и бывшие консулы, которые еще не

служили губернаторами, должны теперь отправиться и взять на себя обязанности правительства. В соответствии с этим приказом и, вероятно, как специально предусмотренное его следствие, Цицерон был вынужден отправиться в Киликию. Мистер Фрауд сказал, что "он предпочитал, что характерно, быть в стороне от дороги". Я же привожу здесь более вероятную, на мой взгляд, причину, по которой он взял на себя управление Киликией.

b.c. 51, ætat. 56.

В апреле этого года Цицерон, прежде чем приступить к работе, написал первое из серии писем, адресованных Аппию Клавдию, который был его предшественником в провинции. Этот Аппий был братом Публия Клодия, которого мы знаем последние два-три года как вредителя и гонителя Цицерона; но он обращается к Аппию так, как будто они были близкими друзьями: "Поскольку, вопреки всем моим желаниям и ожиданиям, случилось так, что я должен взять в свои руки управление провинцией, у меня есть одно утешение в моих различных бедах - что никто лучше меня не мог бы последовать за тобой и что я мог бы принять управление из рук никого более расположенного сделать это дело приятным для меня, чем ты".⁶⁸ И далее он продолжает: "Вы понимаете, что в соответствии с указом Сената провинция должна быть оккупирована". Следующее письмо на эту тему было написано Аттику, когда он еще находился в Италии, но уже отправился в путь. "В твоём прощании со мной, - говорит он, - я увидел природу твоей любви ко мне. Я хорошо знаю, что я сам люблю тебя. Поэтому вы должны позаботиться о том, чтобы ни одно новое соглашение не продлило нашу разлуку более чем на год".⁶⁹ Далее он рассказывает о сцене, произошедшей в Аркануме, доме, принадлежащем его брату Квинту, в котором он остановился по дороге, чтобы проститься с семьей. Там была Помпония, жена Квинта и сестра Аттика. Между мужем и женой произошло несколько слов по поводу приглашения на торжество, в которых дама повела себя с христианской испорченностью нрава. "Увы, - говорит Квинт своему брату, - ты видишь, что мне приходится терпеть каждый день!" Зная, как велики были полномочия римского патера и как мало в те времена проветривались права женщин, мы должны были бы думать, что бывший претор мог бы управлять своим домом более комфортно; но дамы, без сомнения, во все века были способны сделать себя неприятными.

Я сомневаюсь, что у нас есть какие-либо свидетельства о провинциальном правлении Цицерона, кроме тех, что исходят от него самого и ограничиваются письмами, написанными им в то время.⁷⁰ Тем не менее, у нас есть четкие сведения о его делах, настолько полны и удовлетворительны письма, которые он тогда писал. Истинность его рассказа о себе никогда не подвергалась сомнению. Он рисует картину своей честности, гуманности и силы управления, которая тем более поразительна, что мы не можем не сравнить ее с имеющимися у нас картинами хищничества, жестокости и тирании других правителей. Мы продолжали узнавать из его речей и писем, что это были привычные грабители, тираны и злодеи, пока нас не заставили признать, что в том низком состоянии, до которого опустилась римская природа, бесполезно было ожидать иного поведения от римского правителя; и вот он рассказывает нам о том, как человек управлял, когда, как чудо, нашелся честный, ясный, отзывчивый и благожелательный правитель. Этим человеком был он сам; и он рассказывает о себе, как бы не краснея! Он рассказывает историю о себе, но не так, как будто она чем-то примечательна! То, что другие правители перемалывали кости своих подданных, чтобы сделать из них хлеб, и брали кровь из их вен для питья, а Цицерон не снисходил до того, чтобы брать даже обычную дань, когда ее охотно предлагали, кажется Цицерону лишь тем, чего мир вправе был от него ожидать! Это замечательное свидетельство о характере человека; но, несомненно, еще более замечательна всеобщая вера в его собственный

рассказ о своем правлении. "Поведение Цицерона во время его правления было достойным", - говорит де Квинси. "Его короткая карьера в качестве проконсула в Киликии принесла ему заслуженные почести", - говорит Дин Меривейл.⁷¹ "Он хорошо управлял своей провинцией; никто никогда не подозревал Цицерона в коррумпированности или несправедливости", - говорит мистер Фрауд, который, однако, за несколько страниц до этого сказал, что Цицерон, как обычно, "думал прежде всего о себе, а о долге - потом".⁷² Дион Кассий, который не устает рассказывать неприятные истории о жизни Цицерона, ни слова не говорит о его киликийском правлении, из чего мы, во всяком случае, можем заключить, что до Диона Кассия не дошли никакие истории, вредящие Цицерону как проконсулу. То, что я сказал об этом эпизоде жизни Цицерона, я подтвердил свидетельствами писателей, которые в целом не были благосклонны к его характеру. Тем не менее, у нас нет никаких свидетельств, кроме его собственных, о том, что Цицерон делал в Киликии.⁷³

Ни одному читателю писем Цицерона не приходило в голову усомниться в строке, где он прямо говорит о своем собственном поведении. Его письма часто использовались против него самого, но в другой манере. Считалось, что он дает правдивые показания против себя, но не ложные в свою пользу. Его собственные записи иногда воспринимались как означающие то, что они не означали, а иногда как подразумевающие гораздо больше, чем предполагал автор. Слово, требующее для своего разъяснения понимания юмора человека, было прочитано неправильно, или трепетное признание другу недостатка в цели момента было предположено как ссылка на постоянную слабость. Он пострадал не от того, что его собственные слова в отношении себя дискредитировали, а от того, что им слишком доверяли там, где они были неправильно поняты. Во всяком случае, факт, что его собственный рассказ о его проконсульских делах был принят полностью, и что нынешний читатель может быть поощрен верить тем выдержкам, которые я могу ему дать, тем фактом, что все другие читатели до него верили им.

Из своей виллы в Кумæ во время путешествия он писал Аттику в приподнятом настроении. К нему приходил Гортензий - его старый соперник, его старый предшественник в славе Форума - Гортензий, которого ему суждено было больше никогда не увидеть. Единственной его просьбой к Гортензию была просьба помочь ему позаботиться о том, чтобы он, Цицерон, не задерживался в своей провинции более одного года. Атик также должен помочь ему; с этой же целью был приглашен еще один друг, Фурний, который, возможно, будет трибуном на следующий год. В следующем письме из Беневента он упоминает о третьем браке для своей дочери Туллии, но, похоже, понимает, что, поскольку он покидает Италию, он не может сам вмешиваться в это дело. Он снова пишет из Венусии, сообщая, что намерен увидеться с Помпеем в Тарентуме перед отъездом, и дает Аттику особые указания относительно уплаты долга, который тот должен был выплатить Цезарю. Он занял у Цезаря деньги и очень хочет, чтобы долг был погашен. В другом письме из Тарентума он настаивает на том же вопросе. Он очень хочет, чтобы его освободили от этого обязательства.⁷⁴

Из Афин он снова написал своему другу письмо, которое примечательно прежде всего тем, что в нем рассказывается о ссоре между Марком Клавдием Марцеллом, который был одним из консулов этого года, и Цезарем, который все еще отсутствовал в Галлии. Этот Марцелл и другие члены его семьи, сменившие его на этом посту, были горячо настроены против Цезаря, принадлежа к той партии государства, к которой принадлежал Цицерон и в которую возвращался Помпей.⁷⁵ Похоже, консул хотел не только ранить, но и оскорбить Цезаря. Он попытался добиться от сената декрета об отзыве Цезаря, но добился лишь того, что его предложение было отложено для рассмотрения в следующем году, когда Цезарь, естественно, вернется. Но чтобы показать, как мало он уважал Сезара, он устроил в Риме

порку гражданина из одного из тех городов Цизальпинской Галлии, которым Сезар предполагал дать привилегию римского гражданства. Этот человек присутствовал в качестве делегата от своего города, Новокомума⁷⁶ - нынешнего Комо - в поддержку требований колонии, и консул приказал выпороть его, чтобы показать тем самым, что он не римлянин. За свою дерзость Марцелл был наказан изгнанием, наложенным Цезарем, когда Цезарь был могущественным. Вскоре мы узнаем, как Цицерон произнес орацию в его пользу; но в письме, написанном из Афин, он сильно обвиняет Марцелла в том, что тот подверг его порке.⁷⁷ "Борись за меня", - говорит он в этом письме, - "ибо если мое правление затянется, я потерплю поражение и стану ничтожным". Мысль об отсутствии в Риме для него непереносима. Из Афин он также написал своему молодому другу Целию, у которого он просил информации о том, что происходит в Риме. Но Сералию приходится заново объяснять характер предметов, которые следует считать интересными. "Что? Ты думаешь, что я просил тебя присылать мне истории о гладиаторах, судебных заседаниях и похищениях Христа - мусор, о котором никто и не подумал бы упомянуть, будь я в Риме?"⁷⁸ Но он не заканчивает свое письмо к Целию, не умоляя Целия оказать содействие в его скорейшем отзыве. Впоследствии Целий часто беспокоит его просьбами о киликийских пантерах, которые нужны для эдильских представлений. Во время путешествия Цицерон страдает морской болезнью, а затем достигает Эфеса в Малой Азии, датируя свое прибытие туда пятьсот шестидесятым днем от битвы при Бовилле, что показывает, насколько сильно его мысли все еще занимала борьба с Милоном.⁷⁹ Эфес не входил в его провинцию, но в Эфесе все магистраты вышли, чтобы оказать ему честь, как будто он прибыл к ним как их правитель. "Настало время, - говорит он, - оправдать все те заявления, которые я сделал в отношении своего поведения; но я верю, что смогу применить на практике уроки, которые я получил от тебя". Аттикус, в полном восхищении характером своего друга, несомненно, сказал многое, чтобы поощрить и вдохновить добродетель, которую намеревался использовать Цицерон. Мы не располагаем ни одним из слов, когда-либо написанных Аттиком Цицерону, но нам достаточно света, чтобы показать, что один из друзей остро чувствовал честь другого и высоко ценил ее красоту. "Не позволяй мне оставаться больше года, - восклицает он, - не позволяй прибавить еще один месяц".⁸⁰ Далее следует письмо от Целия с молитвой о пантерах.⁸¹ Проезжая через провинцию Азия в свою собственную провинцию, он сообщает, что народ везде принимает его хорошо. "Мой приезд, - говорит он, - не стоил никому ни шиллинга".⁸² К нему присоединились все его сотрудники, кроме одного Туллия, о котором он говорит как о друге Аттика, но впоследствии рассказывает, что тот пришел к нему от Титиния. Затем он снова приказывает Аттику, чтобы тот выплатил деньги Сезару. Из Тралл, все еще находящегося в провинции Азия, он пишет Аппию, уходящему правителю, письмо, полное любезностей и выражающее нетерпеливое желание встретиться. Ранее он предлагал Аппию отправиться любым удобным для него путем, но Аппий, как выяснилось впоследствии, стремился к чему угодно, только не к встрече с новым правителем в провинции, которую он покидал.⁸³

31 июля он достиг Лаодикии, в пределах своих владений, отправившись в путь 10 мая, и обнаружил, что все люди рады его видеть; но мелкие детали его должности удручают его. "Действия моего ума, которые вы так хорошо знаете, не могут найти себе достаточно места. Все работы, достойные моего труда, подошли к концу. Я должен председательствовать в Лаодикии, пока какой-нибудь Плотий выносит приговор в Риме. * И разве не сожалею я в каждый миг о жизни Рима - Форума, самого города, моего собственного дома? Разве я не сожалею о тебе? Я постараюсь выдержать это в течение года; но если это затянется, то со мной все будет кончено. * * * Вы спрашиваете, как у меня идут дела. Я трачу целое состояние на выполнение этого вашего грандиозного совета. Мне это очень нравится; но когда придет время платить вам долги, мне придется возобновить счет. * * * Заставить меня выполнять

такую работу - значит надеть седло на корову, - как бы это сказать, резать бритвой глыбу, - очевидно, я не создан для этого; но я потерплю, лишь бы это было на один год".⁸⁴

Из Лаодикии, города во Фригии, он отправился на запад, в Синнаду. Его провинция, известная как Киликия, включала в себя районы, названные на карте Малой Азии Фригией, Писидией, Памфилией, частью Каппадокии, Киликией и островом Кипр. Вскоре он обнаружил, что его предшественники разорили народ. "Знай, что я пришел в провинцию, полностью и навсегда разрушенную", - говорит он Аттику.⁸⁵ "Мы слышим только о налогах, которые невозможно заплатить, о проданном со всех сторон имуществе людей, о столах из городов, о причитаниях, об ужасах, которые мог бы произвести какой-нибудь дикий зверь, а не человек. Здесь нет места для сомнений. Каждый человек устал от своей жизни; и все же сейчас дается некоторое облегчение благодаря мне, моим офицерам и моим лейтенантам. Ни на кого не возлагаются расходы. Мы не берем даже сена, которое разрешено юлианским законом, и даже дров. Четыре кровати, на которых можно лежать, - вот все, что мы принимаем, и крыша над головой. Во многих местах даже этого нет, потому что мы живем в палатках. Поэтому к нам приходят огромные толпы людей, которые возвращаются к жизни благодаря справедливости и умеренности вашего Цицерона. Аппий, узнав о моем приезде, убежал в Тарс, самую дальнюю точку провинции". Какую картину мы имеем здесь о состоянии римской провинции при нормальном римском губернаторе и о том, какую пользу может принести человек, способный воздерживаться от грабежа! В следующем письме его гордость выражается так громко, что мы должны помнить, что этот человек, в конце концов, пишет только свои собственные тайные мысли своему близкому другу. "Если мне удастся быстро уйти от этого, то почести, которые мне принесет мое правосудие, будут тем более велики, как это случилось со Сцеволой, который был правителем в Азии всего девять месяцев".⁸⁶ Затем он снова рассказывает, как Аппий, узнав о приезде Цицерона, скрылся в самом дальнем уголке провинции - в Тарсе.

Он снова пишет Аппию, жалуясь. "Когда я сравниваю свое поведение с твоим, - говорит он, - я признаю, что мне гораздо больше нравится мое собственное".⁸⁷ Он приложил все усилия, чтобы встретиться с Аппием удобным для него образом, но был обманут со всех сторон. Аппий, что было необычно для римских наместников, осуществлял свою власть в отдаленных частях провинции, хотя и знал о прибытии своего преемника. Цицерон уверяет его, что ему это совершенно безразлично. Если Аппий избавит его от одного месяца труда из двенадцати, он будет рад. Но почему Аппий забрал три самые полные когорты, ведь во всей провинции осталось так мало солдат? Но он заверяет Аппия, что, когда тот отправится в путь, ни хороший, ни плохой не услышит от него дурного слова о своем предшественнике. "Что же касается тебя, то ты, похоже, дал бесчестным повод думать обо мне плохо". Затем он описывает точный курс, по которому собирается отправиться в дальнейший путь, предоставляя Аппию полную возможность избежать его.

Из Кибистры в Каппадокии он пишет официальные письма Каю Марцеллу, только что избранному консулом, отвару Марка, действующего консула; старшему Каю Марцеллу, который был их отцом, коллегой в коллегии авгуров, и Марку, действующему консулу, со своими поздравлениями, а также Эмилию Паулюсу, который также был избран консулом на следующий год. Кроме того, он пишет депеши консулам, преторам, трибунам и сенату с изложением дел в провинции. Они интересны скорее тем, что показывают, как все это делалось, чем своими подробностями. Когда он достигает Киликии, он пишет им еще одну депешу, сообщая, что парфяне перешли Евфрат. Он пишет так, как это мог бы сделать Веллингтон из Торрес-Ведраса. Он просит их позаботиться о безопасности своих восточных владений. И хотя они опоздали с этим, все же лучше сейчас, чем никогда.⁸⁸ "Вы знаете, -

говорит он, - с какой армией вы поддерживали меня здесь; и вы также знаете, что я взял на себя эту обязанность не по слепому безрассудству, а потому, что из уважения к Республике я не хотел отказываться. * Что касается наших союзников в провинции, то, поскольку наше правление здесь было столь суровым и пагубным, они либо слишком слабы, чтобы помочь нам, либо настолько озлоблены против нас, что мы не смеем им доверять".

Затем следует длинное письмо Аппию,⁸⁹ касающееся посольства, которое должно было быть отправлено из провинции в Рим, чтобы передать хвалу уходящему правителю и заявить о его превосходстве как проконсула! Это было вполне обычным делом! Чем хуже правитель, тем нужнее посольство; и такой ужас внушал отъезжающий римлянин, и такое раболепие союзников - даже тех, кто собирался от него бежать, - что эти посольства были само собой разумеющимися. Сицилийское посольство восхваляло Верреса. Аппий жаловался, будто Цицерон препятствует этому легату, ограничивая сумму, выделяемую на его расходы. Он упрекает Аппия в том, что тот выдвинул против него это обвинение.

Серия писем, написанных в этом году Целием Цицерону, очень интересна, поскольку дает нам образец продолжения переписки, отличной от цicerоновской. Среди восьмисот восьмидесяти пяти писем мы имеем десять или двенадцать от Брута, если те, что приписываются ему, действительно были им написаны; десять или двенадцать от Децима Брута и столько же от Планка; но они были написаны в волнующие моменты последней борьбы, и являются скорее официальными или военными, чем знакомыми. У нас есть несколько писем от Квинта, но они не представляют особого интереса, если только не считать письмом трактат об обязанностях кандидата. Но эти письма от Целия к его старшему другу подлинны и естественны, как и письма самого Цицерона. Их семнадцать. Они разбросаны по трем-четырем годам, но большинство из них относится к периоду провинциального правления Цицерона.

Меня удивляет то, что Целий должен был принять стиль, столь близкий к стилю своего учителя в литературе. Ученые, которые изучали эти слова, вероятно, могут сказать нам о недостатках языка; но легкий, графический тон, на мой взгляд, является цicerоновским. Тиро, который был рабом, секретарем, вольноотпущенником, а затем литературным душеприказчиком, возможно, имел дело с этими письмами и сделал что-то для создания их литературного совершенства. Выбранные темы не всегда были хороши и, должно быть, иногда вызвали у самого Цицерона повторение порицания, которое он однажды высказал по поводу гладиаторских представлений и отсрочек судебных заседаний; однако Целий сообщает много политических новостей из Рима. В одном из писем, написанном в октябре этого года, он сообщает о том, что постановил сенат по поводу отзыва Цезаря из Галлии, и приводит слова принятых постановлений с приписанными к ним именами сторонников, а также имена трибунов, которые пытались им противостоять.⁹⁰ О цели этих указов я уже говорил. Целью было отозвать Сезара, а следствием - отложить любой отзыв до тех пор, пока он ничего не будет значить; но Целий специально заявляет, что намерение отозвать Сезара было угодно Помпею, из чего можно заключить, что договор триумvirата уже подошел к концу. В другом письме он говорит о приходе парфян и о том, что Цицерон не может сражаться с ними из-за недостаточного количества вверенных ему солдат. Если бы у него была настоящая римская армия, то, по его словам, Целий боялся бы за жизнь своего друга. А так он боится только за свою репутацию, чтобы люди не говорили о нем плохо, что он не сражается, хотя сражаться было не в его силах.⁹¹ Язык здесь настолько красив, что я склонен думать, что Тиро, должно быть, приложил к этому руку. В Риме, как мы должны помнить, новости о Крассе были еще неопределенными. Однако мы не можем сомневаться, что Целий действительно был привязан к Цицерону.

Но Цицерон был вынужден воевать, причем не по своей воле - не с парфянами, а с племенами, которые восставали против римской власти из-за успехов парфян. "Все вышло так, как ты и хотел", - говорит он Целию, - "работа, достаточная для того, чтобы я получил небольшую лавровую корону". Услышав, что в горном массиве Тавр, отделявшем его провинцию от Сирии, где правителем был Бибул, восстали люди, он отправился с войском, которое смог собрать, к Аманусу, горе, принадлежащей к этому массиву, и сейчас писал из своего лагеря в Пиндениссуме, местечке за пределами своей провинции. Подшучивая над собственной воинственностью, он рассказывает Целию, что поразили окружающих своей доблестью. "Это тот, кого мы знали в городе? Это наш болтливый сенатор? Вы можете понять, о чем они говорили.⁹² * * * Когда я добрался до Амана, то с радостью обнаружил, что наш друг Кассий отбил у Антиоха настоящих парфян". Но Цицерон утверждает, что совершил несколько галантных поступков: "Я преследовал тех людей из Амана, которые постоянно беспокоят нас. Многих я убил, некоторых взял в плен, остальные рассеялись. Я внезапно напал на их крепости и овладел ими. На реке Иссус меня называли "императором"". Вряд ли нужно еще раз объяснять, что этот титул не принадлежал ни одному полководцу, пока не был присвоен ему его собственными солдатами на поле боя.⁹³ Он напоминает Целию, что именно на Иссе Александр победил Дария. Тогда он расположился перед Пиндениссумом со всей техникой осады - башнями, крытыми ходами и валами. Он еще не совсем взял город. Когда он это сделает, то отправит домой официальный отчет обо всем; но парфяне еще могут прийти, и тогда может возникнуть опасность. "Поэтому, о мой Руф, - это был Целий Руф, - проследи, чтобы меня не оставляли здесь, чтобы, как ты думаешь, со мной не случилось беды". Во всем этом есть неповторимая по своей реалистичности смесь искренности и шутливости, хвастовства и смеха над тем, что он делал. Следующее письмо он пишет другому своему молодому другу, Курию, которого только что избрали трибуном. Он дает много советов Курию, который, безусловно, всегда в них нуждался.⁹⁴ Он продолжает шутить, сообщая Аттикусу, что "жители Пиндениссума сдались". "Кто такие эти пиндениссцы? скажете вы. Я даже не слышал раньше этого названия. Что вы хотите? Я не могу сделать из Киликии Итолию. С такой армией, как эта, ты ожидаешь, что я буду действовать, как Македонский?⁹⁵ * Я разбил свой лагерь на Иссе, где стоял Александр - несомненно, лучший солдат, чем ты или я. Я действительно сделал себе имя в Сирии". И тут появляется Бибул, решивший быть таким же хорошим, как я; но он теряет всю свою когорту". Неудача, постигшая Бибула в военном деле, для него не менее значима, чем его собственный успех. Тогда он возвращается в Лаодикею, оставляя армию на зимних стоянках под командованием своего брата Квинта.

Но его сердце действительно занято другими делами, и в том же письме он раздражается восторженными похвалами в адрес той линии поведения, которую наметил для него Атик: "Но больше всего я хочу жить так, чтобы даже этот Катон не мог найти во мне недостатков. Пусть я умру, если это можно сделать лучше. Я не принимаю похвалы за это, как будто я делаю что-то неприятное; я никогда не был так счастлив, как при проявлении этой умеренности. Сама вещь для меня лучше, чем репутация о ней. Что бы вы хотели, чтобы я сказал? Мне стоило того, чтобы получить возможность испытать себя, чтобы узнать, на что я способен".

Затем следует длинное письмо к Катону, в котором он повторяет историю своих грандиозных дел в Пиндениссуме. Читатель убедится, что письмо к Катону не может быть искренним и приятным, как письма к Атику и Целию. "Если и есть человек, далекий от пошлой любви к похвалам, то это я", - говорит он Катону.⁹⁶ Он говорит Катону, что они оба во всем похожи. Только им двоим удалось перенести истинную античную философию в практику Форума.

Никогда, конечно, не было двух более непохожих людей, чем твердолобый Катон и разносторонний Цицерон.

50 г. до н. э., ætat. 57.

Луций Эмилий Паулл и К. Хлодий Марцелл были консулами на следующий год. Цицерон пишет им обоим с дружескими пожеланиями; но от обоих он просит позаботиться о том, чтобы сенат принял постановление, восхваляющее его дела в Киликии.⁹⁷ У нас тоже вернувшийся губернатор очень хочет получить доброе слово от премьер-министра, но он не просит об этом так открыто. Следующее письмо от Целия сообщает ему, что Аппия обвиняют в злоупотреблениях в его правлении и что Помпей поддерживает Аппия. Курио перешел на сторону Сезара. Но важная тема затронута последней: "С твоей стороны будет подлостью, если у меня не будет греческих пантер".⁹⁸ Далее речь идет о браках и разводах некоторых дам, а заканчивается анекдот рассказом о джентльмене с таким недобрым остроумием, какое часто встречается в Лондоне. Никто не мог бы заподозрить Оцелла в том, что он ухаживает за женой своего соседа, если бы не был трижды уличен в этом.⁹⁹

Из Лаодикеи он отвечает на жалобное письмо своего предшественника, в котором тот жалуется, в частности, на то, что Цицерон не проявил к нему личного уважения. Он доказывает, что тот этого не делал, а затем возвышает свой голос. "Неужели ты думаешь, что твои великие старые имена повлияют на меня, который еще до того, как я стал великим на службе своей стране, умел различать титулы и людей, которые их носили?"¹⁰⁰

Следующее письмо Аппию полно лести и просьб об одолжениях, но начинается оно с резкого упрека. "Наконец-то я получил послание, достойное Аппия Клавдия. Вид Рима вернул тебе хорошее настроение. Те, что я получил от тебя во время твоего путешествия, были таковы, что я не мог читать их без досады".¹⁰¹

В феврале Цицерон написал Аттику письмо, которое, как мне кажется, более выразительно характеризует ум этого человека, чем любое другое, дошедшее до нас от него. В нем начинается рассказ о Бруте - Бруте, которого мы все так хорошо знаем, - и о некоем Скаптии, о котором никто бы не услышал, если бы не эта история, которая, поскольку она глубоко затрагивает характер Цицерона, должна занять страницу или две в нашем повествовании; но я должен сначала обратиться к его собственному рассказу о своем правительстве, который снова приводится здесь. Ничто не было так удивительно для жителей провинции, как то, что они не понесли ни одного шиллинга расходов с тех пор, как он вошел в нее. Ни от своего имени, ни от имени Республики никто из его приближенных не взял ни пенни, за исключением одного дня, проведенного неким Туллием, да и то под прикрытием закона. Этот грязный тип был приверженцем Титиния. Когда он проезжал из Тарса обратно в центр своей провинции, к нему выходили толпы народа, не понимая, как случилось, что к ним не было послано писем с требованием денег и что никто из его подчиненных не был приставлен к ним. В прежние годы в зимние месяцы они стонали от поборов. Муниципалитеты, имевшие в своем распоряжении деньги, платили большие суммы, чтобы спастись от размещения на них солдат. Остров Кипр, который в прошлом был вынужден заплатить почти 50 000 фунтов стерлингов,¹⁰² не получил от него ничего. Он отказался от каких-либо почестей, оказанных ему в ответ на такое поведение. Он запретил воздвигать статуи, святыни и бронзовые колесницы в его честь - комплименты римским генералам, которые стали обычным делом. Урожай в тот год был плохим, но люди настолько уверились в его честном поведении, что те, кто копил зерно - регратеры - свободно приносили его на рынок к его приходу. Присутствие таких правителей, как Аппий и его предшественники, среди робкого, но трудолюбивого

народа, каким были эти азиатские греки, должно было быть как бич из ада. Как неведомое, неожиданное благословение, прямо с небес, должно было быть пришествие Цицерона.

Теперь я расскажу историю о Бруте и Скаптии и их деньгах - с оговоркой, что она была рассказана мистером Форсайтом с большой точностью и изумительной справедливостью. Действительно, в книге мистера Форсайта нет ни строчки, которая не была бы пронизана духом справедливости. Он, считая, что Цицерон был слишком высоко оценен Миддлтоном и слишком сурово обошелся с последующими критиками, очевидно, написал свою книгу с целью исправить эти преувеличения. Но в своих комментариях по этому вопросу о Бруте и Скаптии он, как мне кажется, не учитывает разницу в том стандарте чести и честности, которым руководствуется сам, и в том, который преобладал во времена Цицерона. Не понимая, как мне кажется, насколько невозможно было римскому правителю достичь той беспристрастности правосудия, которой долгий курс удачного обучения наделил английского судью, он обвиняет Цицерона в том, что тот "мелочился со справедливостью". Для меня удивительно, что один человек, такой как Цицерон, - человек, единственный в своей цели, - смог поднять свои собственные представления о справедливости так высоко над уровнем, преобладающим у лучших из тех, кто его окружал. Римскому аристократу было свойственно грабить союзника до тех пор, пока от него не останется лишь кожа да кости. Цицерон полностью возвысился над этой природой. В своем поведении он был полностью свободен от пятен. Возникал вопрос, насколько далеко он мог осмелиться зайти, оскорбляя инстинкты, привычки, природу других благородных римлян, защищая от их хищничества бедных подданных, которые временно находились под его властью. Судье легко оставаться равнодушным между великим человеком и малым, когда чувства окружающих говорят в пользу такого беспристрастия; но, должно быть, было достаточно трудно сделать это, когда такое поведение казалось самым благородным римлянам того времени чудовищным, фанатичным и претенциозным.

В данном случае Брут, наш старый друг, которым все английские читатели так восхищаются, потому что он осмелился сказать своему шуруну Кассию, что тот

"Многое обречено на то, чтобы у него чесалась ладонь".

предстает перед нами в образе ростовщика. В истории ростовщичества трудно найти подробные сведения о более хватком и прижимистом ростовщике. Его практика была из тех, которые мы, возможно, привыкли слышать с язвительным негодованием от наших справедливых судей. Однако Брут считался одним из самых благородных римлян того времени, уступая лишь Катону в добродетели и философии. В этом ремесле ростовщичества римский аристократ не нашел более прибыльного дела, чем торговля с муниципалитетами союзников. Города были населены денежной, торговой расой, но они подвергались жестоким поборам со стороны своих правителей. В этих условиях они были вынуждены постоянно занимать деньги и находили капиталистов, которые их предоставляли, среди тех, кто их преследовал и грабил. Брут давал в долг деньги, которые требовал Аппий, и не гнушался делать это под сорок восемь процентов, хотя по закону разрешалось брать двенадцать процентов годовых или один процент в месяц.

Но такой знатный римлянин, как Брут, не вел дела такого рода исключительно от своего имени. Брут вел дела с муниципалитетом Саламиса на острове Кипр, и у него было два агента по имени Скаптий и Матиний, которых он специально рекомендовал Цицерону как кредиторов города Саламис, прося Цицерона, как правителя провинции, помочь этим людям добиться выплаты их долгов.¹⁰³ Это было вполне обычным делом, но только на поздней стадии сделки Цицерон понял, что человек, который действительно искал его деньги, был

тем самым знатным римлянином, который дал рекомендацию. В письме Цицерона говорится, что к нему пришел Скаптий и пообещал, что ради Брута позаботится о том, чтобы жители Саламины заплатили свой долг. ¹⁰⁴Скаптий поблагодарил его и попросил предоставить ему должность в Саламине, которая дала бы ему право заставить платить силой. Цицерон отказал, объяснив это тем, что он решил не давать таких должностей в своей провинции лицам, занимающимся торговлей. Он уже отказывал в подобных просьбах - даже Помпею и Торквату. Аппий дал тому же человеку военное командование в Саламине - несомненно, по просьбе Брута, - и жители Саламина подверглись жестокому преследованию. Цицерон узнал об этом и отозвал человека с Кипра. Скаптий горько жаловался на это, и наконец он вместе с делегатами из Саламины, готовыми выплатить долг, если только они смогут сделать это без слишком больших поборов, отправился к Цицерону, который находился тогда в Тарсе, в самой отдаленной части своей провинции. Здесь его призвали вынести решение по этому делу: Скаптий полагался на влияние, которое Брут, естественно, имел на своего друга наместника, а саламинцы - на репутацию справедливости, которую Цицерон уже создал себе в Киликии. Читатель также должен понять, что Атик просил Цицерона обязать Брута, который был особым другом Атика. Он также должен помнить, что это повествование Цицерон направил Атику, который со слезами на глазах увещевал своего корреспондента быть верным своей чести в управлении своей провинцией. ¹⁰⁵ Он обращается от Атика к Атику. Я обязан тебе помочь, но как я могу это сделать вопреки твоим собственным урокам? Таков его аргумент, обращенный к Атику.

Затем возникает вопрос о сумме долга. Основная сумма не оспаривается, но проценты. Очевидно, что деньги были даны в долг при понимании того, что на них должно начисляться четыре процента в месяц, или сорок восемь процентов годовых. Но был принят закон, согласно которому более высокие проценты, чем один процент в месяц или двенадцать процентов годовых, не могут быть законными. Однако в отношении этих самых саламинцев был принят встречный декрет, сделанный, очевидно, по наущению Брута, в котором говорилось, что любой договор с ними остается в силе, несмотря на закон. Но Цицерон снова издал указ о том, что в своей провинции он не разрешит взимать поборы выше двенадцати процентов. Точное условие законного требования мне менее понятно, чем мистеру Форсайту, который имеет преимущество быть юристом. Как бы то ни было, Цицерон решает, что двенадцать процентов должны быть взысканы, и приказывает саламинцам выплатить эту сумму. На его требование они возражают, но в конце концов соглашаются подчиниться, утверждая, что сделать это им позволяет терпение самого Цицерона, который отказался принять подарки, предложенные ему с острова. ¹⁰⁶ Поэтому они заплатят эти деньги в некотором роде, как они говорят, из собственного кармана правителя.

Но когда сумма определена, Скаптий, обнаружив, что не может получить ее сверх положенного по какому-то своему мошенническому плану, отказывается ее получать. Если при содействии дружественного наместника он не может добиться большего для себя и своего работодателя, значит, дела у римских аристократов идут неважно. Но делегаты очень хотят получить эти деньги и предлагают внести их на депозит. Скаптий просит, чтобы дело не заходило дальше, несомненно, полагая, что в будущем он сможет заключить более выгодную сделку с каким-нибудь менее жестким правителем. Делегаты просят разрешить им поместить уплаченные деньги в какой-нибудь храм, тем самым они снимут с себя всякую ответственность; но Цицерон просит их воздержаться. "Impetravi ab Salaminis ut silerent", - говорит он. "Я буду огорчен, самом деле, тем, что Брут должен сердиться на меня", - пишет он; "но гораздо больше я буду огорчен тем, что Брут оказался таким, каким я его нашел".

Далее следует отрывок из его письма, на основании которого мистер Форсайт осудил Цицерона, не без абстрактной правды в своем осуждении: "Они, правда, согласились, - то есть саламинцы, - но что с ними будет, если сюда придет такой правитель, как Паулюс? И все это я сделал ради Брута!" Эмилий Паулюс был консулом и, вероятно, мог получить Киликию в качестве провинции и, без сомнения, безропотно отдал бы саламинцев Бруту и его мирмидонам. По всей строгости, с той уверенностью в силе закона, с помощью которой наши судьи могут убедиться, что их справедливые решения будут исполнены без ущерба для них самих, Цицерон должен был заставить делегатов из Саламины немедленно внести свои деньги в храм. Вместо этого он лишь объявил причитающуюся сумму в соответствии со своим представлением о справедливости - вопреки всем римлянам, даже Аттику, - а затем согласился оставить дело на потом. Разве мы не знаем, как невозможно человеку строго придерживаться права, когда это право настолько опережает все вокруг, что в глазах других людей, кроме его собственных, оно кажется натянутым, непрактичным, фантастическим и почти бесчеловечным? Бруту очень нужны были его деньги, и Брут становился большой политической силой на одной стороне с Помпеем, Катонам и другими "оптиматами". Даже Аттикус вмешивался в дела Брута. Какой еще римский правитель, о котором мы слышали, задал бы вопрос на эту тему? Аппий предоставил этому Скаптию конную гвардию, с которой тот возмутил всю гуманность на Кипре, запер советников города до тех пор, пока они не придут к повиновению, и при этом уморил пятерых из них голодом! Ничего из этого не вышло - так поступали римляне в своих провинциях. И все же Цицерон, пришедший к этим несчастным, как неслыханное благословение с небес, подвергается презрению за то, что "пренебрег справедливостью"! Справедливость у нас легко бежит на четвереньках. Аппию в Киликии оно было совершенно неведомо. Что же нам сказать о человеке, который благодаря силе своей совести и блеску интеллекта смог так далеко выйти из мрака своей эпохи и так близко подойти к свету нашей!

Давайте на мгновение вспомним нашего Фрэнсиса Бэкона, человека, более похожего на Цицерона, чем любой другой, которого я могу вспомнить в истории. Оба они были великими юристами, оба государственными деятелями, оба - людьми, обладавшими *omne scibile* и приближавшимися к ней ближе, чем, возможно, любой другой, кого мы можем назвать; оба - патриотами, верными своей идее правления, каждый из них поднялся от малоизвестного положения к большой власти, богатству и чину; каждый из них в силу своего воспитания и своей природы был склонен к компромиссу, близко знал человеческую природу, не был слишком щепетилен ни в отношении других, ни в отношении себя. Они были людьми, интеллектуально возвышавшимися над окружающими их людьми, на такой высоте, о которой ни один из них и сам не подозревал. К лести, к восхищению, к дружбе и к любви каждый из них был особенно восприимчив. Но один не заметил, что в силу своего величия ему следовало бы воздержаться от того, за что хватаются меньшие; другой же с самого начала поклялся себе, что воздержится, и сдержал клятву, которой поклялся. Я из тех, кто охотно простил бы Бэкону то, что, по моему мнению, делали другие вокруг него; но если я найду человека, который никогда не грабил, хотя все вокруг него грабили, в чьем сердце "*aurei sacra fames*" была абсолютно утолена, в то время как люди, с которыми ему приходилось жить, болели и умирали от неестественной жажды, - тогда я, кажется, узнаю героя.

Другая жалоба на Цицерона касается Ариобарзанеса, царя Каппадокии, и основана она, как и все жалобы на Цицерона, на том, что Цицерон сам рассказал эту историю. Почему в этом вопросе возникли претензии, я так и не смог выяснить. Ариобарзанес был одним из тех восточных царей, которые стали дойными коровами для римских вельмож и которые,

пытаясь удовлетворить римских вельмож, могли лишь обманывать своих подданных. Возможности этого царя по сбору денег, по-видимому, ограничивались примерно 8000 фунтов стерлингов в месяц.¹⁰⁷ Из этой суммы он предложил часть Цицерону как проконсулу, который был непосредственно над ним. Цицерон отказался, но заставил царя выплатить деньги вымогателю Бруту, который был кредитором и пытался получить эти деньги через Цицерона. Но Помпей тоже был кредитором, а имя Помпея было для царя более страшным, чем имя Брута. Поэтому Помпей получил все, хотя нам говорят, что этого было недостаточно, чтобы выплатить ему проценты; но Помпей, получив все, был милостиво удовлетворен: "Spæus noster clementer id fert." "Наш Цицерон смирился с этим и не задавал вопросов о капитале", - иронизирует Цицерон. Помпей был слишком мудр, чтобы убить гусыню, несущую такие золотые яйца". Тем не менее, нам говорят, что в данном случае Цицерон злоупотребил своей проконсульской властью в пользу Брута. Цицерон ничего не добился для Брута, но, когда некая сумма награбленного должна была быть разделена между римлянами, отказался от своей доли. Помпей получил все, но не с помощью Цицерона.

Есть еще одно длинное письмо, в котором Цицерон снова, уже в третий раз, рассказывает историю Брута и Скаптия.¹⁰⁸ Я упоминаю о нем, поскольку он продолжает описывать свой собственный способ выполнения работы. С февраля по май он находился в Лаодикии, решая вопросы, которые поступали к нему из всех частей его провинции, кроме собственно Киликии. Городам, погрязшим в долгах, он дал возможность освободиться и жить по своим законам. При этом он ничего не взял с них на свои расходы - ни фартинга. Удивительно видеть, как муниципалитеты ожили после такого лечения". "Благодаря этому он получил возможность осуществлять правосудие без препятствий и строгости. К нему допускались все - обычай, который был неизвестен в провинциях. Не было никакого влияния с черного хода. Он открыто ходил по своим дворам, как раньше, когда был кандидатом на родине. Все это было благодарно народу и пользовалось большим уважением; не было это и слишком трудоемким для него самого, поскольку он научился этому в своей прежней жизни". Так Цицерон управлял Киликией.

Есть и другие письма к Аппию и Целию, написанные из разных частей провинции, которые не могут не вызывать у нас недовольства, поскольку мы чувствуем, что Цицерон пытается добиться расположения. Он хочет быть в хороших отношениях с теми, кто в противном случае может ополчиться против него при его повторном появлении в Риме. Он боится, чтобы Аппий не стал его врагом, а Помпей не стал его другом. Он знал, что практика справедливости и добродетели будет иметь в Риме гораздо меньший эффект, чем дружба и вражда таких людей. Но Аттикус разразился искренней страстью против Брута. Брут рекомендовал ему некоего Гавия, которого, чтобы обязать Брута, он назначил на какую-то должность. Гавий был жаден и нагл, когда его жадность не удовлетворяли. "Ты назначил меня префектом, - сказал Гавий, - а куда мне девать свой паек?" Цицерон говорит ему, что, поскольку он не сделал никакой работы, он не получит никакого жалованья, после чего Гавий, совершенно непривычный к такому обращению, уходит в раздражении. "Если Брут может быть возбужден гневом такого ничтожества, как этот, - говорит он Аттику, - то ты можешь любить его, если хочешь, сам; ты не найдешь во мне соперника за его дружбу".¹⁰⁹ Брут, однако, стал любимцем Цицерона, потому что посвятил себя литературе. Судя об этих двух людях, мы не должны слишком сильно опираться на Брута, ведь он поступал не хуже своих соседей. Но как же тогда судить о Цицероне?

В последние месяцы его правления начались новые неприятности, в которых трудно ему сочувствовать, потому что мы не в состоянии вызвать в своем сознании оценку римлянином римских вещей. Он искренне смеялся над своими военными делами в Пиндениссуме, но не

меньше этого ему хотелось насладиться славой триумфа, чтобы его провезли по городу на колеснице, с военными трофеями вокруг него, как с незапамятных времен таскали римских завоевателей, когда они возвращались после своих побед.

Для старых варварских завоевателей это было в порядке вещей. Демонстрация доспехов - шлемов, щитов и мечей - толпы колесниц, труб и рабов, жертвы, приготовленные для Тарпейского камня, трофеи и грабежи, добытые в битве, самоутверждающаяся слава героя, гордость от пролитой крови и хвастовство павшими городами - все это было в порядке вещей для людей, которые в глубине души не задумывались ни о чем большем, чем военная слава. Мы сочувствуем Камиллу или Сципиону, обагренному кровью врагов Рима. Марий, Помпей, а через несколько лет и Цезарь, их места, когда их тащили по Via Sacra к Капитолию под восторженные возгласы города в честь их ратных достижений; но с Цицероном так быть не могло. "Concedat laurea linguæ" было девизом всей его жизни. "Пусть готовый язык и плодovitый мозг будут в большем почете, чем сильная правая рука". Это была доктрина, которую он успешно применял на практике. Ему было дано знать, что адвокатская мантия - одежда, более достойная мужчины, чем солдатский нагрудник. Как же он мог просить о такой малости, как триумф, в награду за столь незначительный поступок, как тот, что был совершен в Пиндениссуме? Но так было со всеми проконсулами, которых в последние годы посылали из Рима в провинции. Люди, к чьему провинциальному правительству было прикреплено несколько когорт, стремились к тому, чтобы после шуточных сражений их солдаты называли их "императором", и думали, что, поскольку другие сопровождали свои мнимые победы мнимыми триумфами, им должно быть дано сделать то же самое. Если бы Бибул одержал победу, для Цицерона было бы позором не одержать триумф. Мы оцениваем ожидаемую награду не по собственным заслугам, а по тому, какие блага достались другим. Вернуться из Пиндениссума и не удостоиться славы труб было бы позором, в соответствии с господствовавшей тогда в Риме теорией по таким вопросам; поэтому Цицерон потребовал триумфа.

По обычаю, в таких случаях полководец должен был немедленно прислать отчет о своих победных делах, потребовать "прошения", а триумф должен был быть присужден ему или нет после его возвращения домой. Прощение было по форме благодарностью богам за великую милость, оказанную ими государству, но на деле принимало облик публичной похвалы, воздаваемой человеку, чьими руками было совершено добро. Обычно это была награда за военные успехи, но в случае с Катилиной Цицерону было уготовано прощение за спасение города, хотя оказанная услуга носила гражданский характер. Теперь Цицерон подал прошение и получил его. Катон воспротивился этому и написал Цицерону письмо, в котором объяснил свои мотивы, руководствуясь высокими республиканскими принципами. Цицерон, возможно, перенес бы это легче, если бы Катон не проголосовал за супинацию в честь Бибула, чьи военные достижения, как считал Цицерон, были меньше, чем его собственные. Один из Гирров также выступил против, но промолчал, намереваясь заявить, что число убитых Цицероном в его сражениях недостаточно, чтобы оправдать прошение. Мы узнаем, что, согласно строгому правилу, на поле боя следовало оставить две тысячи убитых. Жертв Цицерона, вероятно, было гораздо меньше; тем не менее прошение было удовлетворено, и Цицерон полагал, что триумф последует как само собой разумеющееся. Но, увы, появились серьезные причины, помешавшие триумфу!

Обо всем, что происходило в Риме, Целий продолжал присылать Цицерону отчеты. Триумvirату пришел конец. Целий говорит, что Помпей не будет открыто нападать на Цезаря, но сделает все возможное, чтобы не допустить избрания Цезаря консулом до того, как он откажется от своей провинции и армии. ¹¹⁰ За подробностями Целий отсылает его к

"Комментариям" - слово, которое в этом отрывке переведено как "газета" - Мельмота. Я думаю, что эта идея не имеет под собой никаких оснований, и что комментарии были просто компиляцией Целия, как и те комментарии, которые мы так хорошо знаем, были компиляцией Цезаря. Acta Diurna публиковались в официальном порядке и составляли официальный бюллетень. Они, несомненно, доходили до Цицерона, но по своему характеру сильно отличались от тех частных записей, которые он получал от своего друга.

В двух письмах¹¹¹ к Аттику, написанных примерно в это время, есть отрывки на греческом языке, которые касаются вопроса, из-за которого, вероятно, возникла его ссора с женой и ее развод. Он не делает прямых намеков на свою жену, а только на ее вольноотпущенника Филотома. Когда Мило был осужден, его имущество было конфисковано и продано в качестве части его наказания. Предполагается, что Филотомус был покупателем и нажился на этой сделке, воспользовавшись своим положением, чтобы заключить дешевые сделки, чего не должен был делать никто из тех, кто был связан с Цицероном, который был другом Милона. Причина ссоры Цицерона с женой доподлинно неизвестна, но предполагается, что она возникла из-за ее лояльности к нему в отношении денег. Возможно, она использовала этого вольноотпущенника, чтобы набить свои карманы за счет характера своего мужа.

b.c. 50, ætat. 57.

В своих собственных письмах он рассказывает о приготовлениях к возвращению и упоминает о своем ожидаемом триумфе. Он благодарит Целия за то, что было сделано в отношении прощения, и выражает уверенность, что все остальное последует за ним.¹¹² Он настолько решительно настроен поспешить с отъездом, что не будет ждать назначения преемника и решит отдать власть в руки любого из своих офицеров, который окажется наименее непригодным для этого. Его брат Квинт был его лейтенантом, но если бы он оставил Квинта, люди сказали бы о нем, что таким образом он все еще сохраняет вознаграждение в своих руках. В конце концов он решает поручить его молодому квестору по имени К. Целий - не близкому родственнику своего друга Целия, так как Цицерон вынужден извиняться за этот выбор перед своим другом. "Молодой, скажете вы. Несомненно; но он был избран квестором и имеет знатное происхождение".¹¹³ Поэтому он отдает провинцию молодому человеку, не найдя никого другого подходящего.

Цицерон рассказывает, что впоследствии, когда он был в Афинах по дороге домой, у него были большие проблемы с его собственными людьми из-за удержания некоторой добычи, которую они считали своей привилегией. Он много хвастался их поведением, не обращая внимания на некоего Туллия, который требовал лишь немного сена и немного дров. Но теперь ему предстояло выбрать из собственных проконсульских расходов то, с чем в последний момент было слишком тяжело расстаться. "Как трудна добродетель, - восклицает он, - и как вдвойне трудно притворяться, что поступаешь в соответствии с ней, когда ее не чувствуешь!"¹¹⁴ Была накоплена некоторая сумма, которую он с гордостью думал вернуть в казну. Но спутники были во всеоружии: "Ingemuit nostra cohors". Тем не менее, он пренебрег "когортой" и внес деньги в казну.

Относительно сэкономленной таким образом суммы возник спор, породивший забавнейшие литературные остроты. Тщательность прочтения MSS позволяет нам предположить, что речь идет о десятистах тысячах сестерций - так выражается "H.S.X." - что составляет более 8000 фунтов стерлингов. В другом месте мы слышим, как будет упомянуто еще раз, что Цицерон извлек из своего законного содержания в Киликии прибыль в размере около £ 18 000; и мы можем представить, что "когорта" должна считать себя оскорбленной, потеряв £ 8000, которые, как они ожидали, будут разделены между ними. Миддлтон допустил ошибку,

приняв Х за Сlо или М - тысячу вместо десяти - и приводит сумму сэкономленных средств как равную восьмистам тысячам, а не восьми тысячам фунтов. Мы, для которых так много сделали предшествующие исследования и которые не имеют права на те оправдания ошибок, которые могут быть справедливо выдвинуты от имени Миддлтона, не должны спешить обвинять его в случайной ошибке, видя, как он облегчил наши труды бесконечным трудом со своей стороны; но Де Квинси, который был очень яростен против Цицерона, поднялся до ярости в своем обличении великого биографа Цицерона. "Кониерс Миддлтон", - говорит он, - "это имя, которое нельзя упоминать без выражения отвращения". Причиной этого было то, что Миддлтон, бенефициар Англиканской церкви и человек из Кембриджа, отличался от других кембриджских священнослужителей по спорным вопросам и церковным проблемам. Бентли был его главным противником, и как Бентли был стойким бойцом, так и Миддлтон. В целом Миддлтону досталось больше, поскольку Бентли был более сильным бойцом; но, похоже, он всю жизнь пользовался хорошей репутацией, а в преклонном возрасте был назначен профессором естественной истории. Однако нам он известен только как биограф Цицерона. Об этой книге Монк, биограф великого оппонента Миддлтона, Бентли, заявляет, что "по элегантности, чистоте и легкости стиль Миддлтона не уступает ни одному английскому языку". Де Квинси говорит о нем, что, "вычистив из него все разговорное, вы лишите его всего характерного" - имея в виду, я полагаю, что работа в целом лишена достоинства композиции. Это обвинение, на мой взгляд, настолько абсолютно противоречит фактам, что его достаточно назвать, чтобы опровергнуть мнение всех, кто читал произведение. Де Квинси набрасывается на вышеупомянутую ошибку с глубочайшим удовлетворением и рассказывает нам маленькую приятную историю о старушке, которая считала, что в Кернарвоне когда-то было собрано четыре миллиона человек. Миддлтон обнаружил, что цифра неверно расшифрована и неверно скопирована для него, и перевел ее так, как нашел, без особых раздумий. Де Квинси считает, что эта ошибка достаточна для того, чтобы отбросить всякую веру в книгу: "Именно в свете свидетельства против здравого смысла и вдумчивости Миддлтона я считаю ее капиталом". Такова оценка де Квинси Миддлтона как биографа. Я же считаю его тружеником, который не жалел себя, которому природа позволила с энтузиазмом погрузиться в свой предмет, который знал свое дело как английский писатель и который, благодаря сочетанию эрудиции, ума и трудолюбия, оставил нам одну из тех книг, о которых можно сказать, что ни одна английская библиотека не должна быть без нее.

Последнее письмо, написанное Цицероном в Азии, было отправлено Аттику из Эфеса за день до его отъезда - в последний день сентября. Он задержался из-за ветров и отсутствия судов, достаточно больших, чтобы перевезти его и его свиту. Тут до него дошли новости из Рима - новости, которые не были правдивыми в деталях, но достаточно правдивыми по своему духу. В письме к Аттику он говорит о "страшных сообщениях о бесчинствах Сезара"¹¹⁵; о том, что он ни в коем случае не собирается распускать свою армию; что с ним находятся избранные преторы, один из трибунов и даже один из консулов; и что Помпей решил покинуть город. Таковы первые известия, предвещающие Фарсалию. Затем он добавляет несколько слов о своем триумфе. "Скажи мне, что ты думаешь об этом триумфе, которого хотят добиться мои друзья. Мне не было бы до этого дела, если бы Бибул тоже не просил триумфа - Бибул, который не ступал за порог своего дома, пока в Сирии был враг!" Так Цицерону пришлось испытать невыразимые страдания из-за того, что Бибул просил триумфа!

Глава V.

ВОЙНА МЕЖДУ ЦЕЗАРЕМ И ПОМПЕЕМ.

Какие официальные меры принимались для проконсулов в отношении денег, когда они командовали провинцией, мы не знаем. Выдаваемые суммы, несомненно, были великолепны, но не на них римский правитель смотрел как на источник того состояния, которое он рассчитывал скопить. Средства для грабежа были безграничны, но грабеж всегда был сопряжен с опасностью обвинения. Мы помним, как Веррес рассчитал, что сможет разделить свою добычу на три достаточные части: одну для адвокатов, одну для судей, чтобы гарантировать свое оправдание, а затем одну для себя. Эти грабежи были обычным делом - настолько обычным, что стали почти само собой разумеющимися; но они были незаконными и привели к тому, что некоторые несчастные преступники были изгнаны и лишились части того, что они взяли. Против Цицерона не было выдвинуто никаких обвинений. В адрес других постоянно поступали угрозы, если не больше, чем угрозы. Цицерону даже не угрожали. Но он сэкономил на своих законных расходах сумму, равную 18 000 фунтов стерлингов наших денег, из чего мы можем узнать, насколько знатными были доходы римского правителя. Через его руки проходили расходы всего его штаба, а также многие из расходов его армии. Поэтому любая экономия приносила ему личную выгоду. На эти деньги он очень рассчитывал, когда его дела были в затруднительном положении, так как в следующем году он собирался присоединиться к Помпею в Фарсалии. Тогда он попросил Аттика уладить за него дела, сказав ему, что сумма находится по его требованию в Азии, [116](#), но больше он ее не видел: Помпей одолжил ее или взял; а когда Помпея убили, деньги, разумеется, пропали.

Его брат Квинт был с ним в Киликии, но о делах брата там он почти ничего не говорит. У нас нет писем от него к жене или дочери. Последняя вышла замуж за своего третьего мужа, Долабеллу, во время его отсутствия, без возражений со стороны Цицерона, но не в соответствии с его советами. Он намеревался принять предложение руки Тиберия Нерона, молодого римского аристократа, который впоследствии женился на той Ливии, которую Август отнял у него еще во время беременности, чтобы жениться на ней самому, и который таким образом стал отцом императора Тиберия. В то же время стоит отметить, что император Тиберий женился на внучке Аттика. Цицерон, находясь в Киликии, хотел, чтобы выбор пал на Нерона; но домашняя семья была увлечена модой и манерами Долабеллы и отдала молодую вдову ему в качестве третьего мужа, когда ей было еще только двадцать пять лет. Этот брак, как и другие, оказался неудачным. Долабелла, хотя и была модной, знатного происхождения, приятной и, вероятно, красивой, оказалась совершенно никчемной. Он был римским дворянином того типа, который был распространен в то время, - бессердечным, экстравагантным и жадным. Его страна, его партия, его политика были подчинены не честлюбию или любви к власти, а просто жажде грабежа. Цицерон изо всех сил старался полюбить его, отчасти ради дочери, а больше, наверное, из-за необходимости поддерживать себя силой и мощью аристократической партии, к которой принадлежал Долабелла.

Я не могу вернуть его к Риму и всему тому, что он там пережил, не сказав, что большая часть его переписки во время правления, особенно в последние месяцы его правления и во время его путешествия домой, очень огорчительна. Я рассказал о его собственных делах, думаю, честно, и о том, как он сам воздерживался и заставлял делать это тех, кто ему принадлежал; как он стремился улучшить положение тех, кто находился под его властью; как он полностью оценил долг делать добро другим, так скоро признанный всеми христианами. Такая гуманность со стороны римлянина в такой период кажется мне удивительной, прекрасной, почти божественной; но, отказавшись от римской жадности и римской жестокости, он не

смог избавиться от римской неискренности. Иногда я думал, что для этого ему нужно было совсем уйти из общественной жизни. Почему бы и нет? скажут мои читатели. Но в наши дни, когда человек в течение многих лет смешивает себя со всем, что делается в обществе, как трудно ему отстраниться, даже если, отстраняясь, он не боится ни насилия, ни наказания, ни изгнания, ни конфискации. Аргументы, молитвы, упреки окружающих тянут его назад; а аргументы, упреки изнутри сильнее даже, чем от друзей. К ним добавляется презрение, а возможно, и насмешки со стороны его противников. Таковы трудности на пути современного политика, который думает, что решил уйти в отставку; но римский экс-консул, экс-претор, экс-губернатор вступил в режим войны, в которой все его, его жизнь, его собственность, его выбор страны, его жена, его дети были открыты для готовых атак его жаждущих врагов. Если он заслуживал хорошего, это было бы ничто, если бы он не мог держать вокруг себя партию, связанную взаимными интересами, чтобы заявить, что он заслужил хорошее. Богатый человек, желающий безбедно жить вне борьбы общественной жизни, должен был, как это делал Аттикус, воздерживаться от увеличения язв, от ущемления честолубия, от крушения надежд претендентов. Такой человек мог быть безопасным, но не мог быть полезным; во всяком случае, такой не была жизнь Цицерона. В прежние годы, пока он не стал консулом, он не вмешивался в дела своей жизни, но с тех пор ему пришлось вступить в соперничество со многими людьми и нажить себе немало врагов смелостью своих взглядов. Против него выступали даже те, кому он больше всего доверял. Он вызывал ревность не только у Цезарей, Крассов и Пизонов, но и у Помпеев, Катонов и Брутов. Кого он не был вынужден бояться? И все же он не мог уйти в свои книги, да и, по правде говоря, не хотел этого. Он создал себе натуру, которой теперь не мог управлять.

Он недолго пробыл в Киликии, прежде чем хорошо понял, насколько жестоким, бесчестным, жадным, истинно римским было поведение его предшественника Аппия. Его письма к Аттику полны правды, которую он должен был сказать по этому поводу. Его поведение по отношению к Аппию тоже было в основном правильным. Насколько это было в его силах, он старался исправить то зло, которое причинил несправедливый проконсул, и остановить то, что еще продолжало твориться. Он не стеснялся оскорблять Аппия, когда это было необходимо из-за его вмешательства. Но Аппий был крупным вельможей, одним из "оптиматов", человеком с сильной партией за спиной в Риме. Аппий прекрасно понимал, что доброе слово Цицерона было совершенно необходимо, чтобы спасти его от гибели в случае успешного обвинения. Цицерон также знал, что поддержка Аппия окажет ему неоценимую услугу в его римской политике. Зная это, он писал Аппию письма, полные лести и лжи, если простое слово может лучше служить нашей цели. Долабелла, новый зять, по какой-то причине, о которой вряд ли стоит спрашивать, взялся обвинить Аппия в злоупотреблениях в его провинции. В том, что Аппий заслуживал осуждения, сомневаться не приходится; но в этих обвинениях обычно спорили не о доказательствах вины, а о престиже и власти обвинителя и обвиняемого. Аппий был дважды судим по разным обвинениям и дважды оправдан; но то, что обвинителем должен был стать его зять, было чревато для Цицерона. Он считал необходимым для оправдания своих надежд дать понять Аппию, что его зять действует не в согласии с ним, и что он желает, чтобы Аппий получил все похвалы, которые полагались бы хорошему правителю. Влияние Аппия на Рим было столь велико, что его не только оправдали, но и вскоре избрали цензором. Должность цензора была в некоторых отношениях самой высокой в Риме. Цензоры избирались только раз в четыре года, оставаясь на своем посту в течение восемнадцати месяцев. Идея заключалась в том, что столь произвольные власти должны существовать только полтора года из каждых четырех лет. Рассматривались вопросы морали. Если сенатора уличали в том, что он жил не так, как подобает сенатору, цензор мог сместить его. Поскольку Аппий был избран цензором сразу после своего оправдания, вместе с Пизоном, которого Цицерон так ненавидел, можно

понять, что его влияние было очень велико.¹¹⁷ Оно было достаточно велико, чтобы добиться от Цицерона писем, льстивых и лживых. Человек, умевший жить с гуманностью, умеренностью и честностью, подобающими христианину, не дорос до того понимания красоты истины, которого, как предполагается, требует христианство.

"Sed quid agas? Sic vivitur!"¹¹⁸ - "Что бы ты хотел, чтобы я сделал? Так мы живем сейчас!" Так он восклицает в письме к Целию, написанном незадолго до его отъезда из провинции. "Что бы ты сказал, прочитав мое последнее письмо к Аппию?" Ты бы открыл глаза, если бы узнал, как я льстил Аппию, - таков был его смысл. "Sic vivitur!" - "Так мы теперь и живем". Когда я читаю это, я чувствую себя вынужденным спросить, была ли возможность жить по-другому. Если бы он видел подлость лжи так, как должен видеть ее английский христианский джентльмен, и придерживался правды ценой мученичества, его поведение было бы высоким, хотя мы, возможно, знали бы о нем меньше; но, учитывая все обстоятельства того времени, имеем ли мы право думать, что он мог так поступить?

Из Афин по пути домой Цицерон писал жене, присоединяя имя Туллия к своему. "Lux nostra", - называет он свою дочь, - "зеница ока!". Он уже слышал от разных друзей, что ожидается гражданская война. По прибытии ему придется заявить о себе, то есть встать на ту или иную сторону, и чем раньше он это сделает, тем лучше. Нужно искать деньги - наследство, которое ему оставили. Он дает четкие указания, кого нанять для этого, опустив имя того Филотома, в честности которого он опасается. Он называет свою жену "suavissima et optatissima Terentia", но не пишет ей с той истинной любовью, которая выражалась в его письмах, когда он был в изгнании. Из Афин, где он, судя по всему, пробыл почти два месяца, он также писал в декабре. По его словам, он спокоен за свой триумф, если только не вмешается Сезар, но сейчас его мало волнует его триумф. Он начинает чувствовать усталость от триумфа; и действительно, это было время, когда полная пустота триумфальных притязаний должна была сделать эту идею одиозной для него. Но отстраниться - значит заявить о своих страхах, сомнениях, собственной неполноценности перед двумя людьми, которые становились соперничающими кандидатами на римскую власть. Можно представить, что в такой момент он с радостью бы спокойно удалился в свой римский особняк или на одну из своих вилл, навсегда избавившись от забот о своих ликторах, фасциях и всей атрибутике императорского достоинства; но человек не может избавиться от таких наделов, не показав, что он счел нужным это сделать. В теории триумфа победоносный император должен был вернуться домой горячим (как бы) с поля боя, со всеми своими боевыми спутниками вокруг него, и сразу же пронести себя по Риму. Это было варварски и величественно, как я уже говорил, но для этого требовались боевые спутники. Традиция стала законом, и император, намеревающийся торжествовать, не мог отпустить своих военных последователей до окончания церемонии. Таким образом, Цицерону очень мешали его ликторы, когда, высадившись в Брундизии, он обнаружил, что Италия уже готовится к большой гражданской войне.

до н. э. 50, ætat. 57.

В начале этого года в сенате вновь прозвучало предложение о том, чтобы Цезарь отказался от командования. В это время два консула, Л. Эмилий Паулюс и К. Клавдий Марцелл, выступили против Цезаря, а также Курио, который был одним из молодых друзей Цицерона, а теперь стал трибуном. Но двоих из них Сезарю удалось купить, заплатив огромные взятки. Курио был более важным из них, и ему потребовалась более крупная взятка. Эта история дошла до нас от Аппиана,¹¹⁹ но современный читатель найдет ее хорошо рассказанной Моммзенем.¹²⁰ У консула было пятнадцать сотен талантов, или около 500 000 фунтов стерлингов! Сумма, названная Сезаром в качестве подарка Куриону, была гораздо больше,

поскольку он был очень сильно погряз в долгах! Взятки в размере более миллиона денег, таких, какими являются деньги для нас сейчас, давались двум людям за их поддержку в сенате! В те времена быть консулом или трибуном стоило немалых денег. Но деньги были хорошо заработаны - несомненно, добытые в Галлии. Сенат постановил, что и Помпей, и Цезарь должны отказаться от командования - вернее, принял соответствующее предложение без какого-либо абсолютного декрета. Но и этого было достаточно для Цезаря, который хотел избавиться от необходимости подчиняться любому приказу сената, зная, что Помпей тоже получил приказ и тоже не подчинился. Летом этого года сенат потребовал от обоих полководцев отдать каждому по легиону, или около трех тысяч человек, под предлогом того, что эти силы нужны для парфянской войны. Историки рассказывают, что Помпей одолжил легион Цезарю, тем самым давая нам понять, на каких необычных условиях легионы находились в распоряжении проконсульских офицеров, которые ими командовали. Цезарь благородно отправляет в Рим два легиона, один из которых приказал восстановить сам, а другой принадлежал Помпею. Он, несомненно, считал, что проявление благородства в этом отношении окажет ему большую услугу, чем удержание солдат. Вместо того чтобы отправить их на Восток, они были размещены в Капуе и, без сомнения, вернулись в руки Цезаря. Люди, служившие при Сезаре, не захотели бы перейти к Помпею.

Летом Цезарь перешел через Альпы в Цизальпинскую Галлию, которая еще не была законно отнята у него, а осенью расположился в Равенне, которая все еще находилась в пределах его провинции. Именно там ему пришлось размышлять о переходе Рубикона и проявлении абсолютного бунтарства. В таком состоянии находились дела, когда Цицерон вернулся в Италию и услышал подтверждение новостей о гражданской войне, которые дошли до него из Афин.

В письме из Афин, написанном раньше, чем предыдущее, Цицерон заявил Аттику, что для него лучше быть завоеванным с Помпеем, чем покоренным с Сезаром.¹²¹ Приведенное здесь мнение можно считать его руководящим принципом в политике до тех пор, пока Помпея не стало. Во всех сомнениях и колебаниях, которые его обуревали, это было правилом не только его ума, но и сердца. Для него не существовало триумvirата: это слово никогда не звучало в его устах. Если бы Помпей остался свободен от Сезара, было бы лучше. Они сошлись, и Красс присоединился к ним. Для него было лучше остаться с ними и поддерживать их правоту, чем разойтись в стороны, разгневанный и сбитый с пути, как это сделал Катон. Вопрос о том, насколько оправдано положение, которое занял Сезар из-за некоторых предполагаемых повреждений, затронул Цицерона меньше, чем последующих исследователей. Была ли предпринята попытка незаконного отзыва Цезаря? Был ли он подвергнут несправедливости, когда у него отобрали власть до истечения срока, на который ее дал народ? Не было ли ему отказано в поощрениях, на которые его заслуги давали ему право, например, в разрешении претендовать на консульство в отсутствие в Риме, в то время как Помпею было предоставлено все и даже больше? Все эти вопросы, несомненно, горячо обсуждались в то время, но вряд ли могли сильно повлиять на суждения Цицерона, да и вообще не повлияли на его поведение. Думаю, они не должны повлиять и на мнение тех, кто сейчас пытается судить о поведении Цезаря. Все вышло за рамки закона и полностью перешло в сферу возможностей. Постановления сената или голоса народа одинаково использовались в качестве оправдания. С самого начала своей карьеры Сезар демонстрировал решимость смести как паутину обязательств, которые налагал на него закон. Конечно, напрасно искать оправдания поведению человека, когда против него совершается несправедливость, которую он уже давно применяет по отношению к другим. Простим ли мы взломщика дома за то, что инструменты, которые он сам изобрел, наконец-то были использованы против его собственной двери? Современные любители Сезара и

сезаризма, как правило, не стремятся отмыть своего героя от белил по этой моде. Им достаточно того, что этот человек мог безнаказанно попираť законы и быть законом не только для себя, но и для всего окружающего мира. Есть среди нас и те, кто считает, что такой человек, пусть он будет сколь угодно велик - пусть он будет сколь угодно справедлив, если немощи человеческой природы позволяют справедливости жить в его груди, - в конечном итоге принесет больше вреда, чем пользы. Но те, кто сидит у ног великих полководцев, восхищаются ими как нарушителями закона, а не как законопослушными. Сказать, что Сезар был оправдан в той вооруженной позиции, которую он занял в Северной Италии осенью этого года, значит лишить его похвалы. Я не думаю, что он обдумывал какую-то особую линию политики в течение лет тяжелой работы в Галлии, но я думаю, что он был полон решимости не отказываться от своей власти и был готов к любому насилию, с помощью которого он мог бы ее сохранить.

Если таково было представление Цицерона об этом человеке - если таков был его беспокойный взгляд на обстоятельства Империи, - то он, вероятно, мало задумывался о законности отзыва Цезаря. Как поступят консулы, как поступит Курио, как поступит Помпей и как поступит Сезар? Именно об этом он и думал. Если бы законопослушание в то время было возможно, он хотел бы соблюдать закон. Наилучшим вариантом было бы приближение к закону. Сезар игнорировал все законы, за исключением тех, которые он мог использовать в своих целях. Помпей, сговорившись с Цезарем, последовал его примеру; но он хотел применить закон против Цезаря, когда тот превзошел его в беззаконии. Но у Цицерона еще оставалась надежда сдержать Помпея. Помпей тоже был заговорщиком, но не таким отъявленным, как Цезарь. С Помпеем республика была бы хоть как-то связана, а с Сезаром - никак; поэтому для него было лучше пасть с Помпеем, чем возвыситься с Сезаром. В этом он был убежден до тех пор, пока Помпей не пал окончательно.

Его путешествие на родину примечательно письмами к Тиро, его рабу и секретарю. Тиро заболел, и Цицерон был вынужден оставить его в Патре, в Греции. Откуда и когда он прибыл к Цицерону, мы не знаем; но, вероятно, он не попал в поле зрения своего хозяина до времен киликийского правления, так как по прибытии в Брундизий он пишет Аттику о нем как о человеке, которого Аттик не очень-то знал.¹²² Но его привязанность к Тиро очень теплая, а его маленькие просьбы к человеку, которого он покидает, очаровательны. Он должен быть осторожен в выборе судна и капитана. Он не должен торопиться. С врачом нужно посоветоваться и хорошо заплатить. Цицерон сам пишет различные письма разным лицам, чтобы обеспечить внимание, которого Тиро не мог бы добиться, если бы ему не оказали помощь.

В начале января Цицерон достиг города, но не смог войти в него из-за своего еще не состоявшегося триумфа, а Цезарь переправился через маленькую речку, которая отделяла его провинцию от римской территории. Датой первого небольшого события считается 4 января. Для второго я не видел точного дня. Я предполагаю, что это произошло после 6-го числа, поскольку в этот день сенат назначил Домициана своим преемником в провинции. После этого два трибуна, Антоний и Кассий, поспешили к Цезарю, а Цезарь, вероятно, переправился через реку. Цицерон получил назначение в Кампанию, где он занимался сбором налогов, обязанности которого официально не противоречили его триумфу.

Его дела в течение всего этого времени были мало чем примечательны; но кто есть на свете, чьи дела были бы примечательны в тот период? В результате вся власть была вырвана из его рук. Сезар отказался от него. Помпей не мог этого сделать, но мы можем представить себе, как охотно Помпей согласился бы, чтобы он остался в Киликии. Он был послан туда с дороги, но поспешил вернуться домой. Если бы он только остался и разграбил! Если бы он только

остался там и был честным, чтобы не мешать! Но вот он снова в Италии, честный, порядочный человек! Такого непохожего на обычного римлянина, такого затерянного среди корыстолюбцев Рима, такого неоправданно чистоплотного, не найти! Катон был честен, до глупости честен для своего времени; но с Катоном было не так трудно иметь дело, как с Цицероном. Мы можем представить себе, как Катон кутается в мантию и становится дико неразумным. Цицерон же был в курсе всего, что происходило в мире, но при этом оставался честным! Тем временем он оставался в окрестностях Неаполя, писал жене и дочери, писал Тиро, писал Аттику и рассказывал нам все те подробности, которые мы теперь, кажется, так хорошо знаем - потому что он нам рассказал. В одном из писем к Аттику в это время он печально серьезен. Он умрет вместе с Помпеем в Италии, но что он может сделать, покинув ее? С ним по-прежнему его "ликторы". О, эти ужасные ликторы! Его дружба с Кнеем! Его страх перед тем, что ему придется объединиться с грядущим тираном! "О, как бы вы помогли мне своим советом!"¹²³ Он снова пишет и описывает состояние Помпея, который был Магнусом. "Видите, как он простерт. У него нет ни мужества, ни совета, ни людей, ни промышленности! Отбросьте все это; посмотрите на его бегство из города, на его трусливые речи в городах, на его незнание своей собственной силы и силы своего врага! * * * Сезар в погоне за Помпеем! О, печаль! * * * Убьет ли он его?" - восклицает он. Затем, все еще обращаясь к Аттикусу, он защищается. Он готов умереть за Помпея, но не верит, что может принести пользу ни Помпею, ни Республике своим бегством. Есть еще одна причина остаться в Италии, о которой он не может написать. Это поведение Теренция. В конце одного из своих писем он говорит Аттику, что при той же лампе, при которой он писал, он сожжет то, что Аттик ему прислал. В другом письме он говорит о бросившем его греческом наставнике, некоем Дионисии, и кипит от гнева. Его письма к Аттику о греческом наставнике забавны на таком расстоянии, потому что показывают его нетерпение. "Я никогда не знал ничего более неблагодарного; и нет ничего хуже неблагодарности".¹²⁴

Он обрушивает свое презрение на Помпея: "Правда, я сказал, что лучше быть завоеванным с ним, чем с теми другими. Я бы так и сделал. Но о каком Помпее я так говорил? Разве об этом, который летит, не зная ни чего, ни кого, ни куда он полетит?"¹²⁵ В тот же день он пишет еще раз: "Помпей то любил Сезара, то боялся его. Он покинул город; он потерял Пизе нум по своей вине, он отправился в Апулию! Затем он отправился в Грецию, оставив нас в неведении относительно своих планов!" Он оправдывается за свое письмо к Сезару. Он писал Сезару в выражениях, которые могли понравиться великому человеку. Он рассказал Сезару о восхитительной мудрости Сезара. Так не лучше ли? Он хотел, чтобы его письмо было зачитано вслух всем народом, если только его зачитают и Помпею. Далее следуют копии переписки между ним и Помпеем. В последней он заявляет¹²⁶, что "когда он писал из Канусиума, ему не снилось, что Помпей собирается пересечь море. Он знал, что Помпей намеревался заключить мир - мир даже на несправедливых условиях, - но он никогда не думал, что Помпей помышляет об отступлении из Италии". Он хорошо и убедительно аргументирует свою точку зрения и увлекает нас за собой. Помпея отбивали от одного пункта к другому, и он ни разу не выступил против Сезара. Он потерпел неудачу и скрылся, оставив на защиту республики то одного, то другого человека. Помпей не хотел рисковать ничем ради Рима. В конце концов дошло до того, что Сезар стал учить его цезаризму, а когда тот умер, был более императором, чем его господин.

В это время у Цицерона заболели глаза. "Mihi molestior lippitudo erat etiam quam ante fuerat". И снова: "Lippitudinis meæ signum tibi sit librarii manus". Но мы можем сомневаться, что какие-либо великие люди жили так долго, когда их мало беспокоило здоровье. И все же объем работы, которую он успел выполнить, был велик. Он должен был так организовать свои дела, чтобы максимально эффективно использовать время и хранить в памяти информацию по

всем вопросам. Если вспомнить размеры книг, которые он читал, их громоздкие формы, непригодность для такой работы, как наша, то кажется, что учеба продолжалась так, как мы не можем выдержать. На протяжении всей его жизни его часы были ранними, но они должны были быть и поздними. Из его писем мы не имеем и половины, из его речей - половины, из его трактатов - не более половины. Когда он был за границей во время своего изгнания или в Киликии во время своего правления, он не мог иметь при себе своих книг. То, что Цезарь должен был быть Цезарем, или Помпей Помпеем, не кажется мне таким сложным вопросом, как то, что Цицерон должен был быть Цицероном. Далее следует письмо, о котором я говорил в первой главе, где он рассказывает о гетах, армянах и колхидцах. "Должен ли я, спаситель города, содействовать тому, чтобы на город обрушились эти полчища чужеземцев? Неужели я должен предать его голоду и разрушению ради одного человека, который не более чем смертный?"¹²⁷ Именно Помпею он задал этот вопрос. Ради Помпея я должен пускать эти толпы? Мистер Фрауд сообщил нам, что этим человеком был Цезарь, и что Цицерон писал с таким беспокойством, специально желая устроить его смерть!

"Подумайте, что нам теперь делать", - говорит он. "Римская армия окружит Помпея и сделает его пленником в долине и на валу - и будем ли мы жить? Город стоит; преторы устанавливают закон, эдилы поддерживают игры, добрые люди заботятся о своих принципах и интересах. Останусь ли я сидеть здесь? Может, я буду бешено метаться туда-сюда и умолять о кредите городов? Состоятельные люди не пойдут за мной. Революционеры арестуют меня. Есть ли конец этому несчастью? Люди будут указывать на меня и говорить: "Как мудро он поступил, что не пошел с ним". Я не был мудр. Я никогда не желал быть товарищем его победы, но теперь я участвую в его горе".¹²⁸

b.c. 49, ætat. 58.

Помпей переправился через море из Брундизия, а Цезарь отступил через всю Италию в Капую. На пути он увидел Цицерона и попросил его отправиться в Рим. Цицерон отказался, и Цезарь отправился дальше. "Тогда я должен воспользоваться другими советами", - сказал Цезарь, оставив его в последний раз перед предстоящей битвой. Цицерон отправился в Арпинум и там услышал соловья. С этого момента он решился. Он не думал, что, когда настанет момент, он сможет одержать верх над советами Цезаря; но он сделал это. Он боялся, что Сезар одолеет его; но когда настал момент, он был силен даже против Сезара. Он дал своему мальчику тогу, или, как мы должны сказать, сделал из него мужчину. Он шел за Помпеем не ради Помпея, не ради Республики, а ради верности. Он шел, потому что Аттикус велел ему идти. Но пока он шел, появилась новая почва для печали. Он пишет Аттикусу о двух мальчиках, своем сыне и племяннике. Один из них добр по своей природе и еще не сбился с пути. Другой же, старший и племянник, поощряемый дядиной снисходительностью, открыто перенял дурные наклонности. Другими словами, он стал кесарем за вознаграждение.¹²⁹ Молодой Квинт показал себя очень лживым. Цицерон так привязан к своей семье в их общественной жизни, что это отпадение одного из них делает его несчастным. Затем появляется Курио, и между ними завязывается интереснейший разговор. Кажется, что Курио, который очень любит Цицерона, рассказывает ему обо всем, но Цицерон, который сомневается в нем, пропускает его вперед. Тогда Целий пишет ему. Целий просит его ради своих детей помнить о том, что он делает. Он рассказывает ему о гневе Цезаря и спрашивает, не может ли он стать цезарианцем, во всяком случае, удалиться в какое-нибудь убежище, пока буря не пройдет и не наступят более спокойные дни. Но Целий, несмотря на то, что Цицерону было выгодно знать его близко, не понял величия ума этого человека. Он несколько не понимал той сложности, которая пронизывала Цицерона.

Для Целия это была игра - игра, в которой человека могли побить, изгнать или зарезать; но это была игра, в которой люди сражались каждый за себя. То, что в этом деле должен быть какой-то долг, было для Целия необъяснимо. И его дети тоже - его гнев на юного Квинта и его прощение Маркуса! Он думает, что Квинт был куплен крупной взяткой со стороны Сезара, и благодарен, что с ним дело обстоит не хуже. Что может быть хуже для молодого человека, чем быть открытым для такой платы? Антоний часто появляется на сцене и уже вызывает у нас отвращение своим легкомыслием и наглостью. А потом у Цицерона заболели глаза, и он не может видеть. К нему с плачем приходит Сервий Сульпиций. Для Сервия, робкого и лакричного, все пошло прахом. А тут еще этот Дионисий, который прямо сказал ему, что хочет последовать за каким-нибудь более богатым или более расторопным господином. Наконец приходит известие о рождении ребенка у его Туллии. Ей приносят в постель сына. Однако ему не терпится увидеть, как будет развиваться сын. В окружении врагов и шпионов он начинает действовать. Он пишет последнее письмо жене и дочери с борта корабля в Кайете, посылая им много любви и много заботливых посланий, а затем отправляется в путь.

Сейчас было 11 июня, третий день до идов 49 года до н. э., и мы не слышим ничего особенного о событиях его путешествия. Когда он добрался до лагеря, что произошло в целости и сохранности, его приняли не очень хорошо. Он отдал все силы, чтобы занять место вместе с Помпеем в республиканских кварталах, и когда он там оказался, республиканцы не захотели его принять. Помпей предпочел бы, чтобы он остался в стороне, чтобы впоследствии можно было сказать, что он не приезжал.

О том, что происходило с Цицероном во время великой битвы, которая привела к решению римского вопроса, мы почти ничего не знаем. Мы слышим, что Цицерон отсутствовал, болел в Диррахии, но нет ни одной из тех тирад оскорблений, которыми можно было бы встретить такое отсутствие. Из других источников мы слышим очень полные отчеты о боевых действиях: как Цезарь был почти побежден, как Помпей мог бы одержать победу, если бы у него хватило ума взять то добро, которое попало ему на пути, как он не взял его, как его избили, и как, в присутствии своей жены, он был наконец убит в устье Нила объединенными силами римлян и греков.

Мы можем представить, как судьба мира решалась на Фарсале, где встретились две армии, и победа осталась за Сезаром. Потом были плач и скрежет зубовный, поздравления и самовосхваление победителей. Во всех письмах Цицерона нет ни слова об этом. Есть ужасные страдания перед тем, как все началось, есть чувство оскорбленной невинности после его возвращения, но нигде мы не находим никаких записей о том, что произошло. Нет ни траура по Помпею, ни обращения к Сезару как к завоевателю. Петра была потеряна, Фарсалия завоевана, но нет никаких следов.

до н. э. 48, ætat. 59.

Цицерон, как мы знаем, провел время в Диррахии, недалеко от которой произошла битва при Петре, и оттуда отправился на Корсиру. Там ему, как старшему из присутствующих консульских офицеров, было предложено принять командование над разбитой армией, но он отказался. Нам сообщили, что он едва не погиб в произошедшей потасовке. Мы можем представить себе, что так и было - что в последовавшей за этим неразберихе и суматохе ему несколько грубовато объяснили, что ему следует взять на себя инициативу и выступить в качестве нового командующего; что наконец наступит момент, когда ему нельзя будет сомневаться, но он должен сомневаться и, более или менее сдержавшись, идти дальше. Молодой Помпей хотел, чтобы так и было. Какое имя могло бы так объединить противников Цезаря, как имя Цицерона? Но Цицерон не поддался. Похоже, что в то время он был

вспыльчив и не в духе; что в затруднительное положение его привело желание быть верным Помпею и что он смог выбраться из него только теперь, когда Помпея не стало. Мы можем себе представить, что не было человека, менее способного бороться с Цезарем, хотя и не было никого, чье имя могло бы быть столь полезным для использования, как имя Цицерона. Во всяком случае, насколько нам известно, с его стороны было молчание по этому вопросу. Он не написал ни слова ни одному из друзей, которых оставил после себя Помпей, и вернулся в Италию удрученным, молчаливым и несчастным. Он действительно встречался со многими людьми после битвы при Фарсале, но ни одному из тех, с кем мы знакомы, он не высказал своих мыслей по поводу той великой кампании.

Здесь мы расстаемся с Помпеем, который бежал с поля боя в Македонии, чтобы встретить свою гибель на дорогах Александрии. Никогда еще человек не поднимался так высоко в юности, чтобы так бесславно погибнуть в старости. Он родился в один год с Цицероном, но быстрее вошел в управление делами мира, чтобы получить от равных то, что полагается по возрасту. Привычка дала ему ту легкость манер, которая позволила ему принимать от тех, кто должен был быть его товарищами, почтение, которое полагалось не по возрасту, а по опыту. Когда Цицерон выходил в свет и брал в руки дубины, чтобы сразиться с Суллой, Помпей уже завоевал свои шпоры, несмотря на Суллу, но благодаря Сулле. В наши дни люди учатся, по мере того как они стареют в общественной жизни, с безразличием относиться к заблуждениям мира. Читая жизнь Цицерона, мы видим, что так было и тогда. Защищая Америкинуса, мы видим в нем человека с тем же характером, что и у того, кто впоследствии выступил на стороне Милона. В нем есть та же готовность, та же изобретательность и то же высокое негодование, но нет того же безразличия к результатам. С Америкинусом это выглядит так, словно от него зависит весь мир; с Милоном он считает, что достаточно заставить внешний мир поверить в это. Когда Помпей одержал победу в 70 году до н. э. и во второй раз стал консулом, он был уже стар в славе - Цицерон еще не произнес тех двух ораций против Верреса, которые сделали невозможным произнесение еще одной. Помпей, можно сказать, никогда не был молод. Цицерон никогда не был старым. Не было в его жизни момента, когда Цицерон не мог бы посмеяться с Куриями и Селиями за спиной великого человека. Не было момента, в который Помпей мог бы это сделать. Тот, кто вышел из колыбели на вершину мира, потерял представление о тех вещах, которые доступны лишь праздным и роскошным молодым людям того времени. Цицерон прожил не так много лет после Помпея, но я сомневаюсь, что он не знал о людях бесконечно больше. Помпею было дано управлять ими, а Цицерону - жить с ними.

Глава VI.

ПОСЛЕ БИТВЫ.

48 г. до н. э., æтат. 59.

Осенью этого года Цицерон высадился в Брундизиуме. В Брундизиуме он пробыл почти год, и меланхолично думать о том, какими грустными и долгими должны были быть дни, проведенные с ним. Когда он добрался до ближайшего италийского порта, у него не было своей страны; она вся принадлежала Цезарю, а Цезарь был его врагом. За власть боролись два человека, и из них победил тот, с кем Цицерон себя не связывал. Он знал, как это будет. Все геты, и колхидцы, и армяне, все любители рыбных прудов и те, кто предпочитал деликатесы Баия работе на Форуме, все, кого приучили думать, что провинции существуют

для того, чтобы их грабить, люди, которые никогда не мечтали о стране, кроме как продать ее, все те, кого Цезарь был намерен либо изгнать из Италии, либо держать там в повиновении себе, были собраны вместе впустую. Когда мы начинаем читать эту историю, мы уже знаем, как все будет с ними и с Цезарем. На стороне Сезара - экстаз надежды, доведенный до грани уверенности; на другой стороне - тот обморочный дух отчаяния, который не могут унять никакие батальоны. На стороне Помпея нет ни Скевы, ни Крастина. Люди меняют свою природу под таким руководством, как у Сезара. Низшие люди становятся героями, соприкасаясь с героем; но такие герои, когда они приходят, похожи на большие струи крови, пролитые на светлую ткань. У кого есть глаза, чтобы видеть, может оглянуться на карьеру такого героя и не мучительную боль, когда суровый человек проходит мимо, не дрогнув лицом, после того как приказал отрубить правые руки тем, кто сражался при Укселодунуме, чтобы люди знали, что такое наказание за то, что они сражаются за свою страну?

Есть люди - или были, время от времени, во все века мира - отпущенные на свободу, как бы рукой Божьей, чтобы остановить беззакония народа, но на самом деле являющиеся естественным продуктом этих беззаконий. Они приходили, делали свое дело и умирали, оставляя после себя дурной запах разрушения. За Сезаром последовал Август, за ним Тиберий, и так до Нерона. Необходимо было, чтобы люди много страдали, прежде чем они вернутся к осознанию своего состояния. Но те, кто видит Цицерона, пытающегося избежать грядущего зла - не для себя, а для окружающего его мира - и при этом опускает свои языки, свои перья, свой готовый ум, чтобы высмеять его усилия, вряд ли могут быть тронуты превосходством человеческого страдания.

Должно быть, в Брундизиуме ему пришлось несладко. Он должен был оставаться там и ждать, пока ему не сообщат об удовольствии Сезара, а Сезар думал о других вещах. Сезар был в Египте и на Востоке, в Александрии он столкнулся с опасностями, которые, если все, что мы слышали, правда, подразумевают, что он жил, чтобы не бояться. Допустим, что человек должен жить так, как жил Сезар, и будет хорошо, если он преодолеет страх. Во всяком случае, он не думал о Цицероне, или, думая о нем, считал, что тот должен молча размышлять о сделанном им выборе. Цицерон размышлял - не совсем молча - над тем, что судьба сделала для него и для его страны. Для себя он жил в Италии, но не мог решиться поселиться на одной из восемнадцати вилл, которые, как рассказывает Миддлтон, он разбросал по стране для своего времяпрепровождения. Это были виллы в Тускулуме, Антиуме, Астуре, Арпинуме, Формии, Куме, Путеолах и Помпеях. Те, кто говорит нам о бедности Цицерона, несомненно, блуждают, увлекшись своими ошибочными представлениями о том, каковы были представления римского аристократа о деньгах. Ни в один период его жизни мы не видим, чтобы Цицерон не делал того, что задумал, из-за нехватки денег, и ни в один период нет и намека на то, что он позволял себе в каком-либо отношении нарушать закон. Утверждают, что он должен был брать гонорары, взятки и косвенные платежи, потому что он говорит, что ему нужны были деньги. Вполне естественно, что время от времени ему хотелось денег, но в основном он был безразличен. Поступление регулярных доходов понималось не так, как у нас. Человек то тут, то там мог заботиться о своих деньгах, как это делал Атик. Цицерон этого не делал, и поэтому, когда он нуждался в них, ему приходилось обращаться за помощью к другу. Но он всегда обращался как тот, кто хорошо знает, что беда недолговечна. Можно ли считать правдоподобным, что человек, находящийся в таком положении, оставался при тех разнообразных источниках расточительности, которых ему было бы легко избежать или уменьшить? Мы убеждены, что ему ни разу не пришлось покинуть свои виллы, хотя в спешке римских дел ему то и дело приходилось обращаться к Атику за жильем. Давайте подумаем, каковы были денежные

требования Сезара. О них мы ничего не слышим, потому что он был слишком мудр, чтобы иметь Аттика, которому он писал все, или слишком осторожен, чтобы писать письма о делах, которые должны быть сохранены для любопытства последующих эпох.

Надеяться, а потом трепетать; стремиться к успеху, а потом унывать; с готовностью верить в любое добро, а потом, с такой же готовностью, в зло; безоговорочно полагаться на веру человека, а потом оборачиваться и заявлять, как его обманули; сильно гневаться, а потом прощать - такова, кажется, была натура Цицерона. Веррес, Катилина, Хлодий, Пизон и Ватиний, кажется, вызывали его гнев; но был ли среди них хоть один, против которого, хотя он и не простил его, его гнев не угас? Затем, наконец, он был вынужден вступить в междоусобную борьбу с Антонием. Есть ли хоть один человек, прочитавший историю, которую мы собираемся рассказать, который не согласится с нами в том, что если бы после Мутины Октавий счел нужным отречься от Антония и последовать советам Цицерона, Антоний не был бы пощажен?

Ничто так не возмущает меня в описании Цицерона, как утверждение, что он был трусом. Оно возникло из неверного представления о том, что такое трусость. Он не хотел сражаться; но разве все люди трусы, которые не хотят сражаться, когда работу можно гораздо лучше сделать разговорами? Он видел, что драка - это работа, подходящая для людей из обычной глины, или чувствовал это, если не видел. Когда люди поднимаются до такого уровня, как тот, что был у него, и у Сезара, и у Помпея, и у некоторых других, окружавших их, их главная опасность состоит не в том, чтобы сражаться. Язык человека делает врагов более горькими, чем его меч. Но Цицерон, когда приходило время, никогда не уклонялся от борьбы с врагом. Будь то Веррес или Катилина, Клодий или Антоний, он всегда был рядом, готовый взять врага за горло и предложить взамен свое. В такие моменты в нем не было того страха, который нагоняет гнев на обиженного и заставляет труса дрожать перед глазами храбреца.

Его дружба к Помпею - это, пожалуй, из всех сильных чувств его жизни то, которое больше всего требует оправдания, и то, которое труднее всего оправдать. Для себя я могу понять, почему это было так; но я не могу этого сделать, не признавая в ней того, что умаляло его величие. Если бы он возвысился над Помпеем, он был бы действительно великим; ибо я считаю несомненным, что он видел, что Помпей был так же неверен Республике, как и Сезар. Он видел это время от времени, но ему не было постоянно ясно, что Помпей лжив. Сезар не был лживым. Сезар был открытым врагом. Я сомневаюсь, что Помпей когда-либо видел достаточно, чтобы быть открытым. Он никогда не осознавал себя больше, чем людей. Он никогда не поднимался до мер, тем более до их обоснования. Когда Сезар уговорил его и склонил к созданию триумvirата, политика Помпея сошла на нет. Цицерон никогда не унывал. То ли, полный новых надежд, он нападал на Хрисогона со всей энергией человека, которому были дороги его обиженные соотечественники, то ли, имея твердую цель всей своей жизни, обвинял Верреса перед лицом грядущего консула Гортензия; то ли изгонял Катилина, то ли защищал Милона; то ли, встав перед Цезарем на защиту Марцелла, то ли в своем последнем натиске на Антония, его цель оставалась все той же. Со временем он взял в руки более грубое оружие, спустился на арену и сразился со зверями в Эфесе. Увы, так бывает с человечеством! Кто может стремиться к добру и не сражаться со зверями? А кто может бороться с ними, как не они сами? Он боролся со зверями в Эфесе, когда защищал Мило. Он был олигархом, но он хотел, чтобы олигархия вокруг него была правдивой и честной! Это было невозможно. Эти люди не были справедливыми, и все же он должен был их использовать. Мило, Целий и Курио были его друзьями. Он знал, что они плохие, но он не мог отбросить от себя всех, кто был плохим человеком. Если бы с помощью этих средств он мог проложить себе путь к чему-то хорошему, он бы простил их зло. По мере того как мы

продвигаемся к концу его жизни, мы видим, что его характер портится, а его высокие чувства притупляются под влиянием партий, которые он принимает, и людей, с которыми он общается.

Он, правда, не отпал совсем. Предложенные ему магистратура, лейтенантство, "свободное легатство", последний призыв поехать в Рим и сказать несколько слов - или остаться в стороне, сохраняя нейтралитет, - не тронули его. Он не стал становиться заговорщиком, а затем бороться за приз, как это сделал Помпей. Но он столько лет держался за Помпея как за лидера партии; ему вбивали в уши, что все должно зависеть от Помпея; он оказался настолько связан с человеком, который, когда к нему обращались по поводу его изгнания, угрюмо отвечал, что может делать только то, что хочет от него Сезар; которого он считал достаточно подлым, чтобы заклеить его как Сампсицерама, иерусалимского героя, героя Аравии; которого он знал, что тот желает поступить со своими врагами так же, как Сулла поступил со своими, - что, несмотря на все это, он все еще цеплялся за него!

Я не могу не порицать Цицерона за это, но все же могу и оправдать. Тяжело, когда после середины жизни приходится менять лидера, а Цицерон мог сменить его, только став лидером сам. Мы видим, насколько это было безнадежно. Разве не было бы подлостью, если бы он позволил тем людям идти и сражаться в Македонии без него? Кто бы поверил в него, если бы он казался таким лживым? Ни Катон, ни Брут, ни Бибул, ни Сципион, ни Марцелл. Именно такие люди были лидерами партии, в которой он состоял. Не скажут ли они, что он остался в стороне, потому что был человеком Цезаря? Он должен был следовать либо за Сезаром, либо за Помпеем. Он знал, что Помпей побежден. Есть вещи, которые человек знает, но не может заставить себя сказать об этом даже самому себе. Он отправился сражаться на стороне побежденных, а когда дело было сделано, вернулся домой с печальным сердцем и жил в Брундизиуме, оплакивая свой жребий.

Оттуда он написал Аттику, говоря, что вряд ли видит выгоду в том, чтобы следовать советам, которые ему дали, чтобы он инкогнито отправился в Рим. Но именно особая причина, приведенная в письме, поражает нас тем, что она так не похожа на аргументы, которые преобладали бы в наши дни: "Нет у меня и мест для отдыха на пути, достаточно удобных, чтобы я мог проводить в них весь день".¹³⁰ Диверсорий" - это место на обочине дороги, которое всегда было готово, если владелец хотел пройти этим путем. Следует понимать, что он путешествовал со слугами и носил еду с собой или отправлял ее заранее. На каждом шагу мы видим, как много могут сделать деньги; но мы также видим, как мало сделали деньги для общего комфорта людей. Брундизий находится на расстоянии более трехсот миль от Рима, и путешествие это то же самое, которое Гораций совершил впоследствии, отправившись из города.¹³¹ Тогда многое было сделано для того, чтобы сделать путешествие удобным или, во всяком случае, более дешевым, чем за четыре с небольшим года до этого. Но теперь путешествие не совершалось. В письме он напоминает Аттикусу, что если он не писал в течение столь долгого промежутка времени, то не потому, что не хватало тем. Без сомнения, было разумно молчать, когда столько глаз и столько ушей были начеку. Через несколько дней он снова пишет Аттику, уверяя, что Сезар хорошо думает о своих "ликторах!". О эти вечные ликторы! "Но что мне делать с ликторами, - говорит он, - которым почти приказано покинуть берега Италии?"¹³² И тогда Сезар отправил гневные послания. Катон и Метелл, как говорят, вернулись домой. Но Сезар не хотел, чтобы так было, и приказал им уехать. Каждому из живущих сейчас людей было ясно, что Сезар - фактический хозяин Италии.

Всю эту зиму он поддерживает отношения с Теренцией, но пишет ей в самом холодном тоне. Письма к Теренции многочисленны, их больше, чем мы когда-либо знали, но все они одного порядка. Я перевожу одно из них, чтобы показать характер его переписки: "Если у тебя все

хорошо, то и у меня тоже. Время сейчас такое, что я ожидаю ничего не услышать от вас, а мне, со своей стороны, нечего писать. Тем не менее я жду ваших писем и пишу вам, когда гонец собирается в путь". Волуминия должна была понять свой долг перед вами и сделать то, что она сделала, лучше. Однако есть и другие вещи, которые меня волнуют больше и о которых я горько скорблю - как того желали те, кто оттолкнул меня от моего собственного мнения".¹³³ Он снова пишет Аттикусу, сожалея о том, что ему пришлось родиться - так велики его беды - или, во всяком случае, о том, что кто-то родился после него от той же матери. Его брат обратился к нему в гневе - его брат, который желал уладить свои дела с Цезарем и приятно плыть по течению вместе с другими знатными римлянами того времени. Я могу представить, что для Квинта Цицерона не было ничего выше богатства, которое давал день. Я могу представить, что он обладал умом и что, когда с нашим консулом все шло гладко, с Квинтом Цицероном все было хорошо; но я также вижу, что, когда Цезарь одержал верх, Квинт иногда сомневался, не следует ли оставить его брата среди других вещей, которые были навязчивыми и суетными. Он не мог этого сделать. Брат заставлял его соблюдать приличия и держаться в рамках олигархии. Потом Цезарь пал, и Квинт увидел, что дело верное; но Цезарь, хотя и пал, не совсем пал, и поэтому Квинт в конце концов оказался не прав. Мне кажется, что я вижу, как все пошло не так с Квинтом.

до н. э. 47, ætat. 60.

После битвы при Фарсалии Цезарь преследовал Помпея, но не смог его догнать. Когда он наткнулся на сцену на рейде Александрии, убийство уже было совершено. Тогда он высадился на берег и там, как сложились обстоятельства, был обречен на еще одну кампанию, в которой едва не лишился жизни. В мои планы не входит писать жизнь Цезаря, да и не стоит лезть в нее дальше, чем меня вынуждают искать источники бед и чаяний Цицерона; но рассказать об этом в нескольких словах необходимо. Из Александрии Цезарь отправился в Азию и, промчавшись через Сирию, победил Фарнака, а затем написал свое знаменитое "*Veni, vidi, vici*", если эти слова вообще были написаны. Конечно, он не мог написать их и отправить домой! Даже раболепие эпохи не выдержало бы столь хвастливых слов, и слава Сезара не была бы так запятнана. Он поспешил вернуться в Италию и подавил мятеж своих людей шедевром сценического мастерства. Просто обратившись к ним "квириты" вместо "милиты", он заставил их повиноваться. Во время этого путешествия в Италию он столкнулся с Цицероном. Если он мог быть жестоким без пана, вплоть до организации голодной смерти целого города женщин, потому что они, как и мужчины, должны есть, то он мог быть великолепным в обращении с Цицероном. Он до смерти затравил своего покойного коллегу по *Trium virate* и не чувствовал угрызений совести; хотя, кажется, в Египте был момент, когда лицо того, кто так долго был его начальником, тронуло его. Он не отдавал приказа о смерти Помпея. Ни в одном случае он не предавал смерти римлянина, чье имя было достаточно великим, чтобы оставить после себя след. Он следовал убеждениям своих соотечественников, которые всегда щадили себя. Для него тысяча галлов или людей восточного происхождения были ничто по сравнению с одним римским аристократом. Можно ли сказать, что в таком поступке было милосердие, сейчас спорить бесполезно. Для Сезара это была, во всяком случае, политика. Если под милосердием понимать такое состояние души, при котором жертвовать жизнью людей в угоду духу мести - зло, то Цезарь был милосерден. Кроме того, он обладал тем чувством, которое побуждает тех, кто выигрывает, находить общий язык в мелочах с теми, кто проигрывает. Мы видим, как Цезарь спускается с колесницы, когда Цицерон выходит ему навстречу, и, обняв его за шею, уходит с ним в приятной беседе; и мы можем представить себе, как он с удовольствием говорит с Цицероном о том величии, которое в грядущие времена покажут такие занятия, как его, по сравнению с занятиями Цезаря. "*Cedant arma togæ; concedat laurea linguæ*", - слышим

мы, как говорит Цезарь, с иронией, не выраженной ни в одном тоне его голоса, но все еще вибрирующей в глубине его сердца, поскольку он так много думал о своем несомненном военном превосходстве и совершенно ничего о своем теперь уже несомненном литературном совершенстве.

b.c. 47, ætat. 60.

Но вернемся немного назад: в августе и сентябре Цицерон все еще ждет в Брундизиуме. В первом из этих месяцев он напоминает Аттику, что "в настоящее время он не может ничего продать, но может кое-что припасти, чтобы это было в безопасности, когда на него обрушится разорение".¹³⁴ Из этого можно сделать вывод о положении дел, сильно отличающемся от описанного выше, но не противоречащем ему. Из этого неразборчивого письма, написанного, по его словам, большей частью его собственным почерком, я понял, что в данный момент он находился под каким-то запретом закона для Сезара. Вполне возможно, что, будучи признанным мятежником против своей страны, его имущество не должно было продаваться. Если это так, то в один из таких благодатных моментов Цезарь должен был отменить приговор - а в такое время все приговоры были подвластны Цезарю, так как мы знаем, что по возвращении Цицерона его виллы снова оказались в его власти. Но сейчас он в печальной беде из-за своей жены. Он написал ей, чтобы она прислала ему двенадцать тысяч сестерций, которые у него были как бы в мешке, а она прислала ему десять, сказав, что больше не осталось. Если она вычтет что-то из такой маленькой суммы, то что она сделает, если она будет больше?¹³⁵ Затем следуют два письма к жене - всего по одному слову, ни в одном из них нет ни признака привязанности, ни жалобы. В первом он сообщает ей, когда придет Сезар, а во втором - что он придет. Когда он решит, идти ли ему навстречу или оставаться на месте, пока Сезар не придет к нему, он снова напишет. Затем три письма к Аттику и еще два к Терентию. В первом он сообщает, что ожидается приезд Сезара. Через десять или двенадцать дней после этого он все еще полон скорби о своем брате Квинте, чье поведение было позорным. Он знает, что Сезар уже близко, но почти надеется, что тот не придет в Брундизий. В третьем, как и в других, он горько жалуется на жару: она такого рода, что усугубляет его горе. Не послать ли ему весточку Сезару, что он будет ждать его ближе к Риму?¹³⁶ Очевидно, что он находится в плачевном состоянии. Квинт, надо помнить, был в Галлии вместе с Цезарем и видел восходящее солнце. По возвращении в Италию у него не хватило сил заявить о своих политических убеждениях и смело перейти на сторону Сезара. Правда, в Киликии он стал лейтенантом своего брата, покинув с этой целью Сезара. После этого он вместе с братом отправился в Phar salus, заверив старшего Цицерона, что они оба по-прежнему будут принадлежать к одной партии. И вот наступила великая катастрофа, когда Цицерон вернулся из этого жалкого похода в Брундизий и остался там в отчаянии, как на каторге. Квинт последовал за Цезарем в Азию вместе с сыном и там отстаивал свои интересы за счет брата. Все мы должны признать, что, хотя Сезар был равнодушен к пролитию крови, высокомерен, беспринципен в деньгах и бессердечен в любви, он был великолепен и не причинил никому вреда из мстительных побуждений. Он ушел, оставив Квинта Цицерона, который, будучи солдатом, был ему верен, но, как мы можем предположить, без многих слов. Впоследствии Цицерон заступился за своего брата, который поносил его, и Квинту придется вечно нести на себе пятно его вероломства. Затем последовали два письма для его жены, в каждом из которых было всего по строчке. Если прибудет ее гонец, он отправит ей весточку о том, что она должна сделать. После почти месячного перерыва появляется еще одно: в совершенно восстановленном добродушии он приказывает приготовить бани на тускуланской вилле: "Пусть бани будут готовы, и все пригодно для гостей; их, вероятно, будет много".¹³⁷ Очевидно, что Сезар ушел

из жизни в хорошем настроении, оставив после себя радостные вести, такие, которые всегда должны украшать ноги завоевателя.

Необычно, что при такой переписке, как у Цицерона, в которой, по крайней мере, за последние два-три года его жизни сохранилось каждое письмо к его главному другу, от самого друга ничего не осталось. Должно быть, как предполагает Миддлтон, Атик, когда Цицерон был мертв, распоряжался всеми его письмами и забрал свои; или же Цицерон и Атик пришли к взаимному соглашению об уничтожении их совместных трудов, и Атик не выполнил своего соглашения, хорошо понимая ценность сохраненных им документов. То, что нет ни одного письма от женщины - даже строчки к Цицерону от его дорогой дочери - вызывает большое сожаление. И все же письма есть - многие от Целия, который, таким образом, представляется почти вторым и более молодым Атиком, а также от различных римлян того времени. Когда мы переходим к последним дням его жизни, когда он взял на себя труд писать Планку и другим людям об их предполагаемом долге перед государством, они становятся многочисленными. Таких писем от Планки десять, от Децима Брута - девять, а также целая масса переписки с Марком Брутом, которую следует принять за чистую монету. С точки зрения истории, они, несомненно, многого стоят; но для того, чтобы пролить свет на характер Цицерона, за исключением той энергичности, которая была в нем до последнего, они не представляют большой ценности. Как могло случиться, что переписка, которая по своей главной цели так полна, должна была оказаться столь недостаточной во многих своих деталях? В этих письмах, дошедших до нас от Целия и других авторов, нет ни одного слова, ни одного намека, уничижительного для Атика. Нам оставлен Атик для суждения, свободный от признания собственных недостатков, а также от чужих инсинуаций. Кому бы мы пожелали, чтобы знакомые письма другого о нас самих были опубликованы? Разве можно было бы допустить, чтобы эти предосудительные эпитеты в адрес Помпея остались в силе, если бы Помпей был жив и если бы они находились в его распоряжении?

Но, читая истории и биографии, мы всегда принимаем с предубеждением в пользу описываемого человека анекдоты тех, кто о нем рассказывает. Мы знаем, что готовое остроумие окружающего мира подхватывало эти сиюминутные дела и превращало их в посмешище - тогда, как и сейчас. Мы сбрасываем со счетов "Иерусалимарию". Мы не вполне верим, что Бибул никогда не выходил из дома, когда в нем можно было увидеть врага; но мы считаем, что от человека можно ожидать правды о себе; во всяком случае, неправды против себя. Мы считаем, что Цицерону, как никому другому, можно это поручить - Цицерону, который так хорошо понимал, как использовать слова, и так ловко применял их в свою защиту. Я утверждаю, что именно эта ловкость и принесла ему вред. Ни одно из писем последних лет не было бы написано так, как оно написано сейчас, если бы Цицерон, когда писал его, подумал, что по нему будут судить о его поведении через две тысячи лет. "Нет, - скажут мои читатели, - в этом их ценность; иначе они не были бы правдивы, как сейчас. Тогда мы не узнали бы его секретов". Я отвечаю: "Это трудная сделка: другие не заключают таких сделок на тех же условиях. Но, во всяком случае, будьте уверены, что вы правильно прочитали их: будьте уверены, что вы сделаете необходимые поправки. Не обвиняйте его в лживости, потому что во вторник он не сказал тех слов, которые произнес в понедельник. Помните от его имени обо всех временных недугах, которые свойственны человечеству. Могли ли вы, живя в Брундизиуме в летние месяцы, "когда вы с трудом переносили тяжесть солнца", [138](#) иметь при себе весь свой интеллект и всегда уметь выбирать слова?" Нет, конечно! Эти письма, если от них можно ожидать правды, должны быть прочитаны со всеми тонкими различиями, необходимыми для понимания душевного состояния, в котором они были написаны. Здесь его гнев кипит, и он горяч. Здесь им овладела нежность, любовь былых времен. Он слаб телом и изможден духом; он безнадежен, почти на грани отчаяния;

он блещет остроумием, он полон иронии, он нарочито загадочен - все это требует для своего прочтения Атикуса, который знал и его самого, и людей, среди которых он жил, и время, в которое происходили эти события. Кто сейчас может прочитать их так точно, чтобы расшифровать каждую задуманную деталь? И тут появляется критик, который даже не пытается их прочесть, который торопливо просматривает их в свете какого-то предвешенного вывода и, упустив момент, на который тонко нацелился писатель, говорит нам о какой-то цели, в которой он был совершенно невиновен! Поскольку он шутит насчет авгурства, нам говорят, как жалок он был и как готов был продать свою страну!

Весь прошлый год его, должно быть, терзали различные душевные муки. Правильно ли он поступил, присоединившись к Помпею, и правильно ли он поступил, порвав с помпеянами сразу после смерти Помпея? Рассматривая этот вопрос с совершенно далекой от него точки зрения, мы склонны сказать, что он поступил правильно в обоих случаях. Он не мог без предательства перейти на сторону Сезара, когда Сезар подошел к воротам Италии и, как бы взорвав трубу, потребовал консульства, триумфа, использования своих легионов и сохранения военной мощи. "Пусть Помпей положит свое, а я положу свое", - сказал он. Если бы Помпей умерил свой пыл, то и Помпею, и Цицерону, и Катону, и Бруту, и Бибулу пришлось бы идти по пятам за Цезарем. Когда Помпей заявил, что будет оспаривать это место, он заявил за всех. Цицерон был обязан отправиться в Фарсалию. Но когда из-за некомпетентности Помпея победителем стал Цезарь; Когда Помпей пал у Нила, а все любители рыбных прудов, несговорчивые олигархи и головорезы империи, каковым стал молодой Помпей, разбежались в разные стороны, одни в Азию, другие в Иллирик, третьи в Испанию, четвертые в Африку - как стадо оленей, когда среди них появляется огромная гончая, из пасти которой уже капает кровь, - должен ли был Цицерон принять участие в битве с кем-либо из них? Я считаю, что он поступил так, как требовало достоинство, а также мужество. Он вернулся в Италию и стал ждать, когда придет завоеватель.

Должно быть, это было очень горько. В том, чтобы никогда не стать великим, нет ничего горького для благородного духа. Какое значение имеет для неизвестного человека, кто стоит во главе всего - Сезар или Помпей? А если это имеет значение - а ведь вопрос о правлении имеет значение для каждого человека, у которого есть душа внутри него, чтобы быть повернутым в ту или иную сторону, - то в какую сторону он повернут, хотя может быть внутреннее сожаление, что Сезар должен стать тираном, возможно, более острое сожаление, если бы правда была всем видна, что руки Помпея должны быть неподвластны, но кто их видит? Я могу идти в свой клуб с незамутненным челом или, если только меня не возбудит до глупого гнева гордыня какого-нибудь столь же тщеславного человека, могу наслаждаться празднествами этого часа. Для меня это всего лишь небольшое дело. Если мне выпало сделать что-то, я сделаю все, что в моих силах, и на этом все закончится. Нет ни чувства ответственности, ни тяжкого груза от того, что я пытался, но не смог управлять человечеством. Но я стремился занять высокое место; я с бесконечным почётом восседал на самом высоком месте; меня называли другие и, что ещё хуже, я сам называл себя спасителем своей страны; Верить в себя, что меня достаточно, что я один могу это сделать, что я могу вернуть своей справедливостью и честностью моих заблуждающихся соотечественников к их прежней простоте, и затем обнаружить себя прикованным к маленькому городку в Италии в ожидании великого завоевателя, который, хотя и был моим другом в общественных делах, был противен мне душой и телом в том, что касается правил жизни - это, я говорю, должно быть, было выше горечи смерти.

За этот год он ознакомился с подробностями того дела, каким бы оно ни было, которое привело к его разводу вскоре после возвращения в Рим. Он прожил с женой около тридцати

лет, и это дело не могло не стать для него причиной большого несчастья. Теренция была не только матерью его детей, но и свидетельницей его жизненного взлета и спутницей падения. Он был из тех, кто по природе своей должен был научиться любить тех, с кем общался. Похоже, он перенесся из своего времени в те образы мышления, которые дошли до нас вместе с христианством, и разрыв с этой женщиной после стольких лет общения, должно быть, очень тяготил его. Все женатые римляне разводились как само собой разумеющееся. Причин было много. Молодая жена больше соответствует вкусу мужчины, чем старая. Богатая жена более услужлива, чем бедная. Новая жена - это новизна. Незнакомая жена возбуждает. Маленькая жена - облегчение для того, кто обременен плотью; пышная жена - для того, кто устал от чистоты духа. Ксантиппа требует слишком многого, а Гризельда слишком спокойна. А потом, по мере того как человек поднимался в мире, поводов для развода становилось все больше, даже не нужно было искать недостатки. Сезар требовал, чтобы о его жене не говорили плохо, и поэтому развелся с ней. Помпей скрепил Триумvirат разводом. Мы не можем не представить, что, когда у мужчин было так много лучшего в делах жизни, женщине всегда было хуже всего в этих вынужденных разлуках. Но как ветер умиряет остриженного ягненка, так и разводы стали приемлемы для римских дам. Ни одна женщина не была опозорена разводом, и те, кто по капризу момента отдавался мужьям в другие объятия, обычно находили утешение. Теренции, когда она развелась с Цицероном, было не меньше пятидесяти, и нам рассказывают, что после разрыва с Цицероном она удостоилась огромной чести выйти замуж за Саллюстия. Говорят, что после смерти Саллюстия она еще дважды выходила замуж и, прожив почти все царствование Августа, в конце концов умерла в возрасте ста трех лет. Развод, во всяком случае, не убил ее. Но нельзя не предположить, что столь внезапное разрушение всех жизненных уз должно было огорчить Цицерона. В следующей главе мы увидим, как он женится на юной подопечной, а затем тоже разводится с ней; здесь же нам предстоит разобраться лишь с мучениями, которые причинила ему Теренция. Что это были за муки, мы не знаем и никогда не узнаем, если только случайно не всплывут утраченные письма Аттикуса. Но общая идея заключается в том, что эта дама в союзе с вольноотпущенником и управляющим, находящимся у нее на службе, совершила мошенничество против своего мужа. Не думаю, что у нас есть повод сетовать на то, что не удалось выяснить правду. Печально обнаружить, что великие люди, с чьим именем мы связаны, стали объектом тех "плетей и презрений времени", которые мы считали свойственными себе, потому что они жалили нас. Теренция, жена Цицерона две тысячи лет назад, прислала ему известие, что у него дома в шкатулке осталось всего 100 фунтов стерлингов, хотя он сам прекрасно понимал, что должно быть что-то большее. И это бы пропало даром, если бы до этого не было других вещей, многих других вещей. И вот, несмотря на то что он приказал ей приготовить ванны и разные вещи для своих друзей в Тускулуме, через очень короткое время после возвращения туда он развелся с ней.

В течение этого последнего года он занимался тем, что, как выяснилось впоследствии, стало настоящим делом его жизни. Он уже много писал, но писал как человек, который стремился заполнить свободные промежутки времени, когда они появлялись на его пути. С этого времени он писал как человек, примилившийся с тем, что больше нельзя терять дни, если он намерен до захода солнца выполнить поставленную задачу. К тому времени он уже составил "De Oratore", "De Republica" и "De Legibus". Из множества трактатов, дошедших до нас из рук Цицерона, именно эти известны как произведения его ранних лет. Он начал год с исследования "De Optimo Genere Oratorum", которое он предназначал в качестве предисловия к переводам, которые он сделал из великих речей Эсхина и Демосфена, "De Corona". Эти переводы утрачены, но предисловие сохранилось. Затем он перевел или, скорее, перефразировал "Тимей" Платона, большая часть которого дошла до нас, и "Протагор", из которого мы потеряли все, кроме одного-двух предложений. У нас есть его

"Ораторские разборы", в которых в диалоге между ним и его сыном он повторяет уроки ораторского искусства, которые он давал юноше. Короче говоря, это пересказ всего, что было сказано на тему, которая с тех пор стала общепринятой и которая обязана своим происхождением работам гораздо более ранних лет. Это скучное чтение, но я могу представить, что даже в наши дни оно может быть полезным для молодого юриста. Среди этих наставлений есть циничное, заслуживающее внимания : "Cito enim arescit lachryma praesertim in alienis malis"; [139](#) и еще одно грандиозно простое: "Nihil enim est aliud eloquentia nisi copiose loquens sapientia". Можно ли представить себе что-нибудь более язвительное, чем мысль о том, что слезы, вызванные чужими бедами, скоро высохнут на щеке оратора, или более мудрое, чем то, что говорит нам, что красноречие - это не более чем мудрость, говорящая красноречиво? Затем он написал шесть "Парадоксов", адресованных Бруту, - или, скорее, подарил их миру, поскольку они, несомненно, были написаны раньше. Это короткие трактаты на банальные темы, изложенные красивым языком, чтобы привлечь внимание всех читателей неразумностью своих рассуждений. Наиболее примечательным является третий, в котором он пытается показать, что человек не может быть мудрым, если он не всеведущ, - доктрина, которую он полностью опровергает в своей De Amicitia, написанной всего четыре года спустя. Цицерон хорошо знал, что является истиной, и написал свой парадокс, чтобы придать изюминку теме. В четвертой и шестой частях содержатся нападки на Хлодия и Красса, которые здесь переиздаются в самом дурном вкусе на фоне вежливости нашего времени. Сейчас человек может ненавидеть и говорить об этом, пока его враг еще жив и силен; но у римлян он мог продолжать ненавидеть и переиздавать написанные им слова через восемь лет после смерти своей жертвы.

Я не знаю ничего такого у Цицерона, что так сильно заставляло бы нас вспомнить о борьбе современных авторов за то, чтобы извлечь максимум пользы из каждого слова, которое от них исходит, как эти парадоксы. Они напоминают какого-нибудь автора передовых статей, который собирает небольшую пачку эссе, а затем дарит их миру. Каждое из них в свое время принесло пользу, но этого недостаточно для его амбиций; поэтому их вытаскивают на свет и выдвигают с отдельной претензией на внимание, как будто они могут хорошо стоять на своих собственных ногах. Но они не могут стоять сами по себе и падают от того, что их поставили не в то положение, для которого они предназначались при написании.

Глава VII.

МАРЦЕЛЛ, ЛИГАРИЙ И ДЕЮТАР.

до н. э. 46, ætat. 61.

Весной этого года произошла битва при Фапсе в Африке, и Катон с истинно стоическим спокойствием уничтожил себя, решив не жить под властью Сезара. Если верить истории, которую, вероятно, передал нам Гирций в своем рассказе о гражданской войне в Африке и которая дошла до нас вместе с "Комментариями" Сезара, Катон оставил свои последние наставления некоторым из своих офицеров, а затем взял свой меч и закололся. Цицерон, который в своем сне о Сципионе дал своим читателям такой прекрасный совет относительно самоубийства, понял, что Катон должен быть удостоен похвалы за то, что действовал в соответствии со своими принципами. Он скорее умрет, чем увидит лицо поработившего его

тирана.¹⁴⁰ Для Катона не было ничего страшного в том, чтобы оставить другим бремя жизни при Сезаре; но для него самого мысль о начальнике вызвала нестерпимую обиду. С "Catonis nobile letum" примирились поэты всех веков. Люди, правда, отказывались видеть, что он бежал от опасности, которая, как ему казалось, была слишком велика для него, и что при этом ему не хватало мужества мужчины. Многие другие римляне того времени поступали так же, но ни один из них не удостоился такой чести, какая была оказана Катону.

Цицерон чувствовал себя так же, как и другие, и позволил всем своим маленьким завистникам утихнуть. Совсем недавно Катон проголосовал против постановления сената о предоставлении Цицерону "прощения". Цицерон был тогда сильно раздосадован; но теперь Катон погиб, сражаясь за Республику, и ему должны были простить все личные обиды. Цицерон написал панегирик Катону, который был известен под именем "Катон" и долго обсуждался в Риме в то время. Сейчас она утеряна. Он послал ее Сезарю, дерзнув сказать в ней все, что пришло ему в голову, в похвалу Катону. Мы можем представить, что, если бы ему не было угодно быть великодушным - если бы им не руководило то чувство "De mortuis nil nisi bonum", которое сейчас свойственно всем нам, - он мог бы сказать много нехорошего. Катон старался жить по самым строгим правилам стоиков - образ жизни, совершенно противоположный взглядам Цицерона. Но мы знаем, что он в полной мере восхвалял Катона, и мы также знаем, что Цезарь благородно принял похвалу, как исходящую от Цицерона, и ответил на нее в "Анти-Катоне", в котором изложил причины своего расхождения с Цицероном. Мы можем понять, как Цезарь должен был показать, что жесткий стоик не был человеком, способным служить своей стране.

В этот период возник популярный среди римских "оптиматов" вопрос о возвращении Марцелла. Вспомним человека из Комо, которого Марцелл выпорол, - римского гражданина, которого первым сделал гражданином Цезарь. Это упоминается сейчас не как причина вражды Цезаря, который, вероятно, не слишком заботился о своем гражданине, а как свидетельство духа этого человека. Он, Марцелл, был консулом четыре года назад, в 51 году до н. э., и тогда же попытался добиться отзыва Цезаря из своей провинции. Он был одним из "оптиматов", олигархом, полностью противостоящим Цезарю, римским аристократом с довольно хорошей репутацией, который никогда не склонялся перед Цезарем, но твердо верил в его порядок и думал, пока не наступил день Фарсалии, что консулы и сенат будут править вечно. День Фарсалии действительно наступил, и Марцелл отправился в добровольное изгнание в Митилену. После Фарсалии милосердие Цезаря стало давать о себе знать. Почти для каждого римлянина, сражавшегося против него, было найдено прощение, и он согласился его принять. В груди Цезаря не горела искра гнева, за исключением одного или двух, одним из которых был Марцелл. Он был слишком мудр, чтобы гневаться на людей, чьи услуги могли ему понадобиться. Цезарь хотел не изгонять хороших людей, а побудить их остаться в Риме и жить по его милости. У Марцелла было много друзей, и, похоже, были предприняты публичные усилия, чтобы добиться для него разрешения вернуться в Рим. Надо полагать, что до сих пор Сезар отказывался, вероятно, желая сделать свою последнюю уступку еще более ценной. Наконец объединенные сенаторы решили просить его о милости, и консулы один за другим вставали на свои места, и все, за одним исключением,¹⁴¹ просили разрешить Марцеллу вернуться. Цицерон, однако, молчал до последнего. Я думаю, что был какой-то заговор, чтобы поставить Цицерона на ноги. Он отправился встречать Цезаря в Брундизий, когда тот возвращался с Востока, вернулся в Рим под его покровительством и жил в приятной дружбе с друзьями Цезаря. Помилование, похоже, далось Цицерону без особых усилий. Для него эта враждебная поездка в Диррахий -

ведь он не пошел дальше лагеря - не имела никакого значения для Сезара. Ему было позволено жить в мире, в Риме или на своих виллах, как ему заблагорассудится, до тех пор, пока будет править Сезар. По-видимому, предполагалось, что он постепенно вольется в число приверженцев Сезара. Но до сих пор он хранил молчание. Вот уже шесть лет, как его голос был слышен в Риме. Он выступал за Мило - или намеревался выступить - и, в рамках того же дела, за Мунатия Планка и за Сауфея, до 52 года. Тогда ему шел пятьдесят пятый год, и вполне возможно, что шестилетнее молчание в такой период его жизни не будет нарушено. Очевидно, что он намеревался больше не выступать, во всяком случае, в Сенате; хотя угрозы, высказанные им по поводу своей полной отставки, не следует воспринимать как нечто многозначительное. Подобные угрозы государственных деятелей обычно зависят от желания других людей. Но он сохранил свое место в сенате и иногда присутствовал на дебатах. Когда зашла речь о Марцелле, и все сенаторы консульского ранга, за исключением Волкатия и Цицерона, поднялись и в нескольких словах умоляли Сезара проявить великодушие; Когда Клавдий Марцелл преклонил колени у ног Цезаря, прося свободы для своего брата, а сам Цезарь, напомнив о горечи этого человека, все же заявил, что не может отказаться от молитв сената, тогда Цицерон, словно движимый великодушием завоевателя, поднялся со своего места и излил свою благодарность в речи, которая дошла до наших дней.

Так продолжалось до тех пор, пока не появился немецкий критик Вольф, который в начале нашего века заявил, что Цицерон не произносил приписываемых ему слов, да и не мог их произнести. По мнению Вольфа, было бы вопиющей ошибкой считать Цицерона способным использовать такие слова, которые не являются латинскими и, вероятно, были написаны каким-то невеждой во времена Тиберия. Такой вердикт мог бы быть воспринят как фатальный - ведь ученость и способности Вольфа к критике признаны - , несмотря на Ла Харпа, французского ученого и критика, который назвал "Марцелла" вещь превосходной, сравнив его с хвалебными речами Исократ. Похвала Ла Харпа предшествовала осуждению Вольфа, и мы могли бы с готовностью согласиться с немецким мнением, как более поздним и, вероятно, более точным. Мистер Лонг, британский редактор "Ораций" - мистер Лонг, который так громко осудил четыре речи, предположительно произнесенные после возвращения Цицерона из изгнания, - не дает нам никаких определенных указаний. Мистер Лонг, по крайней мере, , не был настолько отвратителен к тиберианской латыни, чтобы чувствовать себя обязанным отречься от нее. Если он может читать Pro Marcello, то и я могу, и ты, мой читатель, можешь сделать это, вероятно, без ущерба для себя. Но эти различия между великими филологами-критиками, как правило, заставляют нас, бесконечно менее сведущих, лучше довольствоваться собственным жребием. Я, прочитавший "Pro Marcello", не спотыкаясь о его нестройную латынь, должен был чувствовать себя раздавленным, когда после этого наткнулся на обличения Вольфа, если бы меня несколько не утешил Ла Харп. Но когда я обнаружил, что мистер Лонг в своем предисловии к произведению, хотя и обсуждает доктрину Вольфа, все же отдает оратору преимущество, как бы говоря, своего "импримату", я почувствовал, что могу продолжать, и мне не будет стыдно за себя.¹⁴²

Вот такая история с речью Про Марчелло. В то время дело закончилось весьма трагично. Как только Цезарь уступил, Цицерон написал Марцеллу письмо, в котором изложил веские причины для возвращения домой. Марцелл ответил ему, что это невозможно. Он коротко благодарит Цицерона, но с любезным достоинством отказывается. "С городскими удобствами я вполне могу обойтись", - говорит он.¹⁴³ Тогда Цицерон снова и снова уговаривает его, приводя прекрасные аргументы в пользу его возвращения, которые в конце концов одерживают верх. Весной следующего года Марцелл, возвращаясь в Рим, заезжает в Афины. Там Сервий Сульпиций проводит с ним день, но, когда Сульпиций собирается уходить, к нему приходит раб и сообщает, что Марцелл убит. Его друг Магий Хило зарезал его

ночью, а затем покончил с собой. Говорили, что Хило попросил Марцелла заплатить за него долги, а Марцелл отказался. Кажется более вероятным, что у Хило были свои причины, по которым он не захотел, чтобы его друг вернулся в Рим.

Вспоминая мои собственные заметки об этой речи - у нас она заняла бы не более десяти минут после обеда, - я вижу, что в ней говорится, "что она в первую очередь примечательна красотой языка и презрением к похвалам Сезару". Это было до того, как я услышал о Вульфе. Что касается похвалы, то я сомневаюсь, следует ли называть ее презрительной, учитывая чувства момента, в который она была произнесена. Цицерон поднялся, чтобы поблагодарить Сезара, от дыхания которого зависел отзыв Марцелла, за его неожиданную любезность. В Англии мы не стали бы благодарить Сезара так, как это сделал Цицерон: "О Сезар, нет такого потока красноречия, нет такой силы языка или пера, нет такого богатства слов, которые могли бы украсить или даже тускло рассказать о твоих великих делах".¹⁴⁴ Такой язык необычен для нас - как необычно было бы оскорблять наших Пизонов и Ватиниев, как это делал Цицерон. Это был южанин и римлянин, который говорил с южанами и с римлянами. Но, несомненно, Цицерону пришла в голову мысль сказать слова, которые Цезарь мог бы принять с удовольствием. Он был диктатором, императором, повелителем всего сущего - королем. Цицерону следовало бы держаться в стороне, как это сделал Марцелл, если бы он не был готов говорить в таком духе. Он долго воздерживался от речей. И вот настал момент, когда он оказался в ловушке и был вынужден говорить.

b.c. 46, ætat. 61.

Молчание было нарушено, и осенью он выступил от имени Лигария, умоляя завоевателя вновь проявить милосердие. Этот случай ни в коем случае не был похож на случай Марцелла, который был изгнан без прямого лишения права жить в Италии, но который изгнал себя сам. В этом случае Лигарий был изгнан вместе с другими; но, похоже, наказание было применено к нему не по особой недоброжелательности Цезаря, а злобе некоторых врагов, которые вместе с Лигарием оказались среди сторонников Помпея, когда Цезарь перешел Рубикон. В это время Лигарий был оставлен исполняющим обязанности губернатора в Африке. В смятении времен в Африку прибыл несчастный помпеянец по имени Вар, которому Лигарий, как более высокому по рангу, передал управление. Тогда Вар уехал, оставив Лигария исполнять обязанности, а некто Туберо пришел со своим сыном и потребовал должность. Лигарий отказался отдать его, и оба Тубероса в гневе покинули провинцию и сразились при Фарсале. После битвы они заключили мир с Сезаром, а Лигарий в ходе последовавшей за этим драки был изгнан. Теперь дело передали в суд, судьей которого был сам Цезарь. Младший Туберон обвинял Лигария, а Цицерон защищал его. Похоже, что, будучи соблазненным открыть рот в защиту Марцелла, он снова оказался втянут в общественную жизнь. Но как сильно он отличался от прежней жизни! Теперь он обращается не к Судиям, не к *Patres Conscripti*, не к Квиритам, решив силой своего красноречия преодолеть сопротивление упрямых умов, а к Сезару, которого он должен победить просто похвалой. И снова он делает то же самое, когда обращается к Дейотару, царю Галатии, и невозможно отрицать, читая эти фразы, что оратор падает в нашем уважении. Мы не столько считаем его маленьким, сколько считаем, что он перестал быть великим. Он начинает свою речь в защиту Лигария со слов: "Мой родственник Туберо донес тебе, о Сезар, о новом преступлении, о котором до сих пор не было слышно, - о том, что Лигарий был в Африке".¹⁴⁵ Это начало было бы вполне счастливым, если бы не было обращено к Сезару; ведь он обращался к судье, не назначенному никакой формой, а самозванному - судье военного завоевания. Мы не можем представить, как Сезар нашел время, чтобы сидеть здесь, когда вокруг него стояли легионы, а Испания еще не была полностью завоевана. Но он сделал это и позволил склонить себя на

сторону милосердия. Лигарий вернулся в Рим и был одним из тех, кто вонзил в него свои кинжалы. Но я не думаю, что это испытание и милосердие Цезаря помешали ему сделать такой шаг, если не сказать больше. Брут и Кассий также закололи его. Вопрос, который предстоит решить, заключается в том, были ли эти люди оправданы, убив его на общественных основаниях, - вопрос, по которому я преждевременно высказываю здесь свое мнение.

В этой оратории есть несколько прекрасных отрывков. "Кто, спрашивается, - говорит он, - утверждает, что Лигарий был виноват, потому что находился в Африке? Это делает тот, кто сам очень хотел там побывать, а теперь жалуется, что Лигарий отказал ему в приеме, тот, кто был в оружии против Сезара. Что делал твой меч, Туберо, в той фарсалийской армии? Кого ты хотел убить? В чем смысл твоего оружия? Чего ты так страстно желал, с такими глазами и руками, с такой страстью в сердце? Я слишком на него нажимаю; кажется, молодой человек встревожен. Тогда я расскажу о себе, ведь я тоже был в той армии". ¹⁴⁶ Это было в присутствии Сезара и, несомненно, рассказано вместе с Сезаром. Мы все были вместе в одном деле - ты, я и Лигарий. Почему ты и я должны быть помилованы, а Лигарий - нет? Ораторская речь по большей части носит просто хвалебный характер. Во всяком случае, она имела успех и стала в Риме, для того времени, чрезвычайно популярной. В начале следующего года он пишет о ней Аттику, который настоятельно просил его перед публикацией внести в нее что-нибудь, чтобы смягчить настроения против Туберона. В своем ответе Аттику Цицерон говорит, что копии уже были переданы публике и что, действительно, он не беспокоится за Туберона.

В начале этого года он развелся с Теренцией и, кажется, однажды женился на Публилии. Публилия была его подопечной и, как предполагается, имела собственное состояние. Он очень четко объясняет свои мотивы в письме к своему другу Планцию. В эти жалкие времена он не стал бы заключать новых соглашений, если бы его собственные дела не были столь же печальны для него, как и дела Республики; но когда он обнаружил, что те, для кого его процветание должно было быть самым важным, замышляют против него в его собственных стенах, он был вынужден укрепить себя против вероломства своих старых соратников, доверившись новым. ¹⁴⁷ Должно быть, ему было очень плохо, когда он прибег к такому шагу, как этот. Вскоре после написания только что процитированного письма он развелся и с Публилией - как нам сообщили, из-за того, что Публилия неуважительно обращалась с Туллием. У нас нет подробностей на этот счет, но мы вполне можем понять гордость молодой женщины, которая не желала слышать постоянных похвал в адрес своей падчерицы и считала себя ничуть не хуже Туллии. Во всяком случае, ее быстро отослали из нового дома, и она пробыла там достаточно долго, чтобы стать не самым примечательным эпизодом в жизни Цицерона.

В это время Долабелла, занявший пост консула после смерти Цезаря, и Гиртий, ставший консулом в следующем году, посещали Цицерона и брали у него уроки ораторского искусства. Так, по крайней мере, рассказывается в письме, написанном в этом году его другу Питусу; но я полагаю, что уроки были не слишком серьезными. "Зачем ты говоришь со мной о своей тунцовой рыбе, о рыбе-лоцмане, о сыре и сардинах? Гиртий и Долабелла председательствуют на моих пирах, а я в свою очередь учу их произносить речи". ¹⁴⁸ Из этого мы можем узнать, что друзья Цезаря очень хотели быть друзьями Цицерона. Можно сказать, что Долабелла был его зятем, но Долабелла в этот момент находился накануне развода. Несмотря на его брак, Долабелла все еще цеплялась за Цицерона. Все друзья Цезаря в Риме делали то же самое, так что я склонен думать, что в течение этого года, как раз до смерти Туллия, он впал не в счастливое состояние, а в пассивное довольство тех, кто

подчиняется одному господину. Он боролся всю жизнь, а теперь, обнаружив, что должен уступить, решил, что лучше сделать это изящно. Гораздо легче было выслушивать государственные тайны от Бальбуса, узнавать от Оппия, как тратятся деньги, а потом обедать с Гирцием или Долабеллой, чем сидеть вечно хмурым дома, как это делал бы Катон, если бы был жив. Но как грустно было ему, когда в душе он переживал за Республику! Катона уже не было, Помпея и Бибула тоже; Марцелл либо ушел, либо вот-вот уйдет. Старость подкрадывалась. Лучше было писать философию в дружбе с друзьями Сезара, чем снова быть изгнанным туда, где он не мог ее писать. Много, без сомнения, он сделал, готовясь к тем трактатам, которые должны были появиться в течение следующих восемнадцати месяцев.

В конце года, в 46 г. до н. э., Цезарь был вновь призван в Испанию, чтобы подавить последние метания помпеянцев, а затем принять участие в последней битве при Мунде. Нам показалось бы странным, что Цицерон так мало сказал о таком событии, и что это малое зависит от воспитания его сына, если бы не то, что если мы посмотрим на наши собственные частные письма, написанные сегодня нашим друзьям, то обнаружим такое же упущение великих событий. Для Цицерона дела его сына имели более непосредственное значение, чем дела Цезаря. Мальчик хотел поступить на военную службу в Испанию. Квинт, его двоюродный брат, уехал, и юному Марку хотелось пощеголять перьями под взглядами царственных особ. В его возрасте для него не имело значения, что его забрали в Фарсалию и заставили носить оружие на противоположной стороне. С тех пор как он научился формировать свое мнение о политике, на стороне Сезара стал Сезар, и все дела казались светлыми и процветающими. Мальчику очень хотелось уехать от новой мачехи, и попросил у отца средства, чтобы отправиться с армией в Испанию. Из письма Цицерона к Аттику по этому поводу¹⁴⁹ следует, что, обсудив этот вопрос с сыном, он все же уступил. Эти римские отцы, в руках которых, как нам говорят, находились жизни их сыновей, похоже, в своих поблажках были очень похожи на современных христианских отцов. Парню было уже девятнадцать лет, и, похоже, он не захотел при первой же родительской попытке отказаться от своих военных наделов и той чванливости молодого офицера, которая так дорога будущему военному. Цицерон говорит ему, что если он пойдет в армию, то найдет своего двоюродного брата, к которому будет относиться с большей благосклонностью, чем к себе. Юный Квинт был старше и уже успел кое-что сделать, чтобы продвинуться в друзьях Цезаря. "Sed tamen permisi" - "Тем не менее, я сказал ему, что он может идти", - печально сказал Цицерон. Но он не пошел. Вероятно, его соблазнили обещанием отдельного заведения в Афинах, куда он был отправлен учиться вместе с Кратиппом. Еще одно доказательство богатства Цицерона мы находим в том, как дорого обошлось хозяйство его сына в Афинах, как это было задумано отцом. Он должен жить так же, как и сыновья других знатных людей. Он даже называет имена молодых аристократов, с которыми ему предстоит жить. Бибул был из рода Кальпурниев, Ацидин - из рода Манлиев, а Мессала - из рода Валерианов, и именно этих людей Цицерон, "новый человек" из Арпинума, выбирает в качестве тех, кто не будет жить дороже его сына.¹⁵⁰ "Однако в Афинах ему не нужна будет лошадь". Почему? Почему бы столь обеспеченному юноше не захотеть лошадь в Афинах? "Дома их достаточно для дороги", - говорит Цицерон. Итак, молодого Цицерона обставили и отправили изучать философию и греческий язык. Но никто не попытался объяснить нам, почему ему не нужна лошадь. В Афинах дела у молодого Цицерона шли неважно. В следующем году он пишет домой, в Тиро, два письма, которые сохранились для нас, и которые, кажется, дают нам только плохой отчет, во всяком случае, о его искренности. "Ошибки его юности", - говорит он, - "тяжело ранили его". Его разум не только потрясен, но и уши не могут смириться с тем, что он слышит о своем собственном беззаконии.¹⁵¹ "А теперь, - говорит он, - я доставлю тебе двойную радость, чтобы возместить все тревоги, которые я тебе причинил. Знай, что я живу с

Кратиппом, моим хозяином, скорее как сын, чем как ученик. Я провожу с ним все свои дни и очень часто часть ночи". Но, похоже, у него хватило ума. Тиро стал вольноотпущенником и купил себе ферму. Юный Маркус, у которого Тиро просит помощи, которую Маркус не может ему оказать, подшучивает над ним по поводу его деревенской жизни, рассказывая, что видит, как он спасает яблочные косточки на десерт. О дальнейших фактах из жизни молодого Маркуса нам известно немного. Он не пострадал в проскрипциях Антония и Августа, как его отец, дядя и двоюродный брат. Он дожил до того, что был избран консулом при Августе, и имел репутацию большого любителя выпить. Для этого последнего утверждения у нас есть только авторитет Плиния Старшего, который рассказывает нам абсурдную историю, среди чудес питания, которые он приводит.¹⁵² Миддлтон говорит пару слов от имени молодого Цицерона, которые заслуживают доверия, как и все остальное, что было сказано. Последний взгляд на него, которому мы можем доверять, содержится в письме к Тиро, которое, как мы признаем, кажется нам лицемерным.

b.c. 45, ætat. 62.

Весной этого года Цицерон потерял свою дочь Туллию. Сначала мы имеем его письмо к Лепту, человеку, с которым он сблизился, в котором он сообщает, что его задержало в Риме заключение Туллии, и что теперь он все еще задержан, хотя ее здоровье достаточно подтверждено, ожиданием получить от агентов Долабеллы первый возврат ее приданого. Выплата супружеской доли разведенной дамы была в Риме делом обычным, когда ей разрешалось забрать столько, сколько она принесла с собой. Цицерону, однако, не удалось вернуть приданое Туллии. Но он пишет в хорошем настроении. Он не думает больше путешествовать. В Риме у него дом лучше, чем любая из его вилл в стране, и отдых лучше, чем в самой пустынной местности. Его занятия теперь никогда не прерываются. Он считает вероятным, что Лепта должен прийти к нему, прежде чем его удастся убедить отправиться к Лепте. А пока пусть молодой Лепта займется собой и читает своего Гесиода.¹⁵³

Весной он пишет Аттику письмо из Антиохии, и мы впервые узнаем, что Туллия умерла. Казалось, она оправилась после родов, но сил не хватило, и ее больше нет.¹⁵⁴ Родился мальчик, и его оставили в живых. В последующих письмах мы узнаем, что Цицерон дает указания относительно него и говорит о том, что обеспечит его в своем завещании.¹⁵⁵ Но о ребенке мы больше ничего не слышим, и приходится предположить, что он тоже умер. О смерти Туллии у нас нет никаких подробностей, но мы можем предположить, что все беды мира были очень тяжелы для нее. Маленький незнакомец появился на свет в момент ее развода с третьим мужем. Ей было около тридцати двух лет, и, похоже, Цицерон утешался в своих несчастьях ожидаемым удовольствием от ее общения. Теперь она умерла, и он остался один.

Она умерла в феврале, и мы ничего не знаем о первой вспышке его горя. Оказывается, сначала он на некоторое время похоронил себя на вилле, принадлежавшей Аттику, недалеко от Рима, а затем удалился к себе в Астуру. Оттуда, а затем из Антиохии, пришло большое количество писем, посвященных одному и тому же вопросу. Он объявляет себя безутешным, но утешается двумя вещами - своими книгами по философии и идеей, которая пришла ему в голову, что он навсегда увековечит имя Туллия, воздвигнув памятник, который будет настолько бессмертным, насколько это возможно сделать из камней и кирпичей.

Его письма к Аттику в это время утомительны для широкого читателя, потому что он так часто повторяет свои указания относительно покупки сада под Римом, в котором должен быть построен памятник; но в то же время они трогательны и естественны. "Ничего не было написано, - говорит он, - для уменьшения скорби, чего бы я не читал в вашем доме; но моя

скорбь прорывается сквозь все это".¹⁵⁶ Затем он рассказывает Атиккусу, что тоже пытался утешить себя, написав трактат "Утешение". "Целыми днями я пишу, но толку от этого нет". В этом он был неправ. Он не мог найти лекарства от своего горя; но он знал, что постоянное занятие облегчит его, и поэтому он постоянно занимал себя. "Totos dies scribo". Поступая так, он умудрялся не разбить себе сердце. В одном из последующих писем он говорит: "Чтение и письмо не смягчают, а умерщвляют его".¹⁵⁷

На Аппиевой дороге, на небольшом расстоянии от Рима, путешественнику показывают живописное древнее здание огромной прочности, называемое Моле Сесилии Метеллы. По размерам она напоминает замок, но считается, что это была гробница, возведенная в память о Сесилии, дочери Метелла Кретика и жене Красса Богатого. История больше ничего не знает о ней, а достоверная история вряд ли знает так много об этом грандиозном памятнике. Тем не менее, он стоит и считается доказательством того, что можно было бы сделать для римской дамы, чтобы увековечить ее память. Она, во всяком случае, была старше Туллия, поскольку являлась женой человека старше отца Туллия. Если этот памятник относится к названной дате, то он, по крайней мере, доказывает нам, что идея возведения подобных монументов была распространена в то время. Идея подобного памятника, столь же грандиозного и столь же долговечного, похоже, прочно завладела умом Цицерона. Он прочитал всех авторов, которых смог найти по этому вопросу, и они сходятся во мнении, что все должно быть сделано так, как он указывает. По его словам, он не советуется с Атиком ни по этому вопросу, ни по поводу архитектуры, так как уже остановился на проекте некоего Клуация. Теперь он хочет, чтобы Атик помог ему купить место, на котором он будет построен. В окрестностях Рима названо множество садов. Если у Друза возникнут трудности, Атик должен обратиться к Дамасиппу. А еще есть те, что принадлежат Сику и Силиусу! Но в конце концов дело заглохло, и даже сады не были куплены. Мы можем предположить, что Атик с самого начала и до последнего был против памятника, и что огромные затраты на строительство такого храма, который задумывал Цицерон, показались ему неразумными. Есть очаровательное письмо, написанное ему в это время его другом Сульпицием, свидетельствующее о большом чувстве, которое он к нему питал. Но, как я уже говорил, я сомневаюсь, что эти или какие-либо другие утешительные фразы были ему полезны. Ему нужно было ждать и терпеть, и чем больше работы он делал, когда терпел, тем легче она переносилась. Луций и Торкват писали ему по тому же поводу, и у нас есть его ответы.

b.c. 45, ætat. 62.

В сентябре Цезарь вернулся из Испании, наконец-то завоевав Республику. Теперь вся надежда на свободу была потеряна. Атик побуждал Цицерона написать что-нибудь Сезарю о его победах - что-то, что должно быть комплиментарным и в то же время дружеским и знакомым; но Цицерон ответил, что это невозможно. "Когда я чувствую, - сказал он, - что вырвать дыхание жизни - это само по себе подло, насколько подлым было бы мое согласие с тем, что было сделано!"¹⁵⁸ Но дело не только в этом. Не существует слов, которыми можно было бы написать такое письмо. Разве вы не знаете, что Аристотель, обращаясь к Александру, писал к юноше, который был скромным; но потом, услышав, что его называют царем, он стал гордым, жестоким и необузданным? Как же я теперь напишу в выражениях, которых будет достаточно для его гордыни, чтобы человека, приравненного к Ромулу?" Это была правда; Сезарь вернулся, раздувшись от гордости настолько, что Брут, и Кассий, и Каска не могли больше его выносить. Он вернулся и торжествовал над пятью землями, в которых он покорил не врагов Рима, а сам Рим. Номинально он одержал победу над галлами, египтянами, понтийскими азиатами, африканцами и испанцами, но на самом деле его триумф был над Республикой. Суэтоний сообщает, что было пять отдельных триумфальных

шествий, каждое с интервалом в несколько дней. ¹⁵⁹ На фоне славы первого Верцингеторикс был задушен. К славе третьего были добавлены - как рассказывает Суетоний - эти слова: "Veni, vidi, vici", выведенные на знамени. Это я считаю более вероятным, чем то, что он написал их на официальной депеше. Нам говорят, что жители Рима не проявили никакого удовольствия, и что даже его собственные солдаты имели достаточно римского духа, чтобы почувствовать негодование по поводу того, что он принял на себя атрибуты короля. В своих письмах Цицерон почти не упоминает об этих торжественных мероприятиях. Он не видел их, но написал ответное письмо Аттику, который все это описал. "Нелепая пышность", - говорит он, ссылаясь на то, что изображение Сезара несли вместе с изображениями богов; и он аплодирует людям, которые не стали хлопать в ладоши даже в знак одобрения богини Победы, потому что она показала себя в такой плохой компании. ¹⁶⁰ Однако этой теме посвящено всего три строчки, показывающие, как мало в этом утверждении Корнелия Непоса, что тот, кто внимательно читал письма Цицерона, хотел лишь немного, чтобы быть хорошо осведомленным об истории того времени.

Сезар не был человеком, которого личная гордыня могла бы отвратить от цели править хорошо - мы должны сказать, что это менее вероятно, чем у любого самозваного деспота, о котором идет речь в истории. Он прилагал усилия, чтобы стать таким, каким был раньше. Он старался жить в дружбе со своими старыми друзьями, но дух гордости, овладевший им, был слишком велик для него. Власть овладела им, и он не мог ей противостоять. Печально было видеть, как она вынудила его стать жертвой заговорщиков, если бы не то, что из истории мы узнали, как невозможно, чтобы человек возвысился над своими соратниками и не пострадал.

b.c. 45, ætat. 62.

В эти дни Цицерон жил в деревне, предаваясь философским трудам и скорбя о Туллии. Неоднократно предпринимались попытки привезти его в Рим, и он с иронией говорит Аттику, что если он нужен там просто как авгур, то авгурам нечего делать в открытии храмов. В том же письме он рассказывает о только что состоявшейся беседе со своим племянником Квинтом, который пришел к нему в опале. Он хочет отправиться на парфянскую войну, но у него нет денег, чтобы содержать его. Тогда Цицерон использует, как он говорит, красноречие Аттика и удерживает свой язык. ¹⁶¹ Мы можем представить, насколько неприятной была эта беседа. Однако Цицерон решает, что отправится в город, чтобы Атик был с ним в день его рождения. Это письмо было написано ближе к концу года, а день рождения Цицерона приходился на 3 января.

Затем он отправляется в Рим и берется отстаивать перед Цезарем дело Дейотара, царя Галатии. Этот очень старый человек много лет назад вступил в союз с Помпеем и, насколько мы можем судить, был необычайно верен своему представлению о римской власти. Он видел Помпея во всей его славе, когда тот пришел сражаться с Митридатом. Тетрархам в Малой Азии, одним из которых был Дейотар, пришлось нелегко, когда к ним пришли римляне. Они были вынуждены либо подчиняться естественному стремлению сопротивляться угнетателям, либо обманывать своих подданных, чтобы удовлетворить корыстолюбие захватчиков. Вспомним Ариобарзанеса, который отправлял своих подданных бандами в Рим для продажи в рабство, чтобы выплатить Помпею проценты по его долгу. Дейотар тоже нашел свою лучшую защиту в верности Помпею, а в ответ получил должность царя Армении по указу римского сената. Он присоединился к Помпею при Фарсале, а когда битва закончилась, вернулся в свою страну, чтобы искать новые силы для помощи Республике. К несчастью для него, победителем оказался Сезар, и Дейотар оказался вынужден помогать завоевателю своими войсками. Похоже, что Сезар так и не простил ему дружбы с Помпеем. Он не был

римлянином и был недостоин прощения. Сезар отобрал у него царство Армении, но оставил его титулярным царем Галатии. Но об этой вражде знали и при дворе царя, и в его собственной семье. Сын его дочери, некто Кастор, желая погубить своего деда, выдвинул против царя обвинение. Сезар был вынужденным гостем царя во время его путешествия в поисках Фарнака и быстро прошел мимо. Теперь, когда война закончилась и Сезар вернулся из пяти покоренных стран, Кастор выступил со своим обвинением. Дейотар, по словам его внука, пытался убить Сезара, пока тот гостил у него. На таком расстоянии от места и времени мы не можем предположить, что точно знаем, каковы были обстоятельства; но, по-видимому, выслушать такое обвинение было ниже достоинства Сезара. Однако он все же сделал это и услышал не одну речь по этому поводу, произнесенную в пользу обвиняемого. Брут выступал от имени престарелого царя и говорил напрасно. Цицерон говорил не напрасно, так как Цезарь решил, что не будет выносить приговор, пока сам не побывает на Востоке и не наведет там дополнительные справки. На Восток он так и не вернулся, но старый царь дожил до того времени, когда снова стал воевать, и снова на проигравшей стороне. Он остался верен своей партии и встал в один ряд с Брутом и Кассием на поле Филипп.

Дело рассматривалось, если его можно назвать рассмотрением, в доме Сезара, в котором не могло быть много зрителей. Похоже, что Цезарь позволил Цицерону сказать то, что можно было сказать от имени его друга, а не как адвокату, который должен был отстаивать интересы своего клиента, чтобы никто не мог обвинить его, Цезаря, в жестокости при осуждении преступника. Речь, должно быть, заняла двадцать минут, и мы снова не можем понять, как Цезарь нашел время, чтобы ее выслушать. Цицерон заявляет, что чувствует трудность ведения речи в столь необычном месте - в домашних стенах частного дома, без привычных подпорок для ораторского искусства, которые можно найти в переполненном суде. "Но, - говорит он, - я покоюсь в мире, когда смотрю в твои глаза и созерцаю твой лик". Речь полна лести, но она обращена так ловко, что мы почти прощаем ее.¹⁶²

Есть отрывок, в котором Цицерон хвалит победителя за его известное милосердие в его победах - из него мы можем понять, как много думал Сезар о характере, которого он добился для себя в этом отношении. "Только о тебе, о Сезар, можно сказать, что никто не пал от твоей руки, кроме тех, кто умер с оружием в руках".¹⁶³ Все, кто был схвачен, были помилованы. Ни один человек не был предан смерти, когда закончилась абсолютная битва. Сезар дал четверть всем. Это современный, великодушный способ ведения войны. Когда в нашу страну вторгаются, и мы отгоняем захватчиков, мы не убиваем, если побеждаем, их главных людей. Тем более мы не убиваем и не калечим всех тех, кто пытался защитить свои дома, когда вторгаемся в страну. Очевидно, что Сезару есть чем похвастаться, и среди италийцев он заставил поверить в это. Цицерону было выгодно утверждать это в ушах Цезаря. Цезарь хотел, чтобы о его милосердии говорили люди его собственной страны. Но поскольку Цезарь хвастался, а Цицерон был снисходителен, потомкам не следует хвастаться и называть это правдой. За все, что есть великого в характере Цезаря, я готов отдать ему должное; но не за милосердие, не за какой-либо из тех божественных даров, прелесть которых в те дни только начинала осознаваться немногими, кто опережал свое время. В Риме все еще было принято, что "прощение" должно быть удовлетворено только тогда, когда на поле оставалось две тысячи врагов. В нас еще осталось что-то от языческой жестокости, когда мы посылаем триумфальные слова о количестве убитых на поле боя. Нельзя не вспомнить, что Цезарь убил весь сенат венетов, народа, жившего на побережье Бретани, и продал всех жителей в рабство, потому что они задержали гонцов, которых он отправил к ним во время своих войн в Галлии. "Gravius vindicandum statuit"¹⁶⁴ - "Он счел нужным наказать их несколько сурово". Поэтому он убил весь сенат и обратил в рабство весь народ. Это лишь один из примеров чудовищной жестокости, которую он совершал на протяжении всей своей войны в Галлии, -

жестокости настолько страшной, что мы содрогаемся, вспоминая страдания прошлых веков. Века прошли свой путь, и страдания уменьшились благодаря возросшей гуманности. Но мы не можем оставить комплимент Цицерона без внимания. "nemo nisi armatus" относилось к италийцам, причем к италийцам, надо полагать, высшего ранга, среди которых, для пущего драматизма, был поставлен Дейотар.

Это была последняя из случайных речей Цицерона. Близился конец года, и на мартовские иды суждено было умереть Сезарю. После этого на некоторое время наступило затишье, а затем Цицерон разразился тем, что я назвал его последним криком о свободе. Наступили Филиппики, а затем и конец. Эта речь, которую я записал как произнесенную Pro Rege Deiotaro, была последней, произнесенной им с частной целью. До этого он произнес сорок две речи, о которых уже кое-что было рассказано; Филиппики, о которых мне предстоит рассказать, - четырнадцать, так что общее число речей, которыми мы располагаем, составляет пятьдесят шесть. Но из тех, что произнес он сам, мы не имеем и половины, а из тех, что мы имеем, некоторые были объявлены великими критиками абсолютно поддельными. Возможно, великие критики были слишком строги к ним: все они были отшлифованы. Сам Цицерон был настолько озабочен своей будущей славой, что сам подготовил их к печати. Квинтилиан говорит нам, что Тиро адаптировал их.¹⁶⁵ После него их ретушировали другие, иногда, несомненно, делая их более гладкими и вычеркивая фрагменты, которые, естественно, стали бы непонятны последующим читателям. Мы знаем, что он сам сделал с "Мило". Другие книги впоследствии, возможно, подвергались более грубому обращению, но все же из любящих рук. Кусочки были утеряны, другие интерполированы, и таким образом до нас дошли те речи, которыми мы располагаем. Но мы достаточно знаем историю того времени и достаточно разбираемся в языке, чтобы признать их в целом подлинными. Великий критик, натолкнувшись на отрывок, против которого отталкивается сама его душа, по причине его неполной латинскости, поднимается в гнев и разрывает ораторию в клочья, пока она не перестает быть таковой. Один набор нежелательных слов он встречает за другим, пока все не покажется ему проклятым, и ораторская речь будет осуждена. Было хорошо все это упомянуть, потому что при рассмотрении этих ораций необходимо отметить, что каждое слово не может быть принято как произнесенное в том виде, в каком мы находим его напечатанным. Взятые в совокупности ли, мы можем принять их как потрясающий памятник человеческого красноречия и человеческой настойчивости.

b.c. 45, ætat. 62.

В конце года, 12-го числа до январских календ или 21 декабря, в Путеолах состоялся небольшой праздник, рассказ о котором нас интересует. Цицерон развлекал Сезара за ужином. Хотя дата указана выше, и хотя декабрь изначально должен был означать, как и у нас, зимний месяц, год, из-за отсутствия надлежащих знаний, вышел из строя, и теперь период приходится на октябрь. Изменения в календаре, внесенные при Сезаре, еще не были введены в употребление, и мы должны понимать, что речь идет об октябре, самом восхитительном месяце в году. Цицерон остановился на своей вилле в Путеолах, недалеко от Байи, на берегу моря - уголке мира, наиболее любимом всеми великими римлянами того времени для отдыха осенью.¹⁶⁶ Путеолы, как мы можем предположить, были столь же приятны, как и Байи, но менее модны и, если все, что мы слышали, правда, менее безнравственны. Здесь у Цицерона была одна из его вилл, и сюда, за несколько месяцев до его смерти, приезжал навестить его Цезарь. В нескольких строках, адресованных Аттику, он наглядно рассказывает об этом развлечении. Цезарь послал весть о своем приезде, так что Цицерон был к нему готов. Но владыка всего мира уже настолько явно стал владыкой, что

Цицерон не мог развлекать его без внутреннего трепета сердца, свойственного нам сейчас, когда какой-нибудь великий магнат может встретиться на нашем пути и потребовать гостеприимства на мгновение. Цицерон подшучивает над собственной заботой, но, тем не менее, мы знаем, что он ее почувствовал, когда на следующее утро послал Аттику отчет. Гость действительно был ему в тягость, но все же он не жалеет об этом, ведь гость вел себя так приятно! Следует заметить, что Цицерон якобы не трясся перед ним в обуви. Цицерон был консулом, и ему пришлось возглавить сенат в тот момент, когда Сезар, вероятно, стремился скрыться от него в качестве незамеченного заговорщика. С тех пор Сезар вырос, но лишь постепенно. Он не стал, как Август, "facile princeps". Он осознает свое могущество, но также понимает, что пренебрегать собственными знаниями ему не к лицу. И Цицерон также осознает это, но в то же время осознает номинальное равенство. Сезар сейчас диктатор, четыре раза был консулом и снова станет консулом в новом году. Но и другие римляне были диктаторами и консулами. Все это Сезар чувствует и показывает, что чувствует. Цицерон тоже это чувствует и старается, не совсем успешно, скрыть это.

Цезарь прибыл в сопровождении войск. Цицерон называет две тысячи человек - вероятно, наугад. Услышав, что они прибыли в окрестности, Цицерон ужасно встревожен, пока не приходит некий Барба Кассий, лейтенант, служивший у Цезаря, и не успокаивает его. Для людей разбили лагерь в поле, а для охраны виллы выставили караул. На следующий день, около часа дня, приезжает Сезар. Он поселился в доме некоего Филиппа и никого не пускает. Предполагается, что он ведет счеты с Бальбусом. Можно представить, как в это время кипели и тушились повара Цицерона. Затем великий человек сошел на берег моря. Рим был единственным признанным государством в мире. Остальные были провинциями Рима, а все остальные - отдаленными варварскими народами, которые вряд ли еще годились на роль римских провинций. А он теперь был повелителем Рима. Думал ли он об этом, прогуливаясь по берегу Путола, или о церемонии, с которой ему предстояло столкнуться, прежде чем съесть свой ужин? Он шел недолго, так как в два часа искупался и, не шелохнувшись, выслушал "ту историю о Мамурре". Обратитесь к своему Катутлу, 57-й эпиграмме, и прочтите, что читал ему Сезар по этому случаю, не выказывая на лице ни малейшего чувства. Она достаточно короткая, но я не могу процитировать ее даже в примечании, даже на латыни. Кто сообщил Сезару о нецензурных словах, и почему они были прочитаны ему по этому случаю? Он мало о них думал, так как простил автора и пригласил его потом на ужин. Полагаем, это было в бане. Затем у него была сиеста, а после нее "ἐμετίκην ἀγεβāt". Как римляне справлялись с повседневными делами и жили, для нас просто удивительно. Думаю, можно сказать, что Цицерон этого не практиковал. По этому случаю Сезар ел и пил обильно и с удовольствием. Все было хорошо организовано, и беседа была хорошей в своем роде, остроумной и приятной. Диван Сезара, похоже, находился в центре, а вокруг него за другими столами ужинали его вольноотпущенники и остальные члены его свиты. Все это было очень хорошо, но все же, говорит Цицерон, он не был таким гостем, которого можно было бы принять снова, не тем, кому можно было бы сказать: "Приходи еще, прошу тебя, когда вернешься этим путем". Одного раза было достаточно. О политике не говорили - ничего серьезного. Сезар уже начал понимать, что Цицерона нельзя использовать в политике. Он попробовал и отказался от этой затеи. Предметом разговора стала филология - наука о литературе и языках. Сезар умел говорить о литературе не хуже Цицерона, и он направил разговор в это русло. Цицерон оказался способным и принял желаемое участие, так что вторая половина дня прошла приятно, но все же с легким чувством, что он рад, когда его гость ушел.¹⁶⁷

Уезжая, Цезарь заявил, что один день проведет в Путолах, а другой - в Байе. У Долабеллы в тех краях была вилла, и Цицерон знает, что, проезжая мимо дома Долабеллы, Цезарь ехал в

окружении солдат, как бы это сказать, в штате, но нигде больше он так не делал. Он уже обещал Долабелле консульство.

Был ли Цицерон подл в своем поведении по отношению к Сезару? До этого момента в нем не было ничего подлого, кроме той римской лести, которая была просто римскими хорошими манерами. Он противостоял ему в Фарсалии - точнее, в Македонии. Он переправился через воду - не для того, чтобы сражаться, ибо он не был боевым человеком, а чтобы показать, на чьей стороне он находится. Он сделал это, не веря Помпею, но будучи убежден, что его долг - дать понять всем людям, что он против Сезара. Он сопротивлялся всем попыткам Сезара купить его услуги. Ни с Помпеем, ни с Сезаром он не соглашался. Но с первым - хотя он и опасался, что в случае его победы возникнет второй Сулла - в нем было что-то от старой Республики. Тогда можно было что-то предпринять, чтобы сохранить правительство в прежнем виде. Сезар продемонстрировал свое намерение стать повелителем всех, и Цицерон не мог к этому отнестись с пониманием. Сезар видел свое положение и уважал его. Он не хотел ничего делать, чтобы изгнать такого человека из Рима. В этих условиях Цицерон согласился жить в Риме или по соседству и стал литератором. Следует помнить, что до мартовских идов он не слышал ни о каком заговоре. Два человека, Цезарь и Цицерон, договорились не расходиться и при встрече говорили о филологии. В его поведении, как мне кажется, не было ничего подлого.

Глава VIII.

СМЕРТЬ ЦИЦЕРОНА.

44 г. до н. э., эт. 63.

После званого обеда в ПUTEОЛАХ, описанного в предыдущей главе, Цицерон приехал в Рим и занялся литературным трудом. Теперь Сезар был хозяином и повелителем всего. В январе Цицерон написал своему другу Куриону и с отвращением рассказал ему о том, что на выборах квесторов творилось безобразие. Поставили пустой стул и объявили его стулом консула. Затем его убрали, поставили другой стул и объявили другого консула. До конца консульского года оставалось несколько часов, но не менее важным был назначен новый консул Каниний, "который не спал во время своего консульства", продолжавшегося с середины дня до вечера. "Если бы ты увидел все это, то не преминул бы прослезиться", - говорит Цицерон!¹⁶⁸ После этого он, кажется, оправился от горя. У нас есть переписка с Пьетом, которая всегда характеризуется веселостью духа. В ней идет дискуссия, от которой мы имеем лишь одну сторону, о "двойных смыслах" и просторечии. Пиет отстаивал правомерность называть лопату лопатой, а Цицерон показывает ему несообразность. Затем мы неожиданно сталкиваемся с его письмом к Аттику, написанным 7 апреля, через три недели после падения Цезаря.

Моммзен пытается объяснить намерение Цезаря принять имена, которыми он решил называться, и принять те, которые, без его выбора, были навязаны ему.¹⁶⁹ Он сделал это, возможно, с излишней точностью, но он оставляет в нашем сознании верное представление о решении, которое принял Сезар, чтобы быть царем, императором, диктатором или кем-то еще, прежде чем он отправился в Македонию, до 49 г.¹⁷⁰ , и о нежелании, которое сразу же подвигло его провозгласить себя тираном. Диктатор - это титул, который он сначала принял,

как временный, римский и в некоторой степени обычный. Он был диктатором на неопределенный срок, ежегодно в течение десяти лет, а когда умер, был назначен пожизненным диктатором. Последние два года он уже носил пожизненный титул "император", но этого титула, который, как мне кажется, звучал в ушах людей как военный, хотя, как говорит Моммзен, мог подразумевать и гражданское правление, было недостаточно, чтобы донести до людей все, что им было необходимо понять. Пока не наступил момент триумфа, пока "Veni, vidi, vici" не прозвучало в глазах Рима, пока Сезар, хотя и стыдился называть себя царем, не согласился на союз с богами, Брут, Кассий и другие, шестьдесят человек, которые, как нам говорят, стали заговорщиками, вряд ли осознали, что Республике пришел конец. Для них наступило горькое время, но оно было смягчено личным расположением победителя. Но теперь, постепенно, правда заявляла о себе, и заговор был сформирован. Я склонен думать, что Шекспир был прав в своей концепции заговора. "Я боюсь, что народ выберет Сезара своим царем", - говорит Брут. "Я бы предпочел не быть, а жить, чтобы трепетать перед таким существом, как я сам", - говорит Кассий.¹⁷¹ До них дошло, что царем должен стать Сезар, и поэтому они сговорились.

В нынешнюю эпоху было бы непросто рекомендовать моим читателям убийц Сезара как честных, преданных политиков, которые в трудную минуту сделали для своей страны лучшее, что могли позволить обстоятельства. За последние две тысячи лет отношение мира к убийству настолько изменилось, что люди, которым мешает ощущение того, что в настоящее время является одиозным, отказываются вернуться в то состояние вещей, знание о котором могло прийти к ним только из книг. Они измеряют события индивидуально, по нынешней шкале, и отказываются видеть, что Брут должен быть оценен нами сейчас в соответствии с тем суждением, которое было сформировано о нем тогда. В эпоху, когда считалось мудрым и уместным уничтожить знатных людей варварской общины, которая защищала себя, а всех остальных продать в рабство, так что преступник просто записывал совершенное им действие как необходимое, разве могло быть низменным убийство тирана? Считали ли его низменным другие римляне того времени? Приводили ли этот довод даже друзья Цезаря, или все они не признавали, что "Брут был благородным человеком", даже когда они достаточно собрались, чтобы смотреть на него как на врага? Из писем Цицерона явствует, что никто и не мечтал относиться к ним так, как мы относимся к убийцам сейчас, и не говорил о смерти Цезаря так, как мы смотрим на убийство. "Должны ли мы защищать деяния того, чьей смерти мы радуемся?" - говорит он; и снова он осуждает чувство сожаления, которое росло в Риме из-за смерти Цезаря, "чтобы оно не стало опасным для тех, кто убил тирана за нас".¹⁷² Мы видим, что Квинтилиан, среди своих основных уроков ораторского искусства, постоянно ссылается на старое устоявшееся правило, что человек, убивший тирана, совершил хороший поступок - урок, который он перенял от греческих учителей.¹⁷³ Поэтому мы обязаны принять это убийство как поступок, достойный похвалы в свете эпохи, в которую оно было совершено, и признать тот факт, что люди того времени так к нему относились.

Нам говорят, что Цицерон "ненавидел" Цезаря. На самом деле не было такой ненависти, как подразумевается под этим словом. Нам рассказывают об "убийцах", намереваясь обрушить на совершивших это деяние одиоз, который они заслужили бы, если бы совершили его сегодня; но это слово, как мне кажется, использовано неправильно. Король был отвратителен для римского слуха, и особенно он был неприятен таким людям, как Цицерон, Брут и другие "оптиматы", претендовавшие на роль равных. Быть "primus inter pares" было амбицией Цицерона - быть ведущим олигархом того времени. Сезар постепенно поднимался все выше и выше, но всегда оставлял надежду - в конце концов, совсем небольшую - на то, что его удастся склонить к подчинению Республике. Сулла подчинился. Личной ненависти не было; но надежда почти исчезла, и поэтому, рассуждая как римлянин, когда дело было

сделано, Цицерон считал его славным поступком. В этом вопросе не может быть никаких сомнений. Отрывки, в которых он восхваляет его, слишком многочисленны для прямого цитирования; но они есть, перемежаясь в письмах и "Филиппиках". Не было никаких сомнений в его одобрении. Убийство Сезара, если можно так выразиться, в его представлении было славным деянием, совершенным во имя человечества. Всесильный тиран, узурпировавший власть над своей страной, был устранен, и они снова могли опираться на закон. Он захватил армию. Он промышлял в различных провинциях и обогащался за счет их богатств. Он был выше всякого закона; он был хуже, чем Марий или Сулла, которые своим открытым насилием признавали себя временным злом. Сезар создавал себя царем на все времена. Ни один закон не устанавливал его. Ни один народный плебисцит не наделил его царской властью. С жизнью в руках он решился на это и почти добился успеха. Нет смысла говорить о том, что он был прав, а Цицерон ошибался в своих взглядах на управление таким ничтожным народом, каким стали римляне. Форма правления Цицерона под руководством людей, которые не были Цицеронами, была ошибочной и привела к такому положению вещей, при котором тиран на время мог стать меньшим злом; но не по этой причине Цицерон был неправ, аплодируя поступку, который устранил Цезаря. Миддлтон в своей жизни (т. ii, с. 435) приводит мнение Суетония по этому вопросу и говорит, что лучшие и мудрейшие люди Рима считали, что Цезарь был убит справедливо. Мистер Форсайт великодушно воздерживается от порицания этого поступка, оставляя читателям возможность составить собственное мнение. Абекен не высказывает никакого мнения относительно его морали, как и Морабин. Именно критики произведений Цицерона осудили его, не задумываясь, возможно, о том, какое суждение они вынесли.

Но Цицерон не участвовал в заговоре и даже не помышлял о смерти Сезара. Утверждения об обратном делались как в последнее время, так и в прежние годы, но они не имели под собой оснований. Я уже упоминал о некоторых из них и показал, что фразы из его писем были неверно истолкованы. М. дю Розуар цитирует отрывок: "Я не думаю, что он сможет продержаться дольше шести месяцев, даже если мы падём" (Du Rozoir-Ad Att., lib. x., 8). Он должен пасть, даже если мы ничего не предпримем". Как часто можно было бы сказать, что убийство английского священника было преднамеренным, если бы произнесение таких слов было принято за свидетельство! Он снова цитирует - Ad Att., lib. xiii., 40 - "Какие хорошие новости мог услышать Брут о Сезаре, если только не то, что он сам повесил?". Это следует воспринимать как размышление о смерти Цезаря, и французский критик цитирует его спустя две тысячи лет в доказательство роковой недоброжелательности Цицерона!¹⁷⁴ Весь тон писем Цицерона доказывает, что у него никогда не возникало мысли об уничтожении Цезаря.

Как долго до этого времени существовал заговор, мы не можем знать; но мы чувствуем, что Цицерон не был человеком, которого можно было бы вовлечь в заговор. Он бы отговорил Брута и Кассия. Судя по тому, что мы знаем о его характере, мы думаем, что он не поверил бы в его успех. Хотя он радовался этому после того, как все было сделано, он был бы несчастен, будучи обремененным тайной. Во всяком случае, у нас есть факт, что он не был так обременен. Зрелище расправы над Сезаром, когда он увидел ее, должно быть, поразило его до крайности, но мы не знаем, каковы были его чувства, когда толпа собралась вокруг обреченного человека. Цицерон не оставил нам описания того момента, когда Сезар, как предполагается, накинул тогу на лицо, чтобы упасть с достоинством. Безусловно, когда вы черпаете факты из случайной переписки человека, вы теряете что-то из самых трогательных эпизодов дня. Писатель пропускает их мимо ушей, считая, что они наверняка были рассмотрены в другом месте. С Цицероном всегда так. Суд над Милоном, переход Рубикона, битва при Фарсале и убийство Помпея, как и смерть Сезара, остаются незамеченными. "Я

нанес ему визит, о котором мы говорили сегодня утром. Ничто не может быть более удручающим".¹⁷⁵ Так начинается следующее письмо после смерти Цезаря, и человек, о котором он упоминает, - Матий, друг Цезаря; но за три недели мир уже привык к смерти Цезаря. Сцена прошла, и жители Рима уже привыкли к его отсутствию. Но не может быть никаких сомнений в том, что Цицерон присутствовал при падении Цезаря. Он ясно говорит об этом Аттику.¹⁷⁶ Морабин ставит это под сомнение. Рассказывают, что Брут, спустившись с помоста, на котором сидел Цезарь, и размахивая окровавленным кинжалом в руке, обратился к Цицерону. Морабин говорит, что доказательств этому нет, и утверждает, что Брут сделал это для сценического эффекта. Но он не мог видеть цитируемое выше письмо или, увидев его, должен был понять его неправильно.¹⁷⁷

Вскоре заговорщикам стало ясно, что они заклевали змею, а не убили ее. Кассий и другие желали, чтобы Антоний был убит, а вместе с ним и Лепид. В том, что Антоний будет опасен, они были уверены. Но Марк Брут и Децим отменили их советы. Марк заявил, что "кровь тирана - это все, что нужно народу".¹⁷⁸ Народу не требовалось ничего подобного. Они желали лишь покоя и тишины и были готовы идти за той стороной, которая могла бы их повести и имела бы что отдать. Но Антоний был пощажен; и хотя в данный момент он был подавлен смертью Сезара и принятием заговорщиками благородной покорности, вскоре он снова был готов сражаться за Сезара. Удивительно видеть, как полностью он был подавлен и как быстро оправился.

Моммзен заканчивает свою историю громким песнопением в честь Сезара, но не сообщает о его смерти. Если бы его читателям больше нечего было сообщить, они могли бы предположить, что он отправился прямо на небо или, во всяком случае, исчез из мира, как только довел империю до совершенства. Похоже, он считал, что, описав работу кинжалов в доме Сената, он признает смертность своего богоподобного героя. Мы не имеем права жаловаться на его упущения. За исследование, за труд и за точность он создал работу, почти не имеющую аналогов. То, что он должен был видеть, насколько велик был Сезар, потому что он так много сделал, и то, что он должен был считать Цицерона маленьким, потому что, обремененный угрызениями совести, он сделал так мало, - это идиосинкразия человека. Нужен был Сезар, невосприимчивый к милосердию, к справедливости, к умеренности, человек, который мог бы работать любыми инструментами. "Люди забыли, что такое честность. Человек, отказавшийся от взятки, считался не честным человеком, а личным врагом".¹⁷⁹ Сезар брал деньги и давал взятки, когда у него были деньги, чтобы их заплатить, без всякого стеснения. Было бы нелепо говорить о нем как о бесчестном. Он был выше честности. Он был "*supra grammaticam*". Хорошо, что нашелся кто-то, кто воспел бы дифирамбы такому человеку - двое или трое в наши дни. Для меня характер этого человека неприятен для созерцания, несимпатичен, очень далек от божественного. В нем нет человеческой мягкости, необходимой для любви, нет человеческой слабости, необходимой для сочувствия.

15 марта Сезар пал. Когда убийство было совершено, Брут и другие причастные к нему вышли к народу, ожидая, что их встретят как спасителей своей страны. Брут обратился к народу, и его хорошо приняли; но, похоже, какое-то недоброе чувство вызвали жесткие высказывания в адрес памяти Цезаря, прозвучавшие из уст одного из преторов. Народ, хотя и считал Сезара тираном и радовался, когда ему сообщили, что потенциальный царь убит, все же не терпел, когда о нем говорили плохо. Он понимал, что тирану подобает быть щедрым, и обращался к ним всегда с полными руками - и не был щепетилен в выборе способа их наполнения. Тогда заговорщики, испугавшись угрожающих слов из толпы, направились в Капитолий. Почему они направились к Капитолию как к святилищу, я не

думаю, что мы знаем. Капитолий - это тот холм, на часть которого сейчас можно попасть по ступеням церкви Ара Кели спереди и с Форума сзади. С одной стороны находился обрыв Тарпейской скалы, с которого сбрасывали преступников. На его вершине находился храм Юпитера, стоявший на месте нынешней церкви. Именно здесь вечером того дня, когда был убит Цезарь, Брут, Кассий и другие заговорщики искали убежища. Здесь они оставались в течение двух последующих дней, пока 18-го не решились спуститься в город. 17-го Долабелла провозгласил себя консулом в соответствии с обещанием Сезара, и в тот же день сенат, выдвинутый Антонием, постановил устроить публичные похороны Сезара. Можно предположить, что постановление было принято ими со слабым сердцем. В те дни в Риме было много слабых сердец, так как очень скоро стало очевидно, что заговорщики не пошли дальше смерти Сезара.

Брут, если говорить о государственной службе, был непрактичным и бесполезным человеком. Мы не знаем ни одного случая, когда бы он занимался общественными делами с большой целью. Он был полон высоких идей относительно своего положения среди олигархов и особых представлений о том, что причитается Риму от людей его имени. У него было яростное представление о собственных правах, среди которых были и право быть претором, и консулом, и губернатором провинции. Но он рано увлекся литературой и философией и сторонился толпы "рыболовов", таких как Антоний и Долабелла, людей, склонных предаваться роскоши собственных чувств. Его представление о свободе, похоже, было таким же, как у Цицерона, - свобода жить одним из первых людей в Риме; но оно не сопровождалось, как у Цицерона, врожденным желанием делать добро окружающим. Содержать преторов, консулов и губернаторов так, чтобы каждый человек, занимающий высокое положение, завоевывал себе дорогу к ним по мере того, как он сможет получить голоса народа, а не оставлять их на откуп одному человеку, который возвысился над всеми, - таков, по-видимому, был его *идеал* римского правления. Его идеалом был и Цицерон, добавивший, что, достигнув своего высокого положения, он должен честно служить народу. Брут убил Цезаря, но пощадил Антония, решив, что все встанет на свои места, когда тирана больше не будет. Но он обнаружил, что Сезар был тираном достаточно долго, чтобы породить в себе жажду тирании, и что, хотя он мог бы убить царя, у него не было способностей к управлению народом.

Именно теперь произошли те сцены, которые Шекспир описал с такой точностью: народные похороны, ораторская речь Антония и восстание народа против заговорщиков. Антоний, обнаружив, что никакого плана нападения на правительство не разработано и что люди поражены тем, что сами совершили, собрался с мыслями и постарался поставить себя на место Цезаря. Цицерон выступил в сенате с предложением о всеобщей амнистии и добился ее, насколько это позволял голос сената. Но амнистия предполагала лишь то, что люди должны были притвориться, будто все забыто и прощено. Прощения не было, как не могло быть и забвения. Затем была оглашена воля Сезара. Они не могли ни оспорить его волю, ни уничтожить ее. Таким образом Антоний завладел бумагами покойного и с помощью его личного секретаря или амануэнта, некоего Фабриция, начал серию самых откровенных подделок. Он добился или сказал, что добился, чтобы был принят указ, законодательно подтверждающий все письменные цели Сезара. Такой указ он мог использовать в любой степени, в которой мог привлечь на свою сторону симпатии народа. Он и воспользовался им в значительной степени, и, похоже, в этот период задумал взять диктаторскую власть в свои руки. Антоний едва не стал одним из величайших негодяев, каких только знал мир. Желание было, как и интеллект, если бы он не был отягощен личной роскошью и потворством.

Теперь на сцене появился молодой Октавий. Он был внучатым племянником Цезаря, сестра которого Юлия вышла замуж за Марка Атия. Их дочь Атия вышла замуж за Кая Октавия, и от этого брака родился ребенок Август. Когда отец Октавий умер, вдова Атия вышла замуж за Марция Филиппа, который был консулом до 56 года. Не имея ближайшего наследника, Сезар взял мальчика на воспитание и последние годы своей жизни относился к нему как к своему сыну, хотя и не усыновлял его. В этот период юноша был отправлен в Аполлонию, на другой берег Адриатики, в Македонию, чтобы учиться у греческого наставника Аполлодора, и находился там, когда узнал о смерти Цезаря. Ему сообщили, что Цезарь сделал его своим наследником, и он сразу же переправился в Италию вместе со своим другом Агриппой. По дороге в Рим он встретил Цицерона на одной из его южных вилл и в присутствии великого оратора вел себя с подобающим уважением. Ему тогда не было и двадцати лет, но в нынешнем затруднительном положении он вел себя с осторожностью, совсем не похожей на мальчишескую. Он пришел, по его словам, только за тем, что оставил ему двоюродный дед; и когда он обнаружил, что Антоний потратил деньги, то, похоже, не сразу выразил свой гнев. Он отправился в Рим, где обнаружил, что Антоний, Долабелла, Марк Брут, Децим Брут и Кассий борются за провинции и легионы. Некоторые из солдат пришли к нему, прося отомстить за смерть дяди, но он был слишком благоразумен, чтобы заявить о своей мести.

Вскоре после смерти Цезаря Цицерон покинул Рим и весь следующий месяц провел в разъездах по разным виллам. 14 апреля он пишет Аттику, заявляя, что, какое бы зло ни постигло его, он найдет утешение в мартовских идах. В том же письме он называет Брута и остальных "нашими героями" и просит своего друга прислать ему новости - а если не новости, то письмо без новостей.¹⁸⁰ В следующем письме он снова называет их своими героями, но добавляет, что не может испытывать удовольствия ни от чего, кроме совершенного подвига. Люди все еще восхваляют дела Сезара, и он сетует, что они столь непоследовательны. "Хотя они хвалят тех, кто уничтожил Сезара, в то же время они восхваляют его деяния".¹⁸¹ В том же письме он сообщает Аттику, что люди во всех деревнях полны радости. "Невозможно передать, с каким нетерпением они ждут меня, как бегут на встречу со мной, чтобы услышать мой рассказ о том, что было сделано. Но сенат не принимает никаких постановлений!"¹⁸² Он говорит о поездке в Грецию, чтобы повидаться с сыном, которого он так и не дождался, и рассказывает ему о письмах от парня из Афин, которые, однако, по его мнению, могут быть лицемерными, хотя он утешается тем, что язык их ясен. К нему вернулось его добродушие, и он может быть шутливым. Один Клувий оставил ему недвижимость в Путеолах, и дом рухнул; но он послал за архитектором Хрисиппом. Но что такое для него падающие дома? Он может благодарить Сократа и всех его последователей за то, что они научили его пренебрегать такими мирскими вещами. Тем не менее он счел целесообразным прислушаться к совету своего друга, чтобы привести разваливающийся дом в надлежащий вид.¹⁸³ Чуть позже он выражает свое отвращение к тому, что о Сезаре в публичных выступлениях в Риме говорят как о "великом и превосходнейшем человеке".¹⁸⁴ А ведь всего несколько месяцев назад в своей речи в честь царя Дейотара в присутствии Сезара он говорил, что "смотрел только в его глаза, только в его лицо, что считался только с ним". Лесть и возмущенное порицание, по правде говоря, очень близки друг к другу и побуждают нас спросить, не вредит ли нравственному человеку тот факт, что ему приходится жить в присутствии царственных особ. Мог ли кто-нибудь из нас отказаться говорить с Сезарем с обожанием - любой из нас, кого обстоятельства вынудили говорить с ним? Власть заставляла Сезара желать такого обращения, которое вряд ли подобает человеку, который должен давать или принимать. Разве этикет сегодняшнего дня не требует от нас определенных любезностей в разговоре, которые я назвал бы презренными, если бы не то, что этикет их требует? Тем не менее, если сделать для Цицерона посильную поправку, разница в его языке в течение месяца или двух очень болезненна". В

цитированном выше письме Октавий приходит к нему, и мы видим, как охотно молодой претендент льстил ему.

Он уже видит, что, несмотря на обещанную амнистию, междоусобная вражда неминуема. "Мне придется идти в лагерь с молодым Секстом" - Секстом Помпеем - "или, возможно, с Брутом, перспектива в мои годы самая одиозная". Затем он цитирует две строки Гомера, изменив одно слово: "Тебе, дитя мое, не дана слава войны; красноречие, очаровательное красноречие, должно быть оружием, которым ты будешь сражаться". Мы слышим о его задуманном путешествии в Грецию под защитой свободного легата. Он ехал ради сына; но не скажут ли люди, что он ехал, чтобы избежать нынешней опасности? И не может ли быть так, что он будет полезен, если останется?¹⁸⁵ Мы видим, что на него снова наваливается прежнее состояние сомнения. Αἰ δέομαι Τρύϊας. В противном случае он мог бы уехать и обезопасить себя в Афинах. Между ним и Антонием ведется переписка, копии которой он посылает Аттику. Антоний пишет ему, умоляя разрешить Сексту Хлодию вернуться из изгнания. Этот Секст был осужден за бунт, вызванный смертью его дяди в деле Милона, и Антоний хочет, чтобы он вернулся. Цицерон отвечает, что, конечно же, согласится с мнением Антония. По его словам, для него всегда было законом не питать ненависти к более скромным врагам. Но в обоих письмах мы видим тонкость и осторожность авторов. Антоний мог вернуть Секста и без Цицерона, и Цицерон знал, что он может это сделать. Цицерон не имел власти над законом. Но Антонию было выгодно написать вежливое письмо, которое могло вызвать не вежливый ответ. Цицерон, однако, знал лучше и ответил вежливо.

Он пишет Тиро, сообщая ему, что не имеет ни малейшего намерения ссориться со своим старым другом Антонием и напишет Антонию, но только после того, как увидит его, Тиро; показывает, в каких дружеских отношениях он находится со своим бывшим рабом, ведь Тиро к этому времени был освобожден от наказания.¹⁸⁶ Он пишет Тиро совершенно так же, как мог бы написать младшему Аттику, и говорит с ним об Аттике со всей фамильярностью подтвержденной дружбы. Должно быть, было что-то очень приятное в характере общения, которое связывало такого человека, как Цицерон, с таким другим, как Тиро.

Аттик обращается к нему, желая, чтобы он использовал свое влияние в отношении некоего важного вопроса, касающегося Бутротума. Бутротум был городом в Эпире напротив острова Корсира, в котором Аттик был очень заинтересован. Земли в этом месте должны были быть разделены и розданы римским солдатам, что, как мы можем предположить, сильно повредило Аттику. Он убедительно просит Цицерона вмешаться в ситуацию, чтобы защитить бутротитанцев, и Цицерон говорит ему, что хотел бы увидеться с Антонием по этому вопросу, но Антоний слишком занят, присматривая за солдатами в Кампанье. Цицерону не удастся выполнить пожелание Аттика, и вскоре эта тема теряется в общей суматохе. Но обсуждение показывает, насколько важным в данный момент считается вмешательство Цицерона в дела Антония. Оно также показывает, что до этого периода, за несколько месяцев до ядовитой ненависти второго Филиппика, Антоний и Цицерон, как предполагается, находились в близких дружеских отношениях.

В Риме началось поклонение Цезарю, и на Форуме ему, как богу, был поставлен алтарь. Если бы о погибшем Сезаре сказали, что он узурпировал суверенную власть, его тело было бы выброшено как недостойное благородного обращения. Такого обращения требовал обычай Республики. Его разрешили похоронить и оказали честь, а не опозорили. Теперь на месте погребальной кучи был воздвигнут алтарь, и толпы людей столпились вокруг него, поклоняясь. В том, что это дело рук Антония, сомневаться не приходится. Но Долабелла, отвергнутый зять Цицерона, который, выполняя обещание Цезаря, захватил консульство, приревновал Антония и приказал свалить алтарь и разогнать поклоняющихся. Многие были

убиты в этой борьбе - хотя Республика так ревностно относилась к жизни граждан, что не позволяла казнить преступника без волеизъявления всего народа, в уличных беспорядках могло пасть любое число людей, и об этом мало кто подумал бы. Долабелла разрушил алтарь, и Цицерон обильно поблагодарил его .¹⁸⁷ И хотя Туллия была разведена и после этого умерла, повода для ссоры не было. Разводы были настолько распространенным явлением, что семейная неприязнь не обязательно возникала. В этот момент Цицерон очень хотел вернуть Долабелле приданое его дочери. Оно так и не было возвращено.

Действительно, быстро наступало время, когда о подобных выплатах не могло быть и речи, и Долабелла вскоре занял сторону, совершенно противоположную Республике, о которой он нисколько не заботился. Его купил Антоний, который был готов купить любого. До конца года он отправился в Сирию в качестве наместника, и в Смирне, по дороге, совершил один из тех ужасных актов над противным наместником Требонием, которыми тогдашние римляне упивались, освободившись от контроля. Кассий пришел отомстить за своего друга Требония, а Долабелла, обнаружив, что ему не повезло, покончил с собой. Он не продвинулся в развращении так далеко, как Веррес, потому что время не позволяло, но именно в этом направлении он и двигался. Однако в данный момент перо Цицерона не могло воздать ему слишком пылкую хвалу. Превращение Сезара в бога противоречило всем чувствам его сердца, как по отношению к людям, так и по отношению к богам.

Чуть дальше на сайте¹⁸⁸ мы видим, что он очень жалуется на положение дел: "Чтобы мы боялись этого и не боялись другого!" - имея в виду Сезара и Антония. Он заявляет, что должен часто читать для собственного утешения свой трактат о старости, только что написанный и адресованный Аттику. "Старость делает меня горьким, - говорит он, - я раздражаюсь на все. Но жизнь моя прожита. Пусть молодые смотрят в будущее". Здесь мы встречаем имя Сереллии в письме к его другу. Вероятно, она была послана, чтобы уладить ссору между ним и его молодой женой Публилией. Из этого ничего не вышло, и мы упоминаем о ней только потому, что имя Сереллии так часто соединялось с именем Цицерона последующими авторами. За всю его переписку с Аттиком я не помню, чтобы она встречалась, разве что в одном или двух письмах в этот период. Я предполагаю, что какая-то история об этой даме передавалась из уст в уста и была опубликована Дионом Кассием, когда греческий историк обнаружил, что это служит его цели - оскорбить Цицерона.

22 июня он отправил Аттику известие о своем племяннике. Юный Квинт написал отцу письмо, в котором раскаивался в содеянном. Он получал деньги от Антония, и выполнял грязную работу Антония. Он был "Антонием Декстеллой" - "правой рукой Антония", по словам Цицерона, и совершенно рассорился с отцом и дядей. Теперь он выражает свое горе и заявляет, что приехал бы сам, но может возникнуть опасность для отца. А денег можно ожидать, если только он подождет. "Слышал ли ты когда-нибудь о худшем плуте?" - добавляет Цицерон. добавляет Цицерон. Вероятно, нет; но ему все же удалось убедить отца и дядю, а через некоторое время он и вовсе предложил Антонию преследовать его за кражу государственных денег из казны. Он, как и некоторые другие, считал, что ход событий складывается против Антония. Вследствие этого он был назван в проскрипциях и убит вместе со своим отцом. В том же письме Цицерон советуется с Аттиком, как лучше отправиться в Грецию. Обычный путь - Брундизий, но Тиро сообщил ему, что в городе есть солдаты.¹⁸⁹ В Арпинуме, куда он направляется, он получает письмо от Брута с приглашением вернуться в Рим, чтобы посмотреть на игры, которые устраивает Брут. Его раздражает мысль о том, что Брут может ожидать этого. "Эти зрелища теперь почетны только для того, кто обязан их давать", - говорит он; "Я не обязан их видеть, а присутствовать на них было бы бесчестно".¹⁹⁰ Затем он расстается с Аттикусом, проявляя демонстративную нежность, чуждую суровости нашей северной натуры. "То, что вы плакали, расставаясь со мной, очень огорчило меня.

Если бы ты сделал это в моем присутствии, я бы вообще не уехал".¹⁹¹ "Nonis Juliis!"¹⁹² восклицает он. Имя Июль уже вошло в обиход - имя, которое используется с тех пор, - имя человека, который теперь уничтожен! Эта мысль приводит его в ужас. "Неужели Брут должен говорить об июле?" Похоже, было опубликовано какое-то объявление о его играх, в которых месяц был так назван.

Написав из одной из своих вилл на юге, он сообщает Аттику, что его племянник снова был с ним и раскаялся во всех своих грехах. Я думаю, что Цицерон никогда не писал ничего более тщеславного, чем это: "Он так изменился, - говорит он, - благодаря чтению некоторых моих сочинений, которые случайно оказались у меня, а также благодаря моим словам и наставлениям, что стал таким гражданином, каким я хотел бы его видеть".¹⁹³ Мог ли он предположить, что тот, кого он несколько дней назад назвал самым большим плутом из всех, кого он знал, так изменится от нескольких хорошо написанных и хорошо произнесенных слов? Должно быть, юный Квинт и в самом деле был ловким плутом. В том же письме Цицерон сообщает, что Тиро собрал около семидесяти его писем с целью публикации. На данный момент мы имеем более семисот писем, написанных до этого дня.

Приступая к работе, он дает своему другу очень широкое поручение: "По своей любви ко мне, управляй моими делами за меня. У меня осталось достаточно средств, чтобы выплатить все, что я должен. Но случится, как это часто бывает, что те, кто мне должен, не будут пунктуальны. Если такое случится, подумайте только о моем характере. Поставьте меня на место перед всем миром, заняв или даже продав, если потребуется".¹⁹⁴ Это не язык человека, попавшего в беду, а язык человека, озабоченного тем, чтобы никто не потерял из-за него ни шиллинга. Он снова думает о том, чтобы отправиться из Брундизия, и обещает, прибыв туда, немедленно приступить к новой работе. Он отправил свое "De Gloria" на Аттикусу; трактат, который мы потеряли. Нам было бы приятно узнать, как он отнесся к этой сложнейшей теме. Мы поражены его плодovitостью и готовностью. Ему было уже почти шестьдесят три года, и, путешествуя по стране, он брал с собой все принадлежности, необходимые для написания трактатов, подобных тем, что он сочинил в этот период своей жизни! Свою "Топику", содержащую аристотелевские наставления по работе юриста, он собрал на корабле, сразу после этого, в пользу Требатия, которому она была обещана.

Наступил июль, и наконец он решил отплыть из Помпеи и причалить к Сицилии. Он останавливается на ночь в Веллии, где находит Брута, с которым у него происходит беседа. Затем он пишет письмо Требацию, у которого там была очаровательная вилла, купленная, несомненно, на галльские трофеи. Он вспоминает о своем обещании и, отправившись в Регий, пишет Ториса, которую посылает Требацию оттуда. Затем он отправился в Сиракузы, но побоялся там оставаться, опасаясь, что за его передвижениями могут следить и что Антоний подумает, будто в его путешествии были государственные цели. Ему уже говорили, что некоторые объясняли его отъезд желанием присутствовать на Олимпийских играх; но, по-видимому, в первую очередь думали, что он отказался от республики, как от потерянной, и ищет безопасности в другом месте. Из этого мы можем понять, как внимательно следили за его передвижениями и как много о них думали. Из Сиракуз он отправился в Афины, которые, однако, он был обречен никогда больше не увидеть. Его занесло обратно в Лейкопетру на континенте; и хотя он предпринял еще одну попытку, его, по его словам, снова вернули обратно. Там, на вилле своего друга Валерия, он узнал новости, которые побудили его изменить свою цель и поспешить в Рим. Брут и Кассий опубликовали постановление сената, призывающее всех сенаторов, а особенно консулов, в Рим. Были основания полагать, что Антоний готов ослабить свои притязания. Они настойчиво требовали его присутствия, и ходили слухи, что он бежал от трудностей времени. "Услышав это, я сразу же отказался от

своего путешествия, которым, правда, никогда не был доволен".¹⁹⁵ Затем он вступает в долгий спор с Аттиком по поводу советов, которые ему давали и Аттик, и Брут, и говорит Аттику несколько жестких слов. Но он оставляет в памяти читателя впечатление, что Брут так встревожил его тем, что произошло между ними в Велии, что с этого момента сомнения по поводу поездки, которые всегда были сильны, одолели его. Не ветры в Леукопетре помешали его путешествию, а колкие слова, сказанные Брутом. Ему внушили, что он покидает свою страну. Упрек показался ему тяжелым, ведь он обещал Аттику вернуться к первому января; однако он не мог не чувствовать, что в нем есть доля правды. Именно те месяцы, в течение которых он будет отсутствовать, станут месяцами опасности. И в самом деле, глядя на политический горизонт, казалось, что ближайшие месяцы, те, что они сейчас проходят, будут самыми опасными. Если бы от Антония можно было избавиться, заставить его покинуть Италию, то честному сенатору - человеку с консульскими полномочиями - было бы чем заняться, не подвергая опасности свою жизнь. Когда сейчас люди называют политиков тех дней трусами за то, что они хотели избежать пыла сражения, они вряд ли думают, что такое для старика покинуть свое убежище и броситься на Форум, чтобы столкнуться там с таким, как Антоний, и с такими солдатами, как его солдаты. Цицерон, который был достаточно храбр в чрезвычайных обстоятельствах своей карьеры и занимался своим делом, порой не считаясь с жизнью, несомненно, думал обо всем этом. Ему было бы приятно снова увидеть сына и посмотреть на бурные дела Рима из безопасных Афин; но когда его соотечественники сказали ему, что он еще недостаточно сделал, когда Брут своими холодными, горькими словами упрекнул его за то, что он так поступает, - тогда его мысли повернулись на быстром стержне, на котором они балансировали, и он поспешил вернуться к борьбе.

Он сразу же отправился в Рим, куда добрался в последних числах августа, и там получил послание от Антония, требующее его присутствия в сенате на следующий день. В пути его снова ждал восторженный прием соотечественников, которые рассчитывали получить особую выгоду от его честности и патриотизма. Он снова гордился криками доверчивого народа. Но он прибыл в Рим не для того, чтобы стать марионеткой Антония. Антоний должен был вынести на рассмотрение сената некую меру в честь Сезара, которую Цицерону не хотелось ни поддерживать, ни противостоять. Он послал сказать, что устал после путешествия и не придет. На это критики отнеслись к нему свысока и назвали его трусом. "С невероятной бесцеремонностью, - говорит М. Дю Розуар, - Цицерон оправдывался, ссылаясь на свое здоровье и усталость от путешествия". "Он притворился, что слишком устал, чтобы присутствовать, - говорит мистер Лонг. Мне кажется, что те, кто читал произведения Цицерона с величайшей тщательностью, настолько прониклись силой его слов, что ожидают от них неестественного веса. Если бы современный политик, обнаружив, что ему не подобает являться в Палату общин в определенный вечер и что ему лучше позволить дебатам пройти без его присутствия, привел бы такое оправдание, разве с ним поступили бы так же? Снисходительность и притворство по отношению к тем "Филиппикам", в которых он, кажется, судил смерть за каждое произнесенное им резкое слово! Читатель, который начал так думать, должен изменить свое мнение и быть готовым, по мере продвижения вперед, найти в Цицероне совсем другие недостатки. Порывистый, самоуверенный, необдуманный; сбрасывающий со счетов междоусобную ярость; стремящийся сокрушить своими словами человека, командовавшего легионами Рима; не останавливающийся ни перед чем, что могло бы нанести удар; заставляя людей своими описаниями так презирать Антония, чтобы побудить их покинуть более сильную партию, дабы не навлечь на себя гнев оратора - такова была линия, которой придерживался Цицерон, и то, как он вел себя в течение следующих двенадцати месяцев! Он гремел своими "Филиппиками" по Риму, обращаясь то к сенату, то к народу с твердостью, которую вы можете осудить как неподобающую столь старому

человеку, которого опыт должен был научить хладнокровию; но пассивность и притворство не будут теми обвинениями, которые вы предъявите ему.

Антоний, не обнаружив, что Цицерон пришел по его зову, заявил в сенате, что пошлет своих рабочих выкопать его из дома. Цицерон упоминает об этом на следующий день без всякой страсти.¹⁹⁶ Антоний не присутствовал, и в этой речи он не выражает горечи гнева. Вряд ли ее следовало бы называть одной из Филиппик, название которых вполне можно было бы начать со второй. Название, как следует понимать, было взято из шутливого намека Цицерона на "Филиппики" Демосфена, сделанного в письме к Бруту. У нас есть, по крайней мере, ответ Брута, если, конечно, письмо подлинное, в чем можно сильно сомневаться.¹⁹⁷ Но у него не было цели прикрепить к ним свое имя. В течение многих лет после этого их называли *Antonianæ*, и первое общее употребление термина, под которым мы их знаем, было, вероятно, сравнительно современным. Одно название подходит как нельзя лучше, но странно, что речи Демосфена должны были дать имя другим, столь известным, как те, что произнес Цицерон против Антония. Плутарх, однако, упоминает это название, говоря, что оно было дано речам самим Цицероном.

В этой, первой, речи он иронично умалчивает о жестокости и непатриотичности поведения Антония. Антоний не присутствовал, и Цицерон с приятной шуткой сообщает слушателям, что Антонию можно позволить отсутствовать по причине нездоровья, хотя ему в этом было отказано. Антоний - его друг, но почему Антоний так грубо обошелся с ним? Разве это необычно для сенаторов - отсутствовать? Был ли Ганнибал у ворот, или они заключили мир с Пирром, как это было, когда они привели в палату старого слепого Аппия? Затем он переходит к вопросу часа, который номинально заключался в утверждении в качестве закона тех актов Сезара, которые он по собственной воле издал перед смертью. Когда тиран узурпирует власть на некоторое время, а затем его свергают, не может быть более сложного вопроса. Не лучше ли принять закон таким, каким он его оставил, даже если закон стал законом незаконным, чем столкнуться со всей путаницей ретроградных действий? Ничто не могло быть более незаконным, чем некоторые из законов Суллы, но Цицерон выступал против их отмены. Но в данном случае речь шла не о законах Цезаря, а об указах, которые впоследствии были приняты Антонием и выданы народу за найденные среди бумаг Цезаря. Вскоре после смерти Цезаря Антоний принял решение в пользу законов или актов Цезаря, и отсюда появились эти дерзкие подделки, под видом которых Антоний мог обнародовать любые документы по своему усмотрению. "Я думаю, что деяния Цезаря следует поддерживать, - говорит Цицерон, - не потому, что они сами по себе хороши, ибо этого никто не может утверждать. Я хотел бы, чтобы Антоний присутствовал здесь без своих обычных друзей", - добавляет он, имея в виду своих вооруженных спутников. "Он рассказал бы нам, каким образом он будет поддерживать эти деяния Сезара. Найдутся ли они в записках, обрывках и мелких документах, приведенных одним свидетелем, или же их вообще не приведут, а только расскажут нам? А те, которые он выгравировал на бронзе и которые он хотел, чтобы их знали как волю народа и как вечные законы, - разве они не будут приняты?"¹⁹⁸ Вот в чем заключался спор. Вскоре после смерти Сезара был принят декрет, дававший санкцию сената на его законы. Это было сделано ради мира, как лучший выход из затруднительного положения, угнетавшего государство. Но было невыносимо, чтобы под этой санкцией Антоний имел право изо дня в день издавать новые эдикты, в то время как сами законы, принятые Сезаром, не соблюдались. "Какой закон был лучше или чаще требовался в лучшие дни Республики, чем тот, принятый Цезарем, по которому провинции должны были принадлежать преторам только на один год, а консулам - не более чем на два? Но этот закон отменен. Так что же, получается, деяния Цезаря должны сохраниться?"¹⁹⁹ Антоний, несомненно, и его друзья, рассчитывавшие на то, что провинции будут отданы на

откуп, нашли среди бумаг Сезара - или сказали, что нашли, - некие записи, отвечающие их целям. В бумагах Сезара можно было найти все, что угодно. "Изгнанные возвращаются из изгнания, право гражданства дается не только отдельным людям, но и целым народам и провинциям, исключения из налогов предоставляются по голосу мертвеца".²⁰⁰ Антоний начал, вероятно, с одной или двух более скромных подделок и продолжал, укрепляясь в наглости собственным успехом, пока мертвый Сезар не стал для них хуже живого Сезара. Вся речь - достойная, патриотическая и смелая, с правдой утверждающая то, что он считал правильным, но никогда не переходящая в инвективу или выражение гнева. Она очень короткая, но я не знаю ни одной его речи, более точно отвечающей своей цели. Я вижу его сейчас, в тоге вокруг себя, когда он произносит последние слова: "Я прожил, пожалуй, достаточно долго - и по количеству лет, и по славе, которую я завоевал. То немного, что можно добавить, будет сделано не для меня, а для вас и для Республики". Сказанное стало абсолютной правдой.

Глава IX.

ФИЛИППИКИ.

44 г. до н. э., эт. 63.

Жестокость поведения Антония вскоре заставила Цицерона отказаться от мысли о сдержанности, и он был готов подхватить брошенную ему перчатку. С этого момента и до последней сцены своей жизни он был полон ярости битвы, криков победы, а затем криков отчаяния. Антоний, прочитав речь Цицерона, первый "Филиппик", язык которого, несомненно, был мгновенно отправлен ему, кажется, сразу же понял, что он должен либо победить Цицерона, либо быть побежденным им. Он с точностью до буквы оценил иронически-осторожный язык, в котором раскрывалось его поведение. Он не хотел слушать Цицерона, но очень хотел, чтобы Цицерон слушал его. Те "защитники", о которых говорил Цицерон, были рядом с ним и по кивку, а может, и без кивка, поступили бы с Цицероном так же, как Брут и Кассий поступили с Цезарем. Последнее заседание сената состоялось 2 сентября. Когда оно закончилось, Антоний, как нам рассказывают, отправился на свою виллу в Тиволи и более двух недель посвятил подготовке речи, которой он мог бы заставить Цицерона замолчать или, во всяком случае, ответить ему. Он не предоставил себя самому себе, а взял себе мастера красноречия, который мог бы научить его, когда использовать руки, где притоптывать ногами и каким образом с изящной страстью разбрасывать свою тогу. В это время ему было около сорока,²⁰¹ и он находился в полном расцвете сил, но для такой цели он не предполагал, что знает все, чему могут научить его уроки искусства инвективы. Так он и оставался, изрекая фразы в присутствии своего наставника, пока не выучил наизусть все, что знал наставник. Затем он вызвал Цицерона на встречу в сенате 19 числа. Цицерон очень хотел это сделать, но ему помешали друзья, которые боялись "адвокатов". Сохранилось письмо Цицерона к Кассию, в котором он сообщает, что в Риме хорошо известно, что Антоний объявил, что он, Цицерон, был автором смерти Цезаря, чтобы старые солдаты Цезаря могли убить его.²⁰² Были и другие сенаторы, которые, по его словам, не осмелились показаться в сенате - Пизон, Сервилий и Котта. Антоний спустился вниз и произнес свою отработанную речь против Цицерона. Слова его речи не сохранились, но Цицерон рассказал нам о том, как он говорил, и о некоторых фразах, которые он

использовал. Авторитет его не очень высок, но по результатам можно предположить, что его рассказ недалек от истины. От начала до конца это была одна яростная тирада оскорблений, которую он, казалось, извергал из своих челюстей, вместо того чтобы "говорить в манере римского консула". Таково описание Цицерона.

Об Антонии говорили, что мы слышим о нем только от его врагов. Он не оставил после себя друга, который бы говорил за него, и мы слышали о нем, конечно, от одного врага; но эти известия имеют такой характер, что заставляют нас поверить в то зло, которое говорил о нем Цицерон. Если бы он был человеком достойного образа жизни и честных намерений, разве осмелился бы Цицерон сказать римлянам о нем те слова, которые он произнес не только во втором Филиппике, который так и остался невысказанным, но и в двенадцати последующих? Сведения о нем, насколько это возможно, совсем плохи. Плутарх говорит нам, что он был красив и хорошим солдатом, но в целом порочен. Плутарх - не биограф, чьему слову стоит верить в деталях, но в целом он прав в своей оценке характера. Тацит мало что рассказывает о нем как о непосредственном историке, но постоянно упоминает его в одном и том же тоне. Тацит знал, как к нему относился Рим. Патеркул специально говорит о его мошенничестве и резко осуждает убийство Цицерона.²⁰³ Валерий Максим в своих анекдотах упоминает его вскользь, как говорят о злом человеке, который сам заставил себя заметить. Вергилий заклеил его имя вечным позором. "*Sequiturque nefas Egyptia conjux*". Я не могу вспомнить ни одного римского писателя, который бы назвал его с честью. Он был римлянином того времени - таким, каким его сделал Рим, - смелым, жадным, вероломным и непатриотичным".

Цицерон снова отсутствовал в сенате, но был в Риме, когда Антоний напал на него. Из письма Корнифицию мы узнаем, что вскоре после этого Антоний покинул город и отправился в Брундиций, чтобы присмотреть за легионами, прибывшими из Македонии, с которыми, как утверждает Цицерон, он намерен тиранить их всех в Риме.²⁰⁴ Затем он рассказывает своему корреспонденту, что молодой Октавий только что был уличен в попытке убийства Антония, но Антоний, обнаружив убийцу в своем доме, не посмел пожаловаться. Похоже, он считает, что Октавий был прав! Положение дел было таково, что люди привыкли убивать; но эта история, вероятно, не соответствует действительности. В следующем предложении он заявляет, что получает такое утешение от философии, что может переносить все невзгоды судьбы. Сам он отправляется в Путеолы и там пишет второй "Филиппик". Считается, что это самое яростное произведение инвективы, когда-либо созданное человеческой изобретательностью и человеческим гневом. Однако читатели должны помнить, что он был написан не для того, чтобы быть произнесенным - насколько нам известно, он не был написан даже для того, чтобы быть показанным Антонию или опубликованным для всего мира. Мы даже не знаем, видел ли ее Антоний. Распространено мнение, что гнев Антония был вызван именно этим произведением, и что Цицерон обязан ему своей смертью; но это предположение основано на вероятности, а вовсе не на доказательствах. Цицерон, услышав, что сказал о нем Антоний, похоже, написал все злое, что мог сказать о своем враге, чтобы отправить его Аттику. В ней содержалось скорее то, что он мог опубликовать, чем то, что он намеревался опубликовать. Правда, в письме, сопровождавшем трактат при отправке Аттику, он в каких-то полунепонятных словах говорит, что надеется, что придет время, когда речь "свободно попадет даже в дом Сика";²⁰⁵ но даже из этого можно понять, что он не собирался публиковать ее в широком кругу. Он старался быть настолько суровым, насколько знал, но делал это, так сказать, с недоуздок на шее; и для гнева Антония - гнева, который впоследствии привел к запрету, - нашлось достаточно причин, помимо этой. До этого дня он пытался настроить всю империю против Антония, и ему это почти удалось.

Утверждают, что Цицерон снова проявил трусость, написав, а не произнеся свою орацию, а также написав ее только для частного распространения. Если бы он был трусом, зачем он вообще писал ее? Если бы он был трусом, зачем он поспешил вступить в поединок с Антонием? Если его обвиняют в том, что его "Филиппики" были анонимными, то как спасаются от этого анонимные писатели наших дней? Если потому, что он написал его, а не произнес, то что можно сказать о современных партийных писателях? Он был трусом, говорят его обвинители, потому что избежал опасности. Думали ли они об опасности, которой он подвергался, когда выдвигали против него эти обвинения? Каков был характер борьбы? Помнят ли они, сколько римлян, занимавшихся общественной жизнью, было убито за последние дюжину лет? Мы прекрасно знаем, как далеко заходит обычай, и что люди привыкли бояться насильственной смерти. Цицерон уже привык к этому страху и был готов встретиться с ним лицом к лицу. Но не следует думать, что с открытыми глазами он всегда был готов броситься на немедленное уничтожение. Писать гнусные нападки, как, например, во втором "Филиппике", - плохое упражнение для изобретательности великого человека; но такова же и любая анонимная сатира. Так обстоит дело и с нашим временем, которое получило благо от всей предшествующей цивилизации. Цицерон, находясь среди бессердечных римлян, должен обладать изысканными манерами и высокими чувствами современного политика! Вряд ли я имею право сердиться на его критиков, ведь своей жизнью он так близко подошел к тому, чтобы оправдать эти ожидания.

Он начинает с того, что спрашивает своих предполагаемых слушателей, как получилось, что за последние двадцать лет у Республики не было ни одного врага, который не был бы и его врагом. "А ты, Антоний, которого я не обидел ни единым словом, почему ты, более наглый, чем Катилина, более свирепый, чем Клодий, нападаешь на меня со своими клеветами? Неужели твоя вражда ко мне послужит тебе рекомендацией для всех дурных граждан Рима? * * Почему Антоний не спускается к нам сегодня?" - говорит он, как будто он в сенате, а Антоний в отъезде. "Он устраивает праздник в своем саду: кому, интересно? Я никого не назову. Может быть, Формио, или Гнато, или Баллиону? О, невероятная подлость; похоть и наглость, которые невозможно вынести!" Таковы были гнусные пройдохи римской комедии - Нимы, Пистолы и Бобадилы. "Твое консульство, несомненно, будет полезным; но мое принесло только зло! Ты говоришь о моих стихах", - говорит он Антонию, укорившему его за "cedant arma togæ". "Я скажу только, что ты не понимаешь ни их, ни других. Хлодий был убит по моим советам - так ли это? Что бы сказали люди, если бы увидели, как он бежит от вас через Форум - вы с выхваченным мечом, а он убегает по лестнице книжной лавки?206 * * * Именно по моему совету был убит Сезар! Я боюсь, о отцы призывников, чтобы не показалось, что я нанял какого-то лжесвидетеля, чтобы он льстил мне похвалами, которые мне не принадлежат. Кто хоть раз слышал, чтобы я был причастен к этому славному делу? Кто из тех, кто совершил это деяние, чье имя было скрыто - или, более того, не было наиболее широко известно? Некоторые были склонны хвастаться, что они там были, хотя их не было; но ни один из тех, кто присутствовал, никогда не пытался скрыть свое имя".

"Вы отрицаете, что у меня было наследство? Хотел бы я, чтобы это было правдой, ведь тогда мои друзья могли бы еще жить. Но откуда вы это взяли, если я унаследовал двадцать миллионов сестерций?207 В этом я счастливее вас. Никто, кроме друга, не сделал меня своим наследником. Луций Рубриус Кассинас, которого ты даже не видел, назвал тебя". Здесь он ссылается на человека, чье имущество Антоний, как предполагается, получил обманным путем. "Он знал о тебе, белый ты или негр? * * * Не могли бы вы сказать мне, какого роста был Турселиус?" Здесь он называет имя другого человека, чьей собственностью Антоний, как предполагается, завладел незаконно. "Полагаю, все, что вы о нем знаете, - это то, какие у него были фермы. * Помните ли вы, - говорит он, - что вы были банкротом, как

только стали мужчиной? Помните ли вы свою раннюю дружбу с Курио и то, как вы обидели его отца?" Здесь невозможно перевести дословно, но, сказав все так же откровенно, он продолжает: "Но я должен опустить беззакония вашей личной жизни. Есть вещи, которые я не могу здесь повторить. Вы в безопасности, потому что дела, которые вы совершили, слишком плохи, чтобы о них упоминать. Но давайте посмотрим на дела вашей общественной жизни. Я просто пройду по ним", - что он и сделал, обнажив, как он хорошо умел это делать, все прошлые поступки. "Когда тебя сделали Квестором, ты сразу же бросился к Сезару. Ты знал, что он - единственное убежище от нищеты, долгов, злобы, и порока. Насытившись его щедростью и награбленным добром, которое, правда, ты тратил быстрее, чем получал, ты тут же отправился в трибунат. * Это ты, Антоний, ты дал Сезару повод вторгнуться в его страну". При Рубиконе Сезар заявил, что Трибунат был нарушен в лице Антония. "Я ничего не скажу против Сезара, хотя ничто не может оправдать человека, взявшего в руки оружие против своей страны. Но в отношении тебя следует признать, что ты был причиной. * * * Он был очень добр к нам, троянцам. * Он вернул многих несчастных изгнанников, но совсем забыл своего дядю" - коллегу Цицерона по консульству, который был изгнан за разграбление своей провинции. "Мы видели, как этого народного трибуна провезли по городу на британской военной колеснице. Перед ним шли его ликторы с лаврами. Посредине, на открытой подстилке, везли актрису. Когда ты вернулся из Фессалии со своими легионами в Брундизий, ты не убил меня! О, какая доброта! * * * Ты с этими своими челюстями, с этой огромной грудью, с этим телом гладиатора, выпил столько вина на свадьбе Гиппеи, что на глазах у всего Рима тебя заставили блевать. * * * Когда он завладел имуществом Помпея, он радовался, как актер, который в пьесе беден, как нищий, а потом вдруг становится богатым. Все его вино, огромное количество серебра, дорогая мебель и богатые платья - где все это было через несколько дней? Харибда, как я его называю? Он проглотил их все, как целый океан!" Затем он обвиняет его в трусости и жестокости во время фарсалийских войн и самым обидным образом сравнивает его с Долабеллой. "Помнишь, как Долабелла сражалась за тебя в Испании, когда ты напивался в Нарбо? А как ты вернулся из Нарбо? Он спрашивал о моем возвращении в город. Я объяснил вам, о отцы-новобранцы, как я собирался быть здесь в январе, чтобы быть полезным Республике. Вы спрашиваете, как я вернулся. При свете дня, а не в темноте, как вы; в римской обуви и римской тоге, а не в варварских сапогах и старом плаще. * * * Когда Сезар вернулся из Испании, ты снова пробился в его близость - не смелый, надо сказать, человек, но все же достаточно сильный для его целей. Сезар всегда поступал так: если находился человек разоренный, погрязший в долгах, по уши в нищете - низкий, нуждающийся, дерзкий человек, - то именно его он мог принять в свою дружбу". В отношении Сезара это было несомненной правдой. "Порекомендовав таким образом, тебе было велено объявить себя консулом". Затем он описывает, как пытался предотвратить выдвижение Долабеллы на тот же пост. Сезар сказал, что консулом должен стать Долабелла, но после смерти Сезара это не устраивало Антония. Когда племена были созваны в свои века для голосования, Антоний, не понимая, какую форму слов он должен был использовать как авгур, чтобы остановить церемонию, пролепетал. "Не назовешь ли ты его очень похожим на Лелия?" - говорит Цицерон. Лелий прославился среди авгуров своим мастерством.

"Несчастный, ты бросаешься к ногам Сезара, прося лишь разрешения стать его рабом. Ты добивался для себя того состояния рабства, которое тебе всегда было легко переносить. Было ли у тебя какое-нибудь повеление от римского народа, чтобы просить того же для него? О, это твое красноречие, когда ты, обнаженный, выступал с речами перед народом! Кто видел более мерзкий поступок, чем этот, или более достойного бичевания?" "Пострадал ли за это Таркин, пострадали ли Спурий Кассий, Мелий и Марк Манлий, чтобы через много веков Марк Антоний поставил в Риме царя?" С подобными оскорблениями он доходит до

конца своей декламации, когда снова заявляет, что готов умереть на своем посту, защищая Республику. То, что он теперь решил умереть, если это потребуется, мы можем принять как данность, но мы не можем заставить себя одобрить бурю оскорблений, под которой он пытался утопить память и имя своего антагониста. Столь яростный поток слов, которые при чтении кажутся вылитыми в стремительном порыве энергии момента, поражает нас, когда мы думаем, что это была работа его спокойных минут. То, что он должен был подготовить такое задание в уединении своей каморки, просто удивительно. В ней чувствуется внезапная страсть; но надо признать, что она не очень приятна. Она более римская и менее английская, чем все, что мы имеем от Цицерона, - за исключением его оскорблений в адрес Пизона, с которым он был уже наполовину примирен.

Но делал он это исключительно ради своей страны. Он горевал, когда Цезарь узурпировал функции правительства; но в своем горе он уважал Цезаря и считал, что лучше всего вести борьбу путем подчинения. Но когда Сезар умер, а Антоний стал играть роль тирана, сама его душа взбунтовалась. Тогда он сел за стол, чтобы подготовить первую порцию острых личных оскорблений, добавляя слово к слову и фразу к фразе, пока не воздвиг этот неаппетитный монумент злопыхательства. Именно благодаря ему Антоний теперь известен всему миру. Плутарх не делает особых упоминаний о втором "Филиппике". В своей жизни Антония он вообще не упоминает об этих орациях, а в жизни Цицерона рассказывает, как Антоний приказал принести ему ту правую руку, которой Цицерон написал свои "Филиппики".

Шекспировский "юный Октавий" взял себе имя Октавиан - Кай Юлий Цезарь Октавиан - и поссорился с Антонием до крови. Он решил, что его усыновил Цезарь, и теперь требовал все сокровища, собранные его дядей, себе. Антоний, который уже украл их, заявил, что они принадлежат государству. В любом случае поводов для ссоры между ними было достаточно, и они стали врагами. Каждый из них, похоже, выдвинул против другого обвинение в убийстве, и каждый стремился завладеть солдатами. Если посмотреть на период в Риме, о котором мы пишем, как мы видим сейчас: все гарантии Республики исчезли, все законы попираются ногами, консулы, преторы и трибуны не избираются, а навязываются государству, все в беспорядке, провинции становятся открытой добычей самых жадных грабителей - достаточно очевидно, что надежды на Цицерона больше не было. Удивительно, что в повседневных делах можно было не обращать внимания на закон. Когда нам говорят, что Антоний украл сокровища Сезара и заплатил ими свои долги, мы склонны спросить, почему он вообще заплатил свои долги. Но Цицерон не терял надежды. Во всей его жизни нет ничего более примечательного, чем та последняя жизненная сила, с которой он пытался противостоять надвигающемуся потоку военной деспотии. Да и во всей истории нет ничего более удивительного, чем способность власти восстанавливать себя, о чем свидетельствует упорядоченная империя Августа, выросшая из беспорядка, оставленного Сезаром. Она напоминает о бессилии безрассудного наследника довести до полного разорения княжеские владения великого вельможи, собранные воедино благодаря мастерству многих заботливых предков. Вещь вырастает до таких размеров, что становится практически неразрушимой. Это как башня Сесилии Метеллы, о которую тщетно бились бури двадцати веков. Глядя на состояние Римской империи, когда умер Цицерон, кто бы не заявил о ее гибели? Но она все же "зажгла свои лучи", причем не столько рукой одного человека, Августа, сколько силой конкретной власти, собранной внутри нее - "Quod non imber edax non aquilo impotens Possit diruere".²⁰⁸ Цицерон с патриотической галантностью думал, что еще есть шанс для старой Республики, думал, что своим красноречием, своей яростью слов он сможет обратить людей от обмана к правде, от жажды грабежа провинции к желанию сохранить свою страну. Антоний уже отчаялся, но все еще надеялся, что его слова подействуют на сердце этого юного Сезара. Юноша был так же бессердечен, как если бы

уже три года управлял провинцией. Ни один римлянин не был более осторожным, более мудрым, более бессердечным, более способным проложить себе путь к трону через кровь, чем молодой Август. Цицерон боится Октавиана - как мы теперь его называем - и знает, что сдержать его можно, только не выпуская власть из своих рук. В письме к Аттику из Арпинума он пишет: "Я полностью согласен с тобой. Если Октавиан получит власть в свои руки, он будет настаивать на указах тирана гораздо тщательнее, чем это было, когда сенат заседал в храме Теллуса. Тогда все будет делаться в противовес Бруту. Но если он будет побежден, то посмотрите, насколько невыносимым будет господство Антония".²⁰⁹ В том же письме он говорит о *De Officiis*, которую только что написал. В следующем и последнем послании к своему старому другу он поздравляет себя с тем, что наконец-то смог посориться с Долабеллой. В конце концов Долабелла отвернулась от него, купленная на деньги Антония. Затем он возвращается к теме Октавиана и своим сомнениям в его верности. Его просили присягнуть Октавиану, но он отказался, пока не увидит, как поведет себя молодой человек, когда Касей станет кандидатом в трибуны. Если он покажет себя врагом Казея, который был одним из участников заговора, Цицерон поймет, что ему нельзя доверять. Тогда он впадает в отчаяние и заявляет, что надежды нет. "Даже Гиппократ не желал одаривать лекарствами тех, кому они ничего не могли дать". Но он отправляется в Рим, в самую пасть опасности. "Для таких, как я, пасть публично менее подло, чем втайне". Этими словами, едва ли не последними, написанными им Аттикусу, заканчивается эта переписка: самая нежная, самая доверительная и самая открытая из всех, когда-либо опубликованных в мире, как пришедшая от одного человека к другому. Никогда не было написано писем, более полезных для прояснения характера; но читать их с этой целью следует с осторожностью, и вряд ли стоит цитировать их до тех пор, пока они не будут поняты.

b.c. 44, aetat. 63.

Борьба за провинции была открытой и признанной. При Цезаре Децим Брут был выдвинут в Цизальпинскую Галлию, Марк Брут - в Македонию, а Кассий - в Сирию. Следует отметить, что эти три человека были самыми видными среди заговорщиков. С тех пор Антоний и Долабелла добились голосов народа, чтобы изменить соглашение. Антоний должен был отправиться в Македонию, а Долабелла - в Сирию. Решение было вновь изменено, когда Антоний узнал, что Децим покинул Рим, чтобы принять командование. Он отправил в Македонию своего брата Кая, а сам претендовал на пост наместника Цизальпинской Галлии. Таким образом, в каждой провинции было по два римских наместника, и в каждом случае каждый из них был настроен бороться за обладание ею. Антоний поспешил покинуть Рим до конца года, чтобы помешать Дециму занять север Италии, а Цицерон отправился в Рим, решив принять участие в надвигавшейся борьбе. Сенат был созван на 19 декабря, и на нем присутствовало большое количество людей. Тогда он произнес третью филиппику, а вечером того же дня обратился к народу с четвертой. Следует понимать, что ни одна из этих речей не была услышана Антонием. В это время Цицерон стал признанным вождем республиканской партии, заняв место, которое так долго занимал Помпей. Многие из друзей Цезаря, напуганные его смертью, или, скорее, трусливые из-за отсутствия его гения, сочли более безопасным отступить от цезарианской партии, которой командовали Антоний и Долабеллой, головорезы и гладиаторы империи. Среди них были Гирций и Панса, а также Бальбус и Оппий. В этот момент они были сильны в Риме. Легионы разделились: одни были с Антонием, другие с Октавианом, третьи с Децимом Брутом. Большинство было с Антонием, которого они ненавидели за его жестокость, но были с ним, потому что на его плечи упала мантия власти Сезара. Цицерон считал, что если он сможет склонить Октавиана к сотрудничеству с ним, то республика может быть вновь установлена. У него наверняка хватит влияния, чтобы удержать юношу от стремления к пагубной власти своего великого дяди. Он

понимал, что власть на самом деле принадлежит владельцу солдат, но думал, что сможет контролировать этого мальчишку-офицера и таким образом получить свои легионы в распоряжение Республики.

Сенат был созван номинально для того, чтобы потребовать от консулов года обеспечить охрану для своей безопасности. Цицерон делает это поводом для увековечивания чувства против Антония, которое уже укрепилось в Риме. Он разражается похвалами в адрес Октавиана, которого он называет "этот юный Цезарь - почти мальчик"; рассказывает, какие божественные дела уже совершил мальчик, как он отбил у мятежников два неукротимых легиона - Марция и Четвертый. Затем он переходит к оскорблениям в адрес Антония. Тарквиний, чье имя наиболее odioзно для римлян, был невыносим как тиран, хотя и сам был неплохим человеком; но единственная цель Антония - продать империю и потратить цену. Антоний созвал сенат на ноябрь, пригрозив сенаторам страшными карами в случае их отсутствия; но когда настал день, Антоний, консул, сам сбежал. Он не только выливает на голову Антония все сосуды своего гнева, но и высмеивает его, цитируя его неуклюжие слова. Он приводит примеры его безрассудства, бессилия и жадности. Затем он снова восхваляет молодого Цезаря, и двух консулов на следующий год, и два легиона, и Децима Брута, который собирается сражаться за Республику на севере Италии, и голосует за то, чтобы была поставлена необходимая гвардия. Вечером того же дня он обращается к народу с четвертым Филиппиком. Он снова восхваляет отрока и два легиона и снова поносит Антония. После этого дня никто не может сказать, что он скрывал свой гнев или молчал от страха. Он поздравляет римлян с их патриотизмом - напрасные поздравления - и побуждает их к новым усилиям. Он радуется, что у них есть такой герой, как Децим Брут, чтобы защищать их свободы, и, почти что, что у них есть такой враг, как Антоний, чтобы побеждать. Похоже, что его слова - возможно, потому, что их было так мало, - завладели воображением людей, и они кричали ему, что в этот день он во второй раз спас свою страну, как он потом вспоминал.²¹⁰

С этого времени мы лишены тех интимных и дружеских писем, которые были с нами в качестве проводника на протяжении последних двадцати одного года жизни Цицерона. Хотя мы располагаем большим количеством подлинных писем, написанных в последний год его жизни, они написаны в совершенно ином стиле, чем предыдущие. По большей части это настоятельные призывы к тем из его политических друзей, у которых он мог искать поддержки в своих взглядах, - часто к тем, к кому он обращался напрасно. Это страстные мольбы о выполнении общественного долга, и как таковые они полностью заслуга писателя. Его письма к Плнку прекрасны в своем патриотизме, как и письма к Дециму Бруту. Когда мы думаем о его возрасте, о его рвении, о его искренности и о тех опасностях, которым он подвергался, мы едва ли знаем, как в достаточной мере *ad mire* общественный дух, с которым в такой кризисный момент он взял на себя руководство партией. Но наш проводник к его внутренним чувствам исчез. Нет больше писем, которые бы поведали нам о всех сомнениях в его душе. Мы думаем о нем, как о каком-нибудь мужественном командире, которого оставили дома, чтобы он занимался делами войны, в то время как менее опытные люди были отправлены в поход.

Существует также книга писем, опубликованных как переданные между Цицероном и Юнием Брутом. Критики в целом единодушно осудили их как подделку. Во всяком случае, если они подлинные, их язык холоден и формален.

b.c. 43, ætat. 64.

Антоний отправился в Цизальпинскую Галлию, чтобы изгнать из провинции консула, назначенного народом для управления ею. Выдвижение Децима на самом деле было

выдвижением Цезаря, но право Децима на власть было во всяком случае выше, чем у любого другого претендента. Он был назначен в соответствии с существовавшей тогда властью, и его назначение было подтверждено постановлением сената, санкционировавшим все действия Цезаря. В конце концов, это был вопрос простой власти, ибо Цезарь отменил все правовые формы. Однако необходимо было, чтобы решение приняли те, кто стоял у власти в Риме. Консулы Гирций и Панса были друзьями Цезаря, а также друзьями Антония. Они не испытывали к Антонию того доверия, которое внушал им Цезарь, но стремились подружиться с ним - или, скорее, не порывать с ним. Когда собрался сенат, первым высказал свое мнение некто Фуфий Кален - друг Антония и тесть Пансы. Он был одним из консулов Цезаря, назначенным на месяц или два, и теперь был выбран на почетную роль первого оратора, так как был консульским сенатором. Он был сторонником заключения соглашения с Антонием и предложил направить к нему депутация из трех сенаторов с посланием, призывающим его уйти в отставку. Вероятно, цель заключалась в том, чтобы дать Антонию время, или, скорее, Октавиану время, чтобы объединиться с Антонием, если это его устроит. Другие высказались в том же смысле, а затем Цицерону было предложено высказать свое мнение. Это был пятый Филиппик. Он выступает за войну с Антонием - вернее, он называет это не войной, а публичным нарушением мира, который заключил Антоний. Начинает он достаточно мягко, но по мере того, как продолжает, его тема становится все теплее: "Должны ли они посылать послов к предателю своей страны? * * * Пусть он вернется из Мутины". Я сохраняю старое латинское название, которое сохранилось для нас в названии Модены. "Пусть он перестанет спорить с Децимом. Пусть он уйдет из Галлии. Не следует посылать нас умолять его об этом. Мы должны силой принудить его. * Мы не посылаем к Ганнибалу гонцов, которые, если Ганнибал не подчинится, могли бы пожелать идти дальше в Карфаген. Куда же пойдут люди, если Антоний откажется им повиноваться?" Но это бесполезно. Красноречивыми словами он восхваляет Октавиана, два легиона и Децима. Он хвалит даже труса Лепида, который командовал легионами, а теперь был губернатором Галлии за Альпами и Северной Испанией, и предлагает народу поставить ему позолоченную статую на коне - так важно было получить, если возможно, его услуги. Увы, невозможно, чтобы таким человеком двигали патриотические мотивы. Вскоре Лепид перешел на сторону победителей и стал одним из членов второго триумvirата вместе с Антонием и Октавианом.

Красноречие Цицерона в этом случае оказалось бесполезным. На этом заседании сенат не принял никакого решения, но на третий день после этого постановил отправить к Антонию сенаторов Сервия Сульпиция, Луция Пизона и Луция Филиппа. Почести, которых он требовал для Лепида и других, были оказаны, но в отношении послов он был переигран. 4 января Цицерон снова обратился к народу на Форуме. Его задача была очень сложной. Он не хотел обидеть сенат и в то же время стремился взбудоражить граждан и возбудить в них желание немедленно начать войну. Сенат, говорил он им, вел себя не позорно, а темпорально. Война, к сожалению, должна быть отложена на те двадцать дней, которые необходимы для отъезда и приезда послов. Послы ничего не могли сделать. Но все же они должны ждать. Тем временем он не будет бездействовать. Для них, римского народа, он будет работать и наблюдать со всем своим опытом, с усердием, почти превышающим его силы, чтобы отплатить им за их веру в него. Когда с ними был Кесарий, у них не было иного выбора, кроме повиновения - настолько сильно изменились времена. Если они и теперь станут рабами, то это будет их собственная вина". Затем, выражаясь общим языком, он высказывает мнение, которое было характерно для римлян того времени: "Римскому народу не позволено становиться рабами - народу, которому бессмертные боги завещали править всеми народами земли".²¹¹ Так он закончил шестой филиппик, который, как и четвертый, был обращен к народу. Все остальные были произнесены в сенате.

Примерно в это время он пишет Дециму в Мутину письмо, полное надежды, которая, как мы видим, была искренней. "По всей Италии идет набор рекрутов - если это можно назвать набором, который на самом деле является спонтанным порывом к оружию всего населения".²¹² Он ожидает писем с известиями о том, что делает "наш Гирций" и что "мой юный Сезар". Гирций и Панса, консулы этого года, хотя и принадлежали к партии Цезаря и были назначены Цезарем консулами, были вынуждены сражаться за Республику. Они были в дружеских отношениях с Цицероном и сомневались в Антонии. Гирций уже последовал за армией, и Панса собирался сделать это. Оба они пали в битве при Мутине, и теперь никто не может обвинить их в недостатке верности. Но "мой Сезар", от имени которого Цицерон произнес столько сладких речей, о славе которого он так заботился, чьи ранние республиканские принципы он так стремился направить в нужное русло, заключил свои условия с Антонием при первом же случае. В это время Цицерон пишет Планку, избранному консулом на следующий год, и рисует перед его глазами картину всего, что он может сделать для республики. "Положись - да, молю тебя, клянусь бессмертными богами, - на то, что вознесет тебя на вершину славы и известности".²¹³

В конце января или в начале февраля он снова обратился к сенату по поводу посольства - вопроса, совершенно не относящегося к тому, который он был созван для обсуждения. По мнению Цицерона, в данный момент не было другой темы, которая могла бы занять мысли римского сенатора. "Мы собрались, чтобы решить вопрос об Аппиевом пути и о чеканке монет. Ум бунтует от таких мелких забот, раздираемый более важными делами". Послы должны вернуться - двое, по крайней мере, потому что Сульпиций умер в пути. Он предостерегает сенат от того, чтобы со спокойным хладнокровием принять такой ответ, какой, вероятно, пришлет им Антоний. "Почему я, человек мира, отказываюсь от мира? Потому что он низменный, потому что он полон опасностей - потому что мир невозможен". Затем он объясняет, почему это так. "Какой позор, если Антоний, после стольких грабежей, после возвращения изгнанных товарищей, после продажи налогов государства, выставления царств на аукцион, встанет на консульскую скамью и обратится к свободному сенату! * * * Можно ли иметь гарантированный мир, пока в государстве есть Антоний или много Антониев? Или как вы можете быть в мире с тем, кто ненавидит вас так же, как и он; или как он может быть в мире с теми, кто ненавидит его так же, как и вы? * * * У вас есть такая возможность, - говорит он наконец, - какая никогда не выпадала на долю ни одного человека. Ты можешь, со всем сенаторским достоинством, со всем рвением рыцарей, со всей благосклонностью римского народа, сейчас сделать Республику свободной от страха и опасности, раз и навсегда". Затем он заканчивает свою речь так: "В отношении тех вещей, которые были поставлены перед нами, я согласен с Сервилием". Это седьмой Филиппик.

В феврале послы вернулись, но вернулись, нагруженные дурными вестями. Сервий Сульпиций, который должен был стать их главным представителем, умер как раз в тот момент, когда они добрались до Антония. Двое других сразу же начали вести с ним переговоры, чтобы стать носителями предложенных им условий для возвращения в Рим. Это было именно то, чего им запрещали делать. Они донесли приказ сената до своего мятежного офицера, а затем признали власть этого мятежника, принеся обратно его предложения. Им даже не разрешили войти в Мутину, чтобы повидаться с Децимом; но, по правде говоря, они были слишком хорошо согласны с большинством сената, чьи сердца были на стороне Антония. Для этих любителей их рыбных прудов все было желаннее, чем возвращение к верности Республике. Депутаты были приняты сенатом, который обсудил их посольство, а на следующий день они собрались снова, когда Цицерон произнес свой восьмой Филиппик. Почему он не выступил в предыдущий день, я не знаю. Миддлтон несколько путается в своих рассказах. Морабин говорит, что Цицерон не смог добиться слушания, когда к нему пришли

депутаты. Сенат все же пришел к решению, против которого Цицерон на следующий день очень резко высказался. Они решили, что это не следует называть войной, а скорее беспорядками, и, похоже, не решались объявить Антония врагом народа. На следующий день сенат был созван, чтобы определить условия амнистии для солдат, последовавших за Антонием, и тогда Цицерон, отбросив второстепенные вопросы, обрушился на них в гнев. До этого он извил против Антония, теперь же его гнев был обращен к сенату. "Луций Цезарь, - сказал он, - сказал нам, что он дядя Антония и должен голосовать как таковой. Неужели вы все дяди Антония?". Далее он показывает, что война - единственное название, под которым можно описать это восстание. "Разве Гиртий, который уехал, больной, не назвал это войной? Разве молодой Сезар, столь же молодой, никем не побуждаемый к этому, не начал это как войну?" Он повторяет слова из письма Гиртия, которые могли быть использованы только на войне: "Я взял Клатерну. Их конница обращена в бегство. Произошла битва. Убито столько-то человек. Вот что вы называете миром!" Затем он рассказывает о других гражданских войнах, которые, по его словам, возникли из-за разногласий - "кроме последней между Помпеем и Сезаром, о которой я не буду говорить. Я не знал ее причин и ненавидел ее конец". Но в этой войне все люди, достойные называться римлянами, придерживаются одного мнения. "Мы сражаемся за храмы наших богов, за наши стены, за наши дома, за жилище римского народа, за его пенаты, за его алтари, за его очаги, за могилы предков - и мы сражаемся только против Антония". * * * Фуфий Кален говорит нам о мире - как будто я из всех людей не знаю, что мир - это благо. Но скажи мне, Каленус, разве рабство - это мир?" Он очень зол на Калена. Хотя он называл его своим другом, он был в большом гневе на него. "Я сражаюсь за Децима, а ты за Антония. Я хочу сохранить римский город, а ты хочешь видеть его разрушенным до основания. Можешь ли ты отрицать это, ты, который придумываешь всевозможные проволочки, чтобы ослабить Децима и сделать Антония сильным?"

"Я утешал себя тем, - говорит он, - что когда эти послы были отправлены и вернулись с презрением, сообщив сенату, что Антоний не только отказался покинуть Галлию, но и осаждают Мутину, не позволяя им даже увидеть Децима, - тогда, в страсти и ярости, мы должны были бы отправиться с оружием, конями и людьми и сразу же спасти нашего генерала. Но мы - с тех пор как увидели дерзость, наглость и гордость Антония - стали только трусливее, чем прежде". Затем он высказывает свое мнение об амнистии: "Пусть любой из тех, кто сейчас находится с Антонием, но покинет его до наступления марта и перейдет в войска консулов, или Децима, или молодого Сезара, будет считаться свободным от упреков. Если же кто по своей воле покинет их ряды, пусть получит награду и почести, как сочтут нужным Гирций и Панса, наши консулы". Это восьмой филиппик, и, возможно, самый лучший из всех. В нем нет той горькой инвективы, что во втором, но в нем есть подлинное чувство патриотической искренности. Девятый также очень красноречив, хотя это скорее пеан, исполненный от имени его друга Сульпиция, который в плохом состоянии здоровья столкнулся с опасностью путешествия и умер во время попытки, чем один из этих филиппиков, которые, как предполагается, были написаны и произнесены с целью уничтожить Антония. Это образец погребальных ораций, произносимых от имени гражданина, погибшего на службе своей стране, которые были распространены среди римлян.

Десятая посвящена Марку Юнию Бруту. Если бы я попытался объяснить положение Брута в Македонии и рассказать, как он занял это место, я бы отвлекся от своей цели, касающейся жизни Цицерона, и попытался бы написать историю того времени. Моя цель - просто проиллюстрировать жизнь Цицерона теми фактами, которые нам известны. В тогдашней неразберихе Брут получил некоторые преимущества в Македонии и вернул себе легионы, которыми владел Кай Антоний и которые теперь были в его руках как пленники. В это время молодой Марк Цицерон был его лейтенантом, и нам рассказывают, как один из этих легионов

перешел под его командование. Во всяком случае, Брут написал домашние письма в сенат еще в начале марта, и Панса созвал сенат, чтобы принять их.

Он снова нападает на Фуфия Калена, тестя Пансы, который был единственным человеком в сенате, достаточно смелым, чтобы выступить против него; хотя, несомненно, было много пеших сенаторов - мужчин, которые ходили по дому взад-вперед, чтобы отдать свой голос, - которые хотели выступить против него. Он благодарит Пансу за то, что тот так быстро созвал их, поскольку, расставаясь вчера, они не ожидали, что так скоро соберутся снова. Из этого можно сделать вывод о существовании практики рассылать гонцов по домам сенаторов, чтобы созвать их вместе. Он хвалит Брута за мужество и терпение. Его цель - убедить слушателей, а через них и римлян того времени, что дело Антония безнадежно. Давайте восстанем и сокрушим его. Давайте все поднимемся, и мы обязательно его сокрушим. Ничто так не способствует достижению успеха, как вера в то, что успех уже достигнут. "Со всех сторон люди бегут вместе, чтобы потушить пламя, которое он разжег. Наши ветераны, следуя примеру молодого Цезаря, отвергли Антония и его попытки. Легион Марция" притупил край его ярости, а "Легион Кварта" атаковал его. Покинутый собственными войсками, он прорвался в Галлию, которая, как он убедился, была враждебна ему оружием и противостояла ему духом. Армии Гиртия и молодого Сезара идут по его следу, а теперь легионы Пансы подняли сердце города и всей Италии. Он один - наш враг, хотя вместе с ним и его брат Луций, о котором мы все так сожалеем, потерю которого мы с трудом пережили! Какого дикого зверя вы знаете, более отвратительного или более чудовищного, который, кажется, был создан для того, чтобы сам Марк Антоний не был самым мерзким из всех?" В заключение он предлагает сенату выразить Бруту благодарность и постановить, что Квинт Гортензий, который удерживал провинцию Македонию против Кая Антония, должен остаться там командиром. Эти два предложения были приняты.

Когда мы читаем это, все кажется благополучным для Республики; но если мы обратимся к предполагаемой переписке между Брутом и Цицероном, то обнаружим иное положение вещей. И эти письма, хотя мы и сомневаемся в их подлинности, поскольку их язык холоден, формален и не цицероновский, все же, вероятно, были написаны тем, кто имел доступ к тем письмам, которые написал сам Цицерон: "Что касается того, что ты пишешь о недостатке людей и денег, то мне очень трудно дать тебе совет. Я не понимаю, как ты сможешь собрать деньги, кроме как заняв их у муниципалитетов" - в Македонии - - "в соответствии с постановлением сената. Что касается людей, то я не знаю, что предложить. Панса настолько не щадит людей из своей армии, что обижает тех, кто идет к вам добровольцами. Некоторые думают, что он желает, чтобы вы были менее сильны, чем вы есть, чего, впрочем, я сам не подозреваю".²¹⁴ Письмо могло попасть в руки тех, кто не собирался его читать, и Цицерон был вынужден быть начеку, сообщая о своих подозрениях - Цицерону или псевдо-Цицерону. В следующем письме Брута упрекают в том, что он оставил Антония в живых, когда был убит Цезарь. "Если бы какой-нибудь бог не вдохновил Октавиана, - говорит он, - мы бы полностью оказались во власти Антония, этого низкого и отвратительного человека. И ты видишь, как ужасна наша борьба с ним". И он пытается пробудить его к необходимости строгости. "Я вижу, как тебе нравится милосердие. Это очень хорошо. Но для милосердия есть другое место и другое время. Вопрос для нас заключается в том, будем ли мы существовать дальше или будем изгнаны из мира". Эти строки, призванные отразить его личные опасения, касаются дел насущных в тоне, совершенно отличном от его публичных выступлений. В них выражены сомнения, тревога, иногда почти отчаяние. Но тем не менее он продолжает выступать в сенате, понимая, что для достижения успеха ему необходимо казаться, что он его добился.

Одиннадцатый филиппик был вызван прибывшим в Рим известием о смерти Требония. Требоний был застигнут врасплох в Смирне с помощью хитроумной уловки, за которую Долабелла не был бы опозорен, если бы в ответ на свой успех не убил Требония. Насколько кровавая жестокость, о которой мы имеем рассказ со слов Цицерона, была на самом деле исполнена, сейчас сказать невозможно. Греческий историк Аппиан не рассказывает об этих ужасах, а лишь намекает, что Требонию, попавшему в силки, отрубили голову.²¹⁵ То, что Цицерон поверил в эту историю, вполне вероятно. Она рассказана против его зятя, о котором он до сих пор отзывался положительно. Он не стал бы выступать против этого человека иначе, как по убеждению. Долабелла был немедленно объявлен врагом Республики. Цицерон обрушивает на него всю свою мощь и говорит, что таким, как Долабелла, его сделала жестокость Антония. Но далее он философствует и заявляет, насколько несчастнее Требония был сам Долабелла, который настолько ничтожен, что с самого детства для него были в радость те вещи, которые для других детей считались позорными. Затем он переходит к спорному вопросу: оставить ли Брута командовать Македонией, а Кассия Сирией - Кассий уже собирался отомстить за смерть Требония - или послать туда других знатных римлян, например Публия Сервилия, или Гиртия и Пансу, двух консулов, когда их можно будет отпустить из Италии. Здесь необходимо читать между строк. Отправка консулов означала бы вывод войск из Италии и оставила бы Рим открытым для фракции цезарианцев. Сейчас Дециму и Цицерону, а также всем остальным, кто мог быть верен Республике, приходилось сражаться с помощью не своих собственных сил. Гиртия и Панса заставили встать на сторону Республики красноречие Цицерона и действия тех сенаторов, которые считали себя обязанными подчиняться Цицерону. Но они не возражали против того, чтобы отослать консулов и консульские легионы под предлогом спасения провинций. Они охотно пошли на это - с реальной целью передать Италию тем, кто был врагом Цицерона, но не принадлежал ему. Все это Цицерон понимал и, ведя борьбу, должен был быть начеку не только против солдат Антония, но и против сенаторов, которые считались его друзьями, но в душе стремились вернуть какого-нибудь Цезаря, чтобы сохранить для них их привилегии.

Цицерон в этом вопросе говорил какую-то чепуху. "По какому праву, по какому закону, - спрашивает он, - Кассий должен отправиться в Сирию? По закону, который санкционировал Юпитер, постановивший, что все хорошее для Республики должно быть справедливым и законным". Ведь ни Брут не имел права утвердиться в Македонии в качестве проконсула, ни Кассий в Сирии. Эта ссылка на Юпитера была мстительной постановкой вопроса. Но, возможно, в период такого смятения необходимо было взять на себя хоть какой-то предлог законности, пусть и такой скудный. Теперь ничто не могло быть сделано в истинном повиновении законам. Триумвират с Сезарем во главе окончательно уничтожил все законы, и тем не менее все требовали законных прав! Затем он поет дифирамбы Кассию, но заявляет, что не осмеливается воздать ему должное в этом месте за величайший поступок, который он совершил. Он, конечно же, имеет в виду убийство Сезара.

Патеркул говорит нам, что все эти вещи были постановлены сенатом.²¹⁶ Но он ошибается. Постановление сената было направлено против Цицерона, и на следующий день, в условиях сильного волнения, он обратился к народу с речью по этому вопросу. Этому воспротивились Панса, пытавшаяся помешать ему выступить на Форуме, и Сервилия, теща Кассия, опасавшаяся, как бы ее зять не нарвался на гнев консулов. Он дошел до того, что сказал народу, что Кассий не будет подчиняться сенату, а в случае крайней необходимости возьмет на себя ответственность действовать в интересах республики.²¹⁷ Не было момента в этом волнующем году, да и, думаю, во всей жизни Цицерона, когда он вел бы себя с большей смелостью, чем сейчас, обращаясь от сената к народу и с твердостью заявляя, что

постановление сената должно быть признано бесполезным. Прежде чем наступило время, когда его можно было исполнить, и Гиртий, и Панса погибли. Они пали при освобождении Децима в Мутине. Его обращение к народу по этому поводу не было оглашено и не сохранилось.

Затем встал вопрос о втором посольстве, на которое Цицерон сначала согласился. К этому его побудили, как он говорит, прибывшие известия об изменившихся обстоятельствах со стороны Антония. Кален и Пизон дали понять сенату, что Антоний желает мира. Цицерон согласился и вошел в состав делегации. Двенадцатый "Филиппик" был написан с целью показать, что такое посольство не должно быть отправлено. Положение Цицерона в этот период было весьма своеобразным и опасным. Сенат не то чтобы противился его усилиям, но ненавидел их. Они боялись, что если Антоний добьется успеха, то те, кто выступал против Антония, будут уничтожены. Самые смелые открыто упрекали Цицерона в опасности, которой они подвергались, участвуя в его сражениях.²¹⁸ Избавиться от Цицерона было их желанием и их проблемой. Он согласился отправиться в это посольство - кто может сказать, по каким мотивам? Для него это была особенно опасная миссия. Он вряд ли мог надеяться, что когда-нибудь вернется живым. Возможно, он согласился отправиться с жизнью в руках, чтобы они знали, что он готов умереть за Республику. Возможно, он слышал о каких-то изменившихся обстоятельствах. Но он передумал и решил, что не пойдет, если только его не позовет Сенат. Похоже, была предпринята явная попытка вывезти его из Рима и отправить туда, где ему перережут горло. Но он отказался, и вот речь, в которой он это сделал.

"Невозможно, - говорит французский критик, говоря о двенадцатом Филиппике, - окружить слово "я боюсь" более внушительными ораторскими аргументами". Ему не приходит в голову, что Цицерон мог подумать, что он еще может сделать что-то лучшее с остатками своей жизни, чем выбросить их на ветер, попав в ловушку. Ничто так не свойственно людям, как страх смерти, и ничто не является более необходимым, иначе люди вскоре перестали бы жить. Бояться смерти больше, чем бесчестия, - вот истина, которую, похоже, не осознал французский критик, издеваясь над памятью Цицерона с презрительной усмешкой: "J'ai peur". Приходило ли в голову французскому критику спросить себя, с какой целью Цицерон отправился в лагерь Антония, где его наверняка убьют, и тем самым поддержал мнение своих врагов в Риме? Делегация не была отправлена, но вместо нее Панса, оставшийся консулом, в начале апреля вывел свои легионы из Рима.

до н. э. 43, ætat. 64.

Лепид, который был проконсулом в Галлии и Северной Испании, в это время написал письмо в сенат, рекомендуя заключить мир с Антонием. Цицерон в своем тринадцатом "Филиппике" показывает, насколько бесполезным был бы такой мир. То, что Лепид был тщеславным и непостоянным человеком, рассчитывавшим лишь на собственную выгоду при выборе стороны, теперь понятно; но когда было получено это письмо, предполагалось, что он имеет большой вес в Риме. Однако он нанес некоторую обиду сенату, не признав всех почестей, которые были ему оказаны. Совет был отвергнут, и Цицерон показывает, насколько этот человек был непригоден для того, чтобы его давать. Однако он все еще говорит о нем в комплиментарных выражениях, хотя из письма, написанного им Лепиду примерно в это время, становится понятен характер его чувства к этому человеку: "По моему мнению, ты поступил бы лучше, если бы оставил в покое эту попытку заключить мир, которая не одобряется ни сенатом, ни народом, ни любым хорошим человеком".²¹⁹ Если вспомнить обычные условия написания римских писем, то следует признать, что это было простое и не очень вежливое искушение заставить Лепида замолчать. Далее в "Филиппиках" он читает

письмо, которое Антоний отправил Гирцию и молодому Цезарю и которое они переслали в сенат. Письмо достаточно дерзкое и оскорбительное - в нем они бросают в зубы, что скорее накажут убийцу Требония, чем убийцу Цезаря. Цицерон делает это с некоторым остроумием, но мы вынуждены заметить, что с одной стороны сказано столько же, сколько и с другой. Брут, Кассий, Требоний и другие убили Цезаря. Долабелла, возможно, при обстоятельствах большой жестокости, убил Требония. Цицерон снова и снова выражал свое сожаление по поводу того, что Антоний был пощажён, когда Цезарь был убит. Чтобы решить, кто был прав, а кто виноват, нам нужно вернуться назад, до первой резни, и даже после нее мы можем воспринимать поступки каждого в этом направлении только как часть междоусобной вражды. Опыт с тех пор объяснил нам, к чему приводит введение кровопролития в такие ссоры. Законы, признающие войну, признаны и были признаны. Но когда А убивает Б, потому что считает, что Б совершил зло, А уже не может жаловаться на убийство. И критика Цицерона несколько глуповата. "И ты, мальчик, - сказал Антоний, обращаясь к Октавиану, - Et te, puer!" "Скоро ты увидишь, что он мужчина", - говорит Цицерон. Латынь Антония не цicerоновская. "Utrum sit elegantius", - спрашивает он, задавая еще какой-то вопрос о Сезаре и Требонии. "Как будто в этой войне может быть что-то изящное", - требует Цицерон. Он продолжает письмо в том же духе, выставляя Антония на посмешище так, что, должно быть, в сердце Фульвии, жены Антония, которая была в Риме, защемило желание вырвать этот горький язык из его пасти. Таким был тринадцатый Филиппик.

21 апреля был произнесен четырнадцатый и последний. В начале месяца Панса покинул Рим и направился в Мутину с намерением освободить Децима. Антоний, который в то время осаждал Мутину так, что не мог ни выйти, ни войти, и довел Децима до голодной смерти, обнаружив, что его собираются осадить, привел свои войска в движение и напал на тех, кто его атаковал. Затем произошла битва, в которой Антоний был побежден, а Панса, одного из консулов, так ранили, что он вскоре умер. Антоний отступил в свой лагерь, но на него снова напали Гирций и Октавиан, а также Децим, который вышел из города. Он был разбит и бежал, но Гиртий был убит в битве. Суетоний рассказывает, что в его время ходили слухи, что Август, тогда еще Октавиан, сам убил Гиртия своими руками во время боя - Гиртий был его соратником и сражался на той же стороне; и что он заплатил Глику, врачу Пансы, чтобы тот отравил его во время перевязки ран.²²⁰ Эта история уже была известна Тациту.²²¹ Ее стоит повторить только для того, чтобы показать, какого рода поведение не постеснялись приписать любимому императору Рима серьезный историк и достойный биограф.

Именно после получения в Риме известий о первой битве, но еще до начала второй, был произнесен последний филиппик. Не было известно ни о смертельном ранении Пансы, ни об убийстве Гиртия, ни о том, что Децим был освобожден; но было известно, что Антоний получил чек. Сервилий предложил прощение и предложил убрать сагу и вернуться к своему обычному одеянию. Сагум - это обычный военный плащ, который первые римляне надевали вместо тоги, когда выходили на войну. В более поздние времена, когда определение между солдатом и гражданским лицом стало более полным, те, кто оставался дома, надевали сагум в знак своих военных чувств, когда Республика вела свои сражения под Римом. Я не думаю, что когда Красс был в Парфии или Цезарь в Галлии, сагум носили. Не было точно известно, когда происходили далекие сражения. Но Цицерон позаботился о том, чтобы сагум носили должным образом, и даже сам надел его, чего от него, как от консула, не требовалось. Теперь Сервилий предложил, чтобы они сняли плащи, одержав победу; но Цицерон не позволил. Децим, говорит он, не получил облегчения, и они надели плащи в знак решимости помочь своему генералу в его беде. И он недоволен использованным языком: "Вы еще даже не называли Антония 'врагом народа'". Затем он снова обрушивается на ужас действий Антония: "Он ведет войну, слишком страшную, чтобы о ней говорить, против четырех римских

консулов" - он имеет в виду Гиртия и Пансу, которые уже были консулами и, по правде говоря, уже умерли, а также Децима и Планка, которые были назначены консулами на следующий год. Однако впоследствии Планк присоединил свои легионы к легионам Антония и настоял на создании второго триумvirата. "Перебегая от одной сцены резни к другой, он причиняет везде страдания, опустошение, кровопролитие и муки". Язык настолько прекрасен, что стоит обратить внимание на эти слова.²²² "Разве не он ответственен за ужасы Долабеллы? Что он сделал бы в Риме, если бы не покровительство Юпитера, видно из тех бедствий, которые его брат причинил этим беднякам из Пармы - этот Луций, которого ненавидят все люди, и боги тоже ненавидели бы, если бы ненавидели, как должно. В каком городе Ганнибал был так же жесток, как Антоний в Парме; и не назовем ли мы его врагом?" Сервилий просил мольбы, но просил лишь умеренной длины. И Сервилий не называл генералов Imperatores. Кто же должен так называться, как не те, кто был доблестен, удачлив и успешен? Цицерон забывает о значении этого титула и о том, что даже Бибул в Сирии назывался Imperator. Здесь он отходит от своей темы и долго восхваляет себя. Похоже, что Рим в это время был в смятении, и враги Антония делали все возможное, чтобы поддержать его, а также вскружить ему голову. Его с триумфом внесли в здание сената, и весь город благодарил его. Похвалив разных полководцев и назвав их всех императорами, он просит сенат объявить им прощение на пятьдесят дней. Пятьдесят дней должны быть посвящены благодарению богам, хотя уже было объявлено, как мало они сделали для благодарности, поскольку Децим еще не был освобожден.

Пятьдесят дней дается на битву при Мутине, которая, как предполагалось, была проведена лишь наполовину. Когда мы слышим термин "supplicatio", впервые упоминаемый в Ливии, был дан один день. Когда богов благодарили за победу над Верцингеториксом, их число возросло до двадцати. Теперь для этого наполовину завершенного дела пятидесяти едва хватало. Когда время подошло к концу, Антоний и Лепид с триумфом объединили свои силы. Панса и Гирций были мертвы, а Децим Брут бежал и, вероятно, был убит. Ничто не увеличивается так несоразмерно случаю, как оказание почестей. Звезды, падая дождем, бледнеют и превращаются в облако пыли. Почести вскоре лишаются всякой чести, как только сделан первый шаг вниз. Декрет был принят, и Цицерон закончил свою последнюю речь по столь ничтожному поводу. Но хотя само дело, совершенное тогда, кажется нам сейчас мелким и пустяковым, оно было завершено великолепным языком.²²³ Отрывок, первые слова которого я привожу ниже, очень красив в оригинале, хотя и плохо переносит перевод. Так он закончил свой четырнадцатый "Филиппик", и серебряный язык, который так часто очаровывал Рим, умолк навсегда.

По крайней мере, у нас нет никаких записей о дальнейших речах; и, как мне кажется, он больше не брал на себя труд вложить в слова, которые должны были пронзить всех, кто их слышал, не мысли, а страстные чувства момента.

Я рискну процитировать современника, который хвалил "Филиппики". Мистер Форсайт говорит: "Ничто не может превзойти красоту языка, ритмическое течение периодов и гармонию стиля. Структура латинского языка, позволяющая оратору или писателю располагать слова не просто в соответствии с порядком мыслей, как в английском, а так, чтобы они лучше всего действовали, слишком часто ставит в тупик переводчика, который стремится передать силу отрывка, не меняя его расположения. Часто, как и в случае со всеми попытками облечь мысли древних в современную форму, приходится использовать перифразы, чтобы объяснить смысл идеи, которая была мгновенно уловлена греческим или римским ухом. Многие аллюзии, промелькнувшие в умах сенаторов как молния, должны быть

объяснены в скобках, а многие домашние колкости и едкий сарказм теперь лишены своего жала, которое остро пронзило их в момент произнесения около двадцати веков назад.

"Но при всех этих недостатках я надеюсь, что даже английский читатель сможет распознать в этих речах нечто от величия древнеримского красноречия. Благородные отрывки, в которых Цицерон пытается заставить своих соотечественников из чувства стыда подражать героическим добродетелям своих предков, призывает их смело идти на любые опасности и приветствовать смерть, а не рабство в последней борьбе за свободу, сияют великолепием, которое не может уничтожить даже перевод. И невозможно не восхищаться гением оратора, чьи слова сделали больше, чем армии, чтобы вернуть утраченную свободу Рима".

Его слова сделали больше, чем армии, но ни те, ни другие не смогли сделать ничего долговечного для Республики. Каким же был один честный человек среди многих? Мы помним вердикт Моммзена: "О римской олигархии этого периода нельзя вынести никакого приговора, кроме неумолимого и беспощадного осуждения". Чем глубже мы вникаем в факты римской истории, пытаясь прочесть жизнь Цицерона, тем очевиднее становится ее истинность. Но Цицерон, хотя и видел ее далеко, никогда не признавал ее полностью. В этом заключается очарование его характера, но в то же время и слабость его политических устремлений; слабость - потому что он был достаточно тщеславен, чтобы вообразить, что сможет уговорить людей вернуться из их рыбных прудов; очарование - потому что он был способен через все это верить в честность. Чем безнадежнее становилось дело, тем слаще, бесстрашнее, божественнее становился его язык. Он настраивал свои ноты на еще более высокие тона мелодии и думал, что таким образом сможет вернуть общественную добродетель. Часто в этих филиппиках дело обстоит довольно мелко. Люди, которых он должен восхвалять, так малы; а Антоний не настолько велик в истории, чтобы заслужить от Цицерона столь сильную ярость! Да и поношение не во всем справедливо, если приписывать ему столь низкие мотивы. Но Цицерон был правдив во всем этом, он был озабочен, весь горел желанием побудить тех, кто его слушал, послать людей сражаться в битвах, против которых, как он знал в глубине души, они выступали.

Мужество, упорство и мастерство, проявленные в этой попытке, были удивительны. Они не могли добиться успеха, но, похоже, почти добились его. Я уже говорил, что он был одним честным человеком среди многих. Брут был честен в своем патриотизме, и Кассий, и все заговорщики. Я не сомневаюсь, что Сезар был убит из искреннего желания восстановить Римскую республику. Они хотели восстановить то, что само по себе было злом, - зло, которое побудило Цезаря решить, что он может сделать себя ее хозяином. Но Цицерон в своем воображении представлял себе республику - не утопическую, а вполне человеческую и рациональную - республику, которая, по его мнению, была республикой Сципиона, Марцелла и Лелия: республику, которая не должна делать для него ничего, кроме того, что требует его помощи, в которой народ должен голосовать, а олигархи править в соответствии с установленными законами. Мир и легкость, процветание и защита - все это должен был даровать провинциям Рим его мечты. Закон и порядок, образование и интеллект - все это должны были бы дать Риму его правители. Желая этого, он был единственным честным человеком среди многих. В соответствии с этой теорией он жил, и я утверждаю, что он никогда от нее не отступал. В последние дни жизни, когда наступила последняя схватка, когда для него возникла возможность смерти Цезаря, когда Антоний стал его главным врагом, когда он оказался в Риме с властью, достаточной для управления легионами, когда молодой Цезарь не проявил - возможно, не осуществил - своих планов, когда Лепид, Планк и Поллион еще могли проявить себя наконец настоящими мужчинами, он снова жил своей мечтой. Возможно, в Республике снова появится Сципион или Цицерон, не уступающий

Сципиону; тот, кто мог бы жить так же славно и умереть - не под гнетом зависти, а в любви своих соотечественников.

Но этому не суждено было случиться. Оглядываясь на это сейчас, мы удивляемся, что он осмелился надеяться на это. Но именно наличию в галантных душах надежды, которая все еще теплится, хотя почти утрачена, надежды, которая в своем существовании была чудесной, мир обязан самыми полезными предприятиями. Цицерону не дано было остановить течение и предотвратить злое пришествие цезарей; но все же характер жизни, которую он вел, мечты о чистой республике, стремления к свободе не исчезли полностью. Во всяком случае, мы располагаем сведениями о его великих усилиях.

Ничто не могло быть хуже, чем победа при Мутине. Оба консула были убиты, но таков, можно сказать, случай войны. Антонию со всей его конницей было позволено бежать на восток, к Коттийским Альпам. Децим Брут, похоже, проявил недостаток всех качеств полководца, кроме той силы выносливости, которая позволяет удерживать город с небольшим запасом провизии или вообще без нее. Он написал Цицерону, что последует за Антонием. Он дает обещание, что Антонию не позволят остаться в Италии. Он умоляет Цицерона написать этому "ветреному парню Лепиду", чтобы тот не переходил на сторону врага. Лепид никогда не поступит правильно, если Цицерон не заставит его сделать это. Что касается Планка, то у Децима есть сомнения, но он считает, что Планк будет верен Республике теперь, когда Антоний побежден.²²⁴ В своем следующем письме он говорит о большом смятении, которое возникло среди них после смерти двух консулов. Он также сообщает, как велика была энергия Антония, уже набравшего армию. Он открыл все тюрьмы и работные дома и забрал всех, кого нашел там. К нему присоединился Вентидий со своей армией, и он все еще боится Лепида. А юный Цезарь, который, как считается, на их стороне, никому не подчиняется и никого не может заставить подчиняться себе. Он, Децим, не может прокормить своих людей. Он истратил все свои собственные деньги и деньги своих друзей. Как ему содержать семь легионов?²²⁵ На следующий день он снова пишет, что по-прежнему боится Планка, Лепида и Поллиона. И он просит Цицерона позаботиться о своем добром имени: "Останови злые языки людей, если сможешь".²²⁶ Через несколько дней после этого Цицерон пишет ему письмо, которое вряд ли было ему приятно получить. Какое дело было Бруту считать сенат трусливым?²²⁷ Кто может бояться побежденного Антония, если не боялся его в силе? Как мог Лепид сомневаться теперь, когда победа была объявлена за Республикой? Пусть Антоний и собрал отбросы из тюрем, но Децим не должен забывать, что у него, Децима, за спиной весь римский народ.

Цицерон, вероятно, был прав, подбадривая полководца и пытаясь вселить в него надежду. Чтобы сделать человека победителем, нужно научить его верить в победу. Но Децим знал характер окружавших его войск и понимал, что каждый солдат настолько проникся идеей могущества Сезара, что, хотя Сезар был мертв, они могли сражаться с половиной сердца против солдат, бывших в его войсках. Имя, власть и высокий пост двух консулов оказали на них влияние, а молодой Цезарь был с консулами. Но оба консула были убиты - что само по себе было зловеще, Антоний все еще был полон надежд, а молодого Цезаря не было, и Децим был непопулярен среди людей. Бесплезно было Цицерону писать о возвышенных идеях и говорить о духе сената. Антоний получил суровый отпор, но чувство военного правления, заложенное Цезарем, все еще сохранялось, и солдаты, подчинявшиеся своим офицерам, не собирались подчиняться "голосам народа". Цицерон тем временем ежедневно пересылал письма между собой и лагерем, думая компенсировать энергией своего пера слабость своей партии. Лепид присылает ему отчет о своих передвижениях по Роне, сообщая, как ему не терпится окружить Антония. Лепид уже обдумывал свою капитуляцию.

"Я прошу тебя, мой Цицерон, если ты видел, с каким рвением я служил Республике в прежние времена, ты должен ожидать в будущем поведения, равного ему или превосходящего его; и чтобы ты считал меня тем более достойным твоей защиты, чем выше мои заслуги".²²⁸ Во время написания этого письма он уже был в договоре с Антонием. В то же время Планк пишет ему, извиняясь за свое поведение, когда он присоединился к Лепиду. Для него, Планка, это была очень опасная служба, но Лепиду было необходимо, чтобы это было сделано. Мы склонны сомневаться во всем этом, зная, к чему они стремились. Лепид был лжив с самого начала. Планк некоторое время удваивался, а затем сдался.

Читатель, я думаю, не питал надежд на Цицерона и Республику с тех пор, как были убиты оба консула; но когда он познакомится с письмами, которые передавались между Цицероном и армиями, он будет совершенно обескуражен.

Глава X.

СМЕРТЬ ЦИЦЕРОНА.

43 г. до н. э., эт. 64.

Все остальные письма Цицерона, которыми мы располагаем, были написаны почти исключительно для того, чтобы сохранить армию и продолжить борьбу с Антонием. Среди них есть несколько вступительных писем, не представляющих практически никакого интереса. А эти военные депеши, хотя и имеют большое значение, поскольку показывают нетерпеливую натуру человека, кажутся, по мере того как мы их читаем, чуждыми его натуре. Он не понимает войны и посвящает себя тому, чтобы подстрекать людей к защите Республики, на которых, как мы подозреваем, ничуть не повлияли полученные от него слова. Переписка, относящаяся к этому периоду его жизни, состоит из его писем к генералам и их писем к нему. Одних почти столько же, сколько и других, и читатель часто склонен сомневаться, пишет ли Цицерон Планку или Планк Цицерону. Он остался в Риме, и мы можем только представить его занятым в официальных государственных делах, пишущим письма, собирающим деньги на войска, тщетно пытающимся собрать сбор, среди толпы безнадежных, сомневающихся, удрученных сенаторов, которых он все еще держал вместе своим красноречием республиканцев, хотя каждый из них стремился сбежать.

Но кого можно назначить консулами вместо Пансы и Гирция? Октавиан, не покинувший Италию после битвы при Мутине, был намерен стать одним из них; но сенат, вероятно под руководством Цицерона, некоторое время не хотел его принимать. Ходили слухи, что Цицерон был избран - или, как говорят, такие слухи были. Мы основываемся на переписке с Марком Брутом, подлинности которой мы не доверяем, и дата которой нам неизвестна.²²⁹ "Когда я уже написал свое письмо, я услышал, что тебя назначили консулом. Когда это произойдет, я буду верить, что у нас будет настоящая республика, опирающаяся на собственные силы". Но, вероятно, ни слухи не были правдой, ни сам факт существования слухов. Октавиан не собирался играть свою роль. Цицерон обошел его стороной, когда понадобился генерал против Антония. Его использовал Децим, а Гирций и Панса - как будто они сами были сильны, как прежние консулы. Такими они были и для Цицерона, в чьих ушах само имя консула звучало отголоском величия Рима. Октавиан считал, что Панса и Гирций - всего лишь креатуры Сезара, которые после его смерти ополчились против него. Но даже они были предпочтительнее его. В те дни он быстро учился. Он служил в армии и с солдатами

Сезара, и вскоре его научили, как следует поступать. Взмахом руки он отбросил все юридические препятствия, мешавшие ему занять пост консула. Поговорите с ним о возрасте! Он уже слишком часто слышал это слово "мальчик". Он покажет им, что должен делать мальчик. Он даст им понять, что ему нет нужды агитировать, подавать в суд на консульство с шапкой в руке, проводить утренние пиры и знать имена людей, как это делал Цицерон. Его дядя не проходил через эти процедуры, когда хотел консульство. Октавиан послал военный приказ с отрядом офицеров, которые, войдя в сенат, потребовали должность. Когда старики заколебались, один Корнелий, центурион, показал им свой меч и объявил, что с помощью этого должен быть избран консулом его генерал. Греческие биографы и историки, Плутарх, Дион и Аппиан, говорят, что он решил сделать Цицерона своим соратником-консулом, пообещав во всем руководствоваться им; но это вряд ли могло быть так, учитывая чувства, которые тогда пылали против Цицерона в груди Октавиана. Дио Кассий не заслуживает особого доверия в отношении этого периода, а Аппиан и того меньше, если только не опирается на латинские авторитеты. И мы видим, что Плутарх вставляет истории с той свободой, которой пользуются писатели, не предполагающие, что другие, пришедшие после них, будут иметь более широкие источники информации, чем их собственные. Октавиан вошел в Рим со своими легионами и избрал себя консулом вместе с Квинтием Педием, который также был одним из наследников завещания Цезаря. Это произошло в сентябре. Перед этим Цицерон послал в Африку за войсками; но войска, когда они пришли, все перешли на сторону молодого Цезаря.

Рассказывают историю, которая, судя по всему, была правдивой и помогла вызвать ту вражду, которая в конце концов побудила Октавиана согласиться на смерть Цицерона. Ему сказали, что Цицерон сказал, что "молодого человека следует восхвалять, награждать и возвышать!".²³⁰ Последнее слово, "tollendum", имеет двойное значение; его можно вознести до небес или до виселицы. По-английски, если иметь в виду последнее, мы должны сказать, что такого человека нужно "убрать с дороги". Децим Брут рассказал это Цицерону, как повторенное Сигулием, и Цицерон отвечает ему, обрушивая на Сигулия все злословия. Но он не отрицает ни самих слов, ни их намерения - и хотя он сердится, но сердится полусуто. Вероятно, он позволил себе употребить остроу, не имея в виду ничего или почти ничего, выбрав фразу без раздумий, потому что она содержала двойной смысл. Никто не может предположить, что он хотел сказать, что молодой Сезар должен быть убит. "Давайте наградим его, но на время избавимся от него". И потом, в том же предложении он назвал его мальчиком. Что касается доказательств, мы знаем, что эти слова были произнесены. Мы можем доверять письму Децима к Цицерону и ответу Цицерона Дециму. И мы знаем, что через некоторое время после этого Октавиан, сидя на острове близ Болоньи вместе с Антонием, дал согласие на то, чтобы имя Цицерона было внесено в роковой список как одного из тех, кто обречен на убийство.

Тем временем Лепид перевел свои войска на сторону Антония, а вскоре к ним присоединился и Поллион со своими войсками из Испании. После этого вряд ли стоило ожидать, что Планк будет колебаться. Всегда существовало сомнение, следует ли считать Планка предателем или нет. Он держался дольше других и, как предполагается, был правдив в тех заверениях, которые он дал Цицерону о республиканском рвении. Почему он должен был подчиняться Цицерону, который в то время находился в Риме и рассылал свои приказы без официальных полномочий? Пока консулы были живы, он мог повиноваться им, а после смерти консулов какое-то время следовать духу их распоряжений. Но когда этот дух угас, он обнаружил, что у него нет других приказов, кроме приказов Цицерона. Не лучше ли было ему в таком положении отправиться вместе с другими генералами империи, чем погибнуть вместе с падающей партией? К тому же в такое время случается, что у солдат появляется

собственная воля. Для них имя Сезара все еще было могущественным, и, по их мнению, Антоний сражался на стороне мертвого Сезара. Когда мы читаем историю этого года, становится ясно, что в Риме имя Цезаря было более могущественным, чем красноречие Цицерона. В таких обстоятельствах, подгоняемый событиями, которые он не мог контролировать, Планкус заслуживает того, чтобы последним из сомневающихся генералов оставить дело, которое было по сердцу Цицерону. Кассий и Брут на Востоке все еще собирали легионы для битвы при Филиппах. С этим у нас проблем не будет. На Западе Планк оказался вынужден последовать за остальными и присоединиться к Антонию и Лепиду, несмотря на свои протесты. У тех, кто читал письма Цицерона этого года, часто возникал вопрос, был ли Планкус настоящим человеком. Я представил читателю его оправдание со всем, что могу сказать в его пользу. Однако воспоминания об этом человеке мне неприятны.

Оказавшись в одиночестве, Децим попытался пробиться со своей армией вдоль северного берега Адриатики, чтобы присоединиться к Марку Бруту в Македонии. Ему, как одному из тех, кто убил Цезаря, не оставалось ничего другого, как дезертировать. Он был обречен, если не одержит победу. Его покидали солдаты, которые уходили от него целыми партиями, и наконец его взяли живым, когда он блуждал по стране, и отправили (мертвым) к Антонию. Марк Брут и Кассий, похоже, остались глухи ко всем мольбам Цицерона прийти ему на помощь. Цицерон в своем последнем известном письме - которое, однако, было написано еще в июле - очень жаждет Кассия: "О твоем войске слышны только попытки, очень значительные сами по себе, но мы ожидаем услышать о делах. * * * Ничто не может быть величественнее и благороднее тебя, и поэтому мы с нетерпением ждем тебя здесь, в Риме. * Поверь, что все зависит от тебя и Брута - мы ждем вас обоих. Брута мы ждем постоянно".²³¹ Это было уже после того, как Лепид уехал, но в то время, как предполагалось, Планка был еще истинным или, скорее, еще не ложным. Он, несомненно, писал письма Бруту, призывая его к тому же. Увы, увы! Это была его последняя попытка, предпринятая ради Республики.

В сентябре Октавиан вошел в Рим как завоеватель, во главе тех войск из Африки, которые были посланы в качестве последней надежды на помощь республиканцам. Тогда можно представить, что Цицерон осознал тот факт, что бороться больше не за что. С республикой было покончено, с его мечтой было покончено, и ему оставалось только умереть. Брут и Кассий еще могли продолжать борьбу, но Рим пал во второй раз, несмотря на все его усилия, и вся надежда должна была покинуть его. Когда Сезар одержал победу в Фарсалии, а по возвращении с Востока милостиво встретил его в Брундизии и великодушно разрешил ему жить под сенью своего трона, это время должно было быть для него полным горечи. Но тогда он еще не вполне понимал значение трона тирана. Он еще не видел, как охотно подчиняется народ, как мало заботится он о своей свободе; он еще не познал природу военного деспотизма. Рим пережил время Суллы, и в нем вновь установилась Республика. Возможно, он переживет и период правления Сезара. Когда Сезар пришел к нему и поужинал с ним, как принц с одним из своих подданных, его страдания были велики. И все же надежда была, хотя он не знал, откуда. Другие молодые люди чувствовали то же, что и он, и Сезар пал. В его глазах это выглядело так, словно какой-то бог вмешался и вернул ему, римлянину, древнюю форму правления. Теперь Сезар был мертв, и все было бы правильно, только Антоний остался в живых. Нужна была еще одна борьба, прежде чем консулы, преторы и эдилы будут избраны в должном порядке; и когда он узнал, что борьба будет происходить под его покровительством, он подпоясал чресла и снова стал счастлив. Ни один человек не может быть несчастным, если он изливает свое негодование потоками и упивается аплодисментами публики. Каждое жесткое слово, брошенное в адрес Антония, и каждая нота похвалы, услышанная в ответ, были для него доказательством его собственной силы. Пока шли "Филиппики", он верил, что возбуждает могучую силу, которая должна

пробудиться и заявить о своем господстве над миром. Между ними были моменты, когда он, возможно, терял голову, когда сомневался в юном Цезаре, когда боялся, что Панса может сбежать от него или что Децим падет прежде, чем помощь успеет прийти к нему; но действия придавали всему этому приятность и изящество. Приятно сражаться с надеждой на победу. Но теперь, когда молодой Цезарь вошел в Рим со своими легионами и, несомненно, готовился присоединиться к Антонию, Цицерону больше нечего было делать в этом мире.

Говорят, но, как мне кажется, не совсем обоснованно, что Цицерон вышел встретить Цезаря - а если встретить, то еще и поздравить его. Аппиан рассказывает, что в сенате Цицерон поспешил поздравить Цезаря, заверив его, как он стремился добиться для него консульства и как активно это делал. Цезарь улыбнулся и сказал, что Цицерон, возможно, немного запоздал со своей дружбой.²³² Дион Кассий лишь отмечает, что народ назначил Цезаря консулом обычным способом, выбрав двух консулов, и добавляет, что это дело принесло Цезарю большую славу, поскольку он получил консульство в необычайно раннем возрасте.²³³ Но, как я уже говорил выше, их свидетельства по многим причинам вызывают сомнения. Каждый из них писал в интересах Сезаров и, рассказывая о периоде, предшествовавшем империи, похоже, стремился лишь выстроить какую-то связную историю, которая должна была соответствовать взглядам императора. Молодой Цезарь покинул Рим с явной целью выступить против Антония, как против врага, объявленного сенатом; но эта цель была лишь явной. По дороге за ним следовали гонцы, сообщавшие, что запрет снят, и он может свободно встретиться со своим другом на дружеских условиях. Антоний передал ему, что отомстить за смерть дяди - не столько его долг, сколько долг молодого Сезара, и что если он не окажет ему помощи, то он, Антоний, возьмет свои легионы и присоединится к Бруту и Кассию.²³⁴ Я предпочитаю верить мистеру Форсайту, что Цицерон удалился со своим братом Квинтом на одну из своих вилл. Плутарх рассказывает, что он отправился в свое тускуланское убежище и, получив известие о проскрипциях, решил удалиться в Астуру, на берегу моря, чтобы быть готовым к бегству в Македонию. Тем временем Октавиан, обеспечив принятие Педием закона, осуждающего всех заговорщиков на смерть, отправился на север, чтобы встретиться с Антонием и Лепидом в Бононии, современной Болонье. Здесь необходимо было согласовать условия договора, по которому между ними должны были быть разделены трофеи мира; и вот они встретились, эти три человека, на маленьком речном острове, удаленном от мира, где, как предполагается, каждый мог считать себя в безопасности от другого. Антоний и Лепид были людьми старыми в ремесле - Антоний в среднем возрасте, а Лепид несколько старше. Сезару был всего двадцать один год, но из всего, что нам удалось узнать о той встрече, следует, что он вполне мог держать себя в руках наравне со старшими. То, что каждый из них претендовал на свою долю в империи, не так важно для истории, как то, какой крови требовал каждый из них. Патеркул утверждает, что все подписанные тогда смертные приговоры были составлены в противовес Сезару.²³⁵ Но Патеркул писал как слуга Тиберия, а раньше был слугой Августа. Его целью было рассказать историю в пользу Августа, насколько это было возможно. Говорят, что, обсуждая между собой убийства, которых каждый из них желал для своей безопасности, молодой Цезарь только на третий день отдал Цицерона на растерзание Антонию. Возможно, так оно и было. Невозможно составить представление о том, что происходило изо дня в день на этом острове. Но мы знаем, что там была объявлена смерть Цицерона, и молодой Цезарь согласился с этим решением. Им не пришло в голову, как это случилось бы в свое время с Юлием Цезарем, что лучше проявить милосердие, чем ненависть. Это запрещение было сделано из ненависти, а не из страха. Он был направлен не против Брута и Кассия - общих врагов трех триумвиров. Сулла попытался уничтожить целую фракцию и преуспел в этом настолько, что заставил остальных оцепенеть от страха. Но здесь сделка о смерти была заключена каждым из них против друзей другого. "Твой брат уйдет", -

сказал Антоний Лепиду. "Если так, то и твой дядя", - ответил Лепид Антонию. И так, один отказался от брата, другой - от дяди, чтобы потакать частной злобе своего партнера; и Цицерон должен был пойти, чтобы успокоить обоих. Так и случилось, хотя судьба Цицерона была предreshена, двое других избежали своей участи. "В те дни не было ничего настолько плохого, - говорит Патеркул, - чтобы Цезарь был вынужден обречь кого-либо на смерть, или чтобы такой человек, как Цицерон, был обречен кем-либо".²³⁶ Миддлтон считает, и, возможно, не без оснований, что возражения Цезаря были притворными, а его задержка - показной. Небольшое изменение в цитировании вышеприведенного отрывка, сделанное непреднамеренно, говорит в пользу его мнения: "Или что Цицерон должен был быть проскрибирован им", - говорит он, превращая "ullo" в "illo". Смысл этого отрывка, по-видимому, заключается в том, что было печально, что Цезарь был вынужден уступить, или что кто-то был там, чтобы заставить его. Что касается Сезара, то это скорее паллиатив, чем осуждение. Суэтоний, правда, утверждает, что хотя Август некоторое время сопротивлялся проскрипции, но, взяв ее в руки, добивался своего более кровожадно, чем другие.²³⁷ Говорят, что в завершeнном списке значились имена трехсот сенаторов и двух тысяч рыцарей; но их судьба была отложена на некоторое время, и большинство из них в конце концов избежали наказания. Мы не имеем сведений об их смерти, как это было бы в случае, если бы все они пали. Семнадцать человек были названы для немедленной казни, и против них была направлена их судьба. Мы можем понять, что имя Цицерона должно было быть первым в списке.

Нам рассказывают, что когда весть об этом достигла Рима, весь город был охвачен ужасом. Во время выступления Фила иппиков республиканская партия была сильна, и Цицерон был в фаворе. Солдаты все еще хранили память о Цезаре; но люди знатного рода в городе, праздные, богатые и роскошные, в общем, "рыболовы", решили, что теперь, когда Цезарь мертв, и особенно когда Антоний покинул Рим, самым безопасным для них будет присоединиться к Республике. Они так и поступили и обнаружили свою ошибку. Сначала в Рим приехал молодой Цезарь, и они охотно приняли его, но теперь он встретился с Антонием и Лепидом, и кровавые дни Суллы вновь нахлынули на них. Весь Рим был охвачен таким ужасом и тревогой, что Педий, новый консул, был напуган до смерти. Рассказывают, что он бегал по городу, пытаясь утешить, уверяя то одного, то другого, что его не включили в списки, пока в результате сам, когда наступило утро, не умер от перенапряжения и волнения.

Сохранилось письмо, адресованное Октавиану, предположительно написанное Цицероном и иногда печатавшееся среди его работ, которое, если оно было написано им, должно быть составлено примерно в это время. Без сомнения, это подделка и, вероятно, гораздо более позднего времени; но она служит для того, чтобы показать, какие чувства, как предполагается, были в то время в душе Цицерона. Она полна оскорблений в адрес Антония и молодого Цезаря. Я могу себе представить, что именно так мог думать Цицерон, вспоминая, какими похвалами он осыпал имя юноши; как он воздавал ему самые необычные почести и воздвигал для него статуи. Все это делалось для того, чтобы сохранить Республику, но все было напрасно. Должно быть, в это время он с горечью думал о том, как много хвалебных речей было произнесено впустую. Когда он вернулся в Рим, чтобы вступить в должность консула, ему со смехом сказали, что он немного запоздал с приветствием! И услышать, что мальчик постановил его убить вместе с Антонием и Лепидом! Это все, что Рим мог сделать для него в конце концов - для того, кто так любил ее, так много страдал за нее и был так доблестен ради нее! Не поздновато ли ты приветствуешь меня как одного из моих друзей? сказал мальчик, когда Цицерон поклонился и улыбнулся ему. А затем до него дошла весть о том, что он осужден! Неужели это тот самый юноша, о котором он с начала года говорил, что "хорошо знает все его чувства; что для него нет ничего дороже Республики,

ничего благороднее сенатского достоинства?" Не для этого ли он велел сенату "ничего не бояться" в отношении юного Октавиана, "но всегда искать лучшего и большего?" Не для этого ли он так уверенно пообещал за него: "Я обещаю за него, я становлюсь его поручителем, я обязуюсь, отцы-призывники, что Кай Цезарь всегда будет таким гражданином, каким он показал себя сегодня?"²³⁸ И таким образом юноша выкупил обещания своего наставника, данные им от его имени! "Поздновато ты меня поприветствовал, а?" - сказал его ученик, чтобы его, и согласился, чтобы его убили. Но, как я уже говорил, история этой речи опирается на сомнительный авторитет.

Разве не радовался Цицерон убийству дяди? И не обязан ли он был терпеть вражду, которую вызвал? Он, конечно, не убивал Сезара и не знал, что его собираются убить; но все же о нем следует сказать, что, выразив свое удовлетворение тем, что было сделано, он отождествил себя с теми, кто его убил, и должен разделить их участь. Убийство тирана почти по закону предписывалось римлянам - во всяком случае, считалось скорее добродетелью, чем преступлением. Конечно, возникает вопрос, кто должен решать, быть ли человеку тираном? И эта идея, будучи в корне неверной, оказывается окутанной трудностями, из которых нет выхода. Но остается факт существования чувства, которое, как считалось в то время, оправдывало Брута, а также Цицерона. Человек должен спросить себя, в какой степени преступности он может обвинить Цицерона того времени, или молодого Августа. Может ли кто-нибудь сказать, что Цицерон имел основания радоваться тому, что Цезарь был убит? Разве может кто-нибудь не смотреть с ужасом на молодого консула, который сидел в уединении на острове, с Антонием по одну сторону и Лепидом по другую, а затем в первые дни своей юности, с пухом на щеках, отправлял свой указ о расправе над старым другом Республики?

до н. э. 43, ætat. 64.

Предполагается, что Цицерон покинул Рим в компании со своим братом Квинтом, и сначала они направились в Тускулум. Не было никаких препятствий для их бегства из Италии, если бы они так решили, и, вероятно, именно таково было их намерение, как только до них дошла весть о проскрипции. Приятно думать, что перед смертью они снова должны были стать друзьями. По правде говоря, Марк Старший был ответственен за судьбу своего брата. Квинт предвидел, что на политическом горизонте взойдет солнце, и сделал соответствующие обожания. Вместе с другими представителями своего сословия он показал, что готов склониться перед Сезаром. С согласия брата он стал лейтенантом Сезара в Галлии, что соответствовало практике Республики. Когда Цезарь вернулся и вопрос о власти сразу же встал между Цезарем и Помпеем, Квинт, который в то время находился с братом в Киликии, был сдержан влиянием Марка; но после Фарсалии влияние Марка пошло на убыль. Мы помним, как молодой Квинт откололся и присоединился к партии Сезара. Он опустился так низко, что стал "правой рукой Антония". В этом направлении лежали деньги, роскошь и все те блага, которые могло предложить тогдашнее правительство. Цицерон был настолько в глазах Цезаря, что Цезарь презирал старшего и младшего Квинта за то, что они бросили своего великого родственника, и вряд ли хотел их принимать. Влияние брата и дяди тяготило их. Позор быть кесарийцем, в то время как он был помпеейцем, позор быть на стороне Антония, в то время как он был на стороне Республики, был слишком велик для них. Пока он произносил свои филиппики, они не могли не быть энтузиастами на одной стороне. И вот теперь, когда он был проскрибирован, они оба были проскрибированы вместе с ним. Как гласит история, Квинт вернулся из Тускула в Рим за провизией для их путешествия в Македонию, встретил там своего сына, и оба они галантно погибли. Наемники Антония настигли их вместе или почти вместе и, найдя сначала сына, подвергли его пытке, чтобы

выведать у него место, где скрывается его отец; тогда отец, услышав крики сына, бросился ему на помощь, и оба погибли вместе. Но эта история также дошла до нас из греческих источников, и ее следует воспринимать так, как она того стоит.

Маркус, один в своей коляске, проехал через всю страну до своей виллы на берегу моря в Астуре. Затем он отправился в Формию, мучимый сомнениями, не зная, остаться ли ему и умереть, или отправиться в зимнее море на лодке, которая была ему предоставлена. Должен ли он искать неудобное убежище в армии Брута? Мы помним его горькие восклицания о том, как страдания лагерной жизни. Он поднялся на борт, но его отнесло назад ветром, и слуги не смогли убедить его предпринять еще одну попытку. Плутарх рассказывает, что он намеревался отправиться в Рим, пробраться в дом молодого Сезара и там заколоться, но от этой мелодраматической смерти его удержал страх перед пытками. Эта история лишь показывает, насколько большое внимание уделялось каждой детали его последних минут, и что люди в Риме научились говорить о них. То же замечание относится и к рассказу Плутарха о самонадеянных воронах, которые клевали шнуры его парусов, когда его лодка поворачивалась, чтобы вернуться на сушу, а потом клювами пытались стащить с него постельное белье, когда он лежал в ожидании своей участи в ночь перед тем, как к нему пришли убийцы.

Его выносили с виллы в Формиях на берег моря, когда на него набросились посланцы Антония. Их было двое - солдаты и офицеры на службе у Антония - Попилий Ленас и Геренний. Они нагнали его в лесу, через который от виллы шли тропинки к берегу моря. Придя в дом, они не нашли Цицерона, но на его след их навел вольноотпущенник, принадлежавший Квинту, по имени Филолог. Вряд ли он мог поступить добрее, чем указать людям путь, по которому они могли бы быстро освободить Цицерона от мучений. Они спустились в конец леса и встретили там рабов, несущих груз. Люди были готовы сражаться за своего господина, но Цицерон, велел им опустить кресло, вытянул шею и получил смертельный удар. Антоний отдал особые распоряжения своим слугам. Они должны были принести голову и руки Цицерона - руки, написавшие "Филиппики", и язык, произнесший их, - и его приказ был исполнен до мелочей. Цицерону было около шестидесяти четырех лет, когда он умер, день его рождения пришелся на 3 января следующего года. Вряд ли стоит на минуту задерживаться на ужасах кандукации Антония и его жены Фульвии - вдовы Хлодия и жены Антония, - если мы не хотим увидеть, до каких нравов опустилась великая римская дама в те дни, когда Республике пришел конец. На ростре для зрелища народу засовывали голову и руки, а Фульвия специально мстила за это, протыкая язык пером. Такова история смерти Цицерона в общепринятом изложении.

Нам также рассказывают, что Рим услышал эту новость и встретил это зрелище с плохо сдерживаемым плачем. Мы легко можем поверить, что так оно и было. Продолжая свою работу, я пытался сравнить его с англичанином наших дней; но ни английское красноречие нельзя сравнить с его, ни восторженные уши римской публики с тем удовольствием, которое мы получаем, слушая наших великих ораторов. Мир стал слишком нетерпелив к ораторскому искусству, а наши северные чувства не могут оценить мелодию звуков, как это делали более тонкие органы римского народа. Мы требуем правды, справедливости и здравого смысла от тех, кто к нам обращается, и получаем от своих публичных выступлений гораздо больше, чем старые итальянцы. Мы приучили себя говорить так, чтобы нам поверили, - или приблизились к этому. Римскую аудиторию, как мне кажется, мало волновало, правдивы ли произносимые слова. Но было необходимо, чтобы они были сладкими - и они всегда были сладкими. Им говорили сладкие слова, с размеренной каденцией, с идеальным ритмом; но ни одно слово

никогда не было таким сладким, как слова Цицерона. Даже я, с моими тупыми ушами, иногда возношусь от них в мир мелодии, хотя мало знаю об их произношении и тоне. А среди высших классов - тех, кто читал, - его литература стала почти такой же божественной, как и его речь. Он стал единственным человеком, который мог выразить себя на совершенном языке. Как в следующем веке эклоги Вергилия и оды Горация стали дороги всем образованным классам из-за очарования их выражения, так в свое время, как мне кажется, стал дорог язык Цицерона. Неудивительно, что люди плакали, когда видели это страшное лицо, глядящее на них с роостры, и высунутый язык, и протянутые руки. Удивительно, что, видя это, они все еще терпели Антония.

То, что Цицерон создал в литературе, как правило, признается превосходным; но его характер как человека, по общему мнению, запятнан тремя недостатками - нечестностью, трусостью и неискренностью. Что касается первого, то я его полностью отрицаю, и мое опровержение теперь представляется читателю на суд. Похоже, что его обвинили не для того, чтобы выставить виновным, а потому, что казалось невозможным, чтобы при столь глубокой вине других он был невиновен. То, что он не должен был ничего просить, не должен был брать незаконных вознаграждений, не должен был подчиняться, чтобы его кормили, но должен был сохранять свои руки чистыми, в то время как все вокруг хваталось за все - брали деньги, продавали свою помощь за оговоренные платежи, измывали несчастные кредиторы, - это было слишком, чтобы поверить. Я не буду перечислять все дела, возбужденные против него, но попрошу читателей спросить себя, есть ли среди них хоть одно, подкрепленное доказательствами, которое можно было бы представить на суд присяжных. Обвинения выдвигались людьми с чистыми руками; но им казалось неразумным верить, что римский олигарх тех времен должен быть честным джентльменом.

Что касается его трусости, то я больше сомневаюсь в том, что смогу увлечь за собой читателей, хотя в мужестве Цицерона не сомневаюсь. Трусость в человеке отвратительна. Но что такое трусость? И что такое мужество? Это вопрос, в котором совершается столько ошибок! Мишура так часто блестит, как золото, и ослепляет взгляд! В одной из предыдущих глав этой книги, говоря о Катилине, я ссылался на высказывания одного современного писателя: "Мир обычно щедро отзывается о памяти храбреца, умирающего за свое дело!" "Все раненые впереди", - цитирует этот автор слова Саллюстия. "Ни одного человека не взяли живым! Сам Катилин, задыхаясь, выходил из жизни, окруженный трупами своих друзей". Это дано как образ храброго человека, умирающего за свое дело, который должен вызывать наше восхищение, даже если его дело было плохим. В предыдущих строках мы видим портрет Цицерона, который, "думая, без сомнения, что он хорошо поработал для своих покровителей, отказался подвергать себя еще большей опасности". Вот одна история, рассказанная мужестве, а другая - о страхе. Давайте на мгновение остановимся и рассмотрим факты. Катилина, когда его преследовали до последнего вздоха, встретил своего врага и умер, сражаясь как мужчина - или как бык. Кто из нас способен на такое? За шиллинг или восемнадцать пенсов в день мы можем получить армию храбрецов, которые встретят врага лицом к лицу и умрут, если придет смерть. Не великое и не редкое дело, когда человек в бою не убегает". В отношении Цицерона утверждается, что он не позволил подкупить себя, чтобы обвинить Цезаря и тем самым подвергнуться опасности. Обвинение, которое таким образом выдвигается против, заимствовано у Саллюстия и, несомненно, ложно; но я принимаю его в том духе, в котором оно высказано. Цицерон опасался обвинять Цезаря, чтобы не оказаться в новой опасности благодаря Цезарю. Допустим, что он так поступил. Разве в такой момент он был не прав, спасая свою жизнь ради Республики и ради себя самого? Его целью было изгнать Катилина, а не поймать в свои сети всех существующих заговорщиков. Он мог бы остановить заговор, схватив нескольких, и мог бы подтолкнуть

многих к оружию, пытаюсь окружить всех. Было ли это трусостью? Все эти дни ему приходилось жить, держа свою жизнь в руках, ходить среди заговорщиков, которые, как он знал, поклялись убить его, и при этом он мог ходить, говорить и думать, как человек. Так было и тогда, когда он спустился в суд, чтобы выступить в защиту Мило, когда гладиаторы Хлодия и солдаты Помпея были настроены одинаково против него. Таким же он был, когда произносил филиппику за филиппикой в присутствии друзей Антония. Истинное мужество, на мой взгляд, заключается не в том, чтобы противостоять неизбежной опасности. Это может сделать любой человек, достойный этого имени. Преступник, которого завтра повесят, подойдет к эшафоту и, кажется, будет готов отдать жизнь, которую он не может спасти. Но тот, в чьих жилах течет горячая кровь, в чьем сердце живет жажда жизни, кто имеет высокие устремления в будущее, кто имеет вокруг себя все, что делает его счастливым - любовь, дружбу и приятную работу, - кто может с готовностью пожертвовать всем, потому что этого требует долг, - тот храбрец. Именно такой характер имело мужество Цицерона.

Что касается третьего обвинения - в неискренности, - то я хотел бы попросить моих читателей задуматься о том, как мало сейчас искренних людей? Насколько близко мы подошли к красоте истины, руководствуясь всем учением Христа? Ни в коем случае не близко, хотя мы ближе к ней, чем римляне во времена Цицерона. Во всяком случае, мы научились любить ее, хотя, возможно, и не до конца. Он тоже научился любить ее, но еще не так хорошо, как мы. Когда о человеке можно будет сказать, что он полностью искренен, тогда наступит тысячелетие. Мы льстим и любим, когда нам льстят. Цицерон льстил людям и любил это еще больше. Мы любим похвалу и все время просим ее. Цицерон любил ее и просил. Но когда от него требовали правды, правда находилась.

Был ли Цицерон искренен со своей партией, был ли он искренен со своими друзьями, был ли он искренен со своей семьей, был ли он искренен со своими иждивенцами? Предлагал ли он помощь и не помогал ли? Бросал ли он когда-нибудь свой корабль, когда обязывался служить? Думаю, нет. Он просил одного человека похвалить его перед другим, а это не искренне. Он обращался за хвалебными словами к историку своего времени - и это не искренне. Он говорил о человеке перед судьей плохо или хорошо, в зависимости от того, был ли тот его клиентом или противником, - и это, возможно, не искренне. Но я знаю в истории мало людей, на чьей искренности в каком-либо деле его приверженцы могли бы положиться с большей уверенностью. Посмотрите на всю его жизнь с Помпеем - мы видим его маленькие неискренности в тот момент, потому что у нас есть его письма к Аттикусу; но он был верен своей политической идее Помпея еще долго после того, как этот Помпей исчез из его снов. В течение двадцати лет нам известны все мысли его сердца; и поскольку чувства одного момента отличаются от чувств другого, мы называем его неискренным. А если бы у нас были мысли Помпея и Сезара, были бы они менее искренними? Смог бы Цезарь рассказать нам обо всех своих чувствах? Цицерон был неискренен: я не могу сказать иначе. Но он был настолько искреннее других римлян, что я чувствую, что при написании его жизни я имел дело с характером того, кто мог бы быть современным джентльменом.

Глава XI.

РИТОРИКА ЦИЦЕРОНА.

Хорошо известно, что произведения Цицерона делятся на четыре основные части. Это "Риторика", "Орации", "Послания" и "Философия". Есть, правда, и пятая часть - поэзия, но ее

не так много, а из того немногого, что у нас есть, мало что заслуживает уважения. Боюсь, мало найдется тех, кто считает, что Цицерон своей поэзией заслужил благосклонность своей страны. Его прозаические произведения были разделены так, как я их изложил. Из них две части уже были рассмотрены - насколько я в состоянии их рассмотреть. Об орациях и посланиях я говорил по мере выполнения своей задачи, поскольку затронутая в них тема была доступна для целей биографии: две другие - "Риторика" и "Философия" - были отделены от жизни автора.²³⁹ Они могли быть хорошими или плохими, а его жизнь осталась бы прежней; поэтому необходимо отделить их от его жизни и говорить о них отдельно. Они - работа его тихой камеры, как другие были восторженными излияниями его повседневного духа или проработанными аргументами его публичной карьеры. Кто оставил после себя столь обширную литературу? Кто предпринял столько усилий и так преуспел во всех них? Я не знаю, чтобы кому-то одному было дано бегать вверх и вниз по струнам знаний и касаться их всех, как если бы каждая из них была его особым занятием, как это делал Цицерон.

Его риторику всегда ставили на первое место, потому что в целом она была написана первой. Возможно, здесь будет уместно привести список его основных работ с указанием их дат, но при этом следует помнить, что таким образом мы ни в коем случае не преодолеем трудности с определением времени, даже в тех случаях, когда мы уверены в своих фактах. Трактат может быть начат, а затем закончен, или же написан за некоторое время до публикации. Или же, как в случае с теми, которые называются *Academica*, он был переделан, изменил свою форму и вид. *Academica* была написана по заказу Аттика. Сейчас мы имеем измененное издание фрагмента первой книги и оригинал второй книги. Таким образом, возникли расхождения, которые едва не разрывают сердце тому, кто хотел бы внести ясность в свой список. Но в целом перед читателем с достаточной точностью предстает список произведений Цицерона, независимый от того непрерывного, но постоянно меняющегося течения его мысли, которое ежедневно вытекало из него в его речах и письмах. Опять же, однако, мы должны помнить, что здесь опущены все те произведения, которые либо полностью утрачены, либо дошли до нас лишь в виде фрагментов, слишком резко оборванных для целей непрерывного изучения. Я даже не буду пытаться назвать их, хотя, вспомнив некоторые из них - *De Gloria*, *De Re Militari* - он не мог отправиться в армию на месяц или два, не написав об этом книгу - *De Auguriis*, *De Philosophia*, *De Suis Temporibus*, *De Suis Consiliis*, *De Jure Civili* и *De Universo*, мы можем спросить себя, на какие темы он не писал. Кроме того, многое из того, что дошло до нас, было извлечено, как бы нехотя, из палимпсестов, и по этой и по другим причинам является фрагментарным. Так, помимо "*Academica*", мы располагаем лишь фрагментами сочинений "*De Republica*", "*De Legibus*", "*De Natura Deorum*", "*De Divinatione*" и "*De Fato*".

Список произведений, о которых я намерен дать кратчайший отчет в следующих главах, выглядит следующим образом:

Названия произведений	Характер работы.	Дата публикации
	Те, что касаются	Риторика
	" "	Философия
	" "	Нравственн эссе
<i>Rhetorum ad. C. Herennium.</i>	Четыре книги, дающие уроки риторики; предполагается,	b.c. 87, 86.

	что они были написаны не Цицероном, а неким Корнифицием*.240	Ætat. 20, 21.
De Inventione.	Четыре книги, дающие уроки риторики, предположительно переведенные с греческого. До нас дошли две из четырех*.	
De Oratore.	Три диалога в трех книгах, предположительно состоявшиеся под платаном в саду в Тускулуме, принадлежавшем Крассу, за сорок лет до этого, в которых изложены инструкции по подготовке оратора.*	до н. э. 55. Ætat. 52.
De Republica.	Шесть политических дискуссий - предположительно состоявшихся за семьдесят пять лет до даты их написания - о наилучшем способе правления. До нас дошел лишь их фрагмент.‡	до н. э. 53. Ætat. 54.
De Legibus.	Три из шести книг о лучших законах для управления Республикой. Их обсуждение ведется между Аттиком, Квинтом и Марком. Предполагается, что они были написаны до 52 г. (ætat. 55, но были опубликованы только после его смерти.‡	до н. э. 52. Ætat. 55.
De Optimo Genere Oratorum.	Предисловие к переводу речей Эсхина и Демосфена за и против Ктесифона по вопросу о золотой короне.‡	45 г. до н.э. Ætat. 61.
De Partitione Oratoria.	Наставления в вопросах и ответах, которые, как предполагается, были ранее даны его сыну на греческом языке, по искусству	до н. э. 46. Ætat. 61.

публичных выступлений.*

Academica.	Трактаты, в которых он рассматривает различные фазы философии, преподаваемые в Академии. Трактат был изменен, и мы располагаем лишь частью первой книги измененной части и второй частью трактата до его изменения. В измененном виде он адресован Варро.†	до н. э. 45. Ætat. 62.
De Finibus Bonorum et Malorum.	Трактат в пяти книгах в форме диалогов о том, каких результатов следует ожидать при исследовании того, что есть добро и что есть зло. Адресован Бруту.	45 г. до н. э. Ætat. 62.
Брут: или, De Claris Oratoribus.	Трактат о самых совершенных ораторах прошлых времен. Он адресован Бруту и, по своеобразной манере, всегда назывался его именем*.	45 г. до н.э. Ætat. 62.
Оратор.	Трактат, адресованный Бруту, чтобы показать, каким должен быть идеальный оратор*.	до н. э. 45. Ætat. 62.
Tusculanæ Disputationes.	Или "Тускуланские рассуждения", которые, как предполагается, проводились с некоторыми друзьями на его тускуланской вилле, о презрении к смерти, боли и печали, о победе над страстями и о счастье, которое должно быть получено от добродетели. Они адресованы Бруту*.	до н. э. 45. Ætat. 62.
De Natura Deorum.	Три книги, адресованные Бруту. Веллеус, Бальбус и	44 г. до н.э.

	Котта обсуждают относительные достоинства эпикурейской, стоической и академической школ.†	Ætat. 63.
Divinatione.	Обсуждает со своим братом Квинтом свойство богов "прорицать", или, скорее, давать людям возможность читать пророчества. Это продолжение предыдущего произведения.†	до н. э. 44. Ætat. 63.
De Fato.	Только часть книги о судьбе.†	до н. э. 44. Ætat. 63.
Топика.	Так называемый перевод из Аристотеля. Адресовано Требацию*.	44 г. до н.э. Ætat. 63.
De Senectute.	Трактат о старости, адресованный Аттику и названный Катонем Майором.‡	до н. э. 44. Ætat. 63.
De Amicitia.	Трактат о дружбе, также адресованный Аттику и названный Лелием.‡.	до н. э. 44. Ætat. 63.
De Officiis.	Своему сыну. О нравственных обязанностях жизни. Содержит три книги. I. О честности II. О целесообразности III. Сравнение честности и целесообразности.	до н. э. 44. Ætat. 63.

Из этого списка следует, что в течение тридцати лет своей жизни Цицерон молчал в отношении литературы - в те тридцать лет, когда от человека ожидают наилучших плодов его усилий. Действительно, можно сказать, что первые пятьдесят два года своей жизни он не писал ничего, кроме писем и речей. Из двух трактатов, которыми начинается этот список, первый, по всей вероятности, не принадлежал его перу, а второй - не более чем перевод с греческого автора. Что касается работы над переводом, то нужно понимать, что греческий и латинский языки не стояли друг относительно друга так, как они стоят сейчас перед современным читателем. Мы переводим для того, чтобы жемчужины, скрытые под чужим языком, могли быть донесены до тех, кто не читает на этом языке, и признаем, когда это нас касается, что никто не может по-настоящему пить свежую воду из фонтана, с которым так обращаются. Римляне, переводя с греческого, не думая о литературном совершенстве,

считали, что переводят греческую мысль в ту форму языка, в которой она может быть полезной. Ценность представляли не слова, а только то, что в них можно было найти. Отсюда и произошло то, что не признается. Мы, современные люди, признаем, что переводим, и вряд ли отводим себе место третьесортного литератора. С другой стороны, когда мы находим невыраженную мысль, витающую в мире, мы берем ее и делаем своей, когда помещаем в книгу. Считается, что оригинальность заключается в языке, а не в мысли. Но для римлянина, когда он находил мысль, витающую в мире, в греческом характере, было свободно перенять ее и сделать своей собственной. Если бы Цицерон в наши дни поступил с этим трактатом так, как я предположил, он был бы виновен в грубом плагиате, но тогда ничего подобного не было известно. Об этом нужно постоянно помнить, читая его сочинения. Вы найдете в них значительные части, взятые из греческого языка без признания. Часто это происходит потому, что ему удобно опровергнуть какое-либо утверждение или показать, что оно привело к ложным выводам. Эта общая свобода перевода так часто использовалась латинскими поэтами - Вергилием и Горацием, скажем, как наиболее известными, - что некоторые считали их не более чем переводами. Для них быть переводчиками Гомера, Пиндара и Стесихора и переложить на латинский язык благородные идеи было делом, достойным не меньшей похвалы, чем изобретение. К этому следует добавить, что формы, которые они использовали, были совершенны в своем роде. Для них не было необходимости в тщательном переводе. Они нашли идею, и их целью было представить ее читателям на максимально возможном языке. Тот, кто работал среди оков современного перевода, хорошо знает, насколько все было иначе. В трактате *De Inventione* не так много того, что могло бы нас заинтересовать. Прочитав его, мы должны сказать, что содержащиеся в нем мысли слишком хороши для юноши двадцати одного года, но язык, на котором он написан, не отличается особым изяществом. Автор намеревался продолжить ее - или писал, как , - и поэтому мы можем предположить, что она попала к нам из какого-то более крупного источника. Она полна постоянных дел, или примеров из судебной практики, которые приводятся, чтобы показать, как решаются эти вопросы. Мы можем представить, что римский юноша должен быть практиком в таких делах, но мы не можем представить, что тот же юноша должен был думать обо всех этих делах, помнить их и уметь их описывать.

В качестве примера можно привести следующее: "Некий человек во время своего путешествия встретил путника, который собирался сделать покупку, имея при себе некоторую сумму денег. Они вместе разговорились по дороге и, как это бывает в таких случаях, вступили в близкие отношения. Они зашли в один и тот же трактир, где поужинали и договорились, что будут спать вместе. Поужинав, они легли спать; когда хозяин - это было рассказано уже после того, как все выяснилось и его взяли за другое преступление, - узнав, что у одного из них есть деньги, среди ночи, зная, как крепко они будут спать от усталости, подкрался к ним и, вынув из ножен меч того, кто был без денег, так как он лежал рядом, убил другого, положил меч обратно и лег в свою постель. Но тот, чей меч был использован, встал задолго до рассвета и громко позвал своего товарища. Увидев, что тот слишком крепко спит, чтобы его можно было разбудить, он взял себя, свой меч и другие вещи, которые принес с собой, и отправился в путь один. Но хозяин дома вскоре поднял крик: "Убили человека!" - и вместе с несколькими гостями последовал за ушедшим. Они схватили мужчину на дороге и вытащили из ножен его меч, который оказался весь в крови. Они отнесли его в город, и он был обвинен". В этом деле есть заявление о преступлении: "Ты убил человека". Есть защита: "Я его не убивал". Отсюда возникает вопрос. Вопрос, который необходимо решить, - это вопрос предположения. "Убил ли он его?"²⁴¹ По рассказу можно судить, что случай был не жизненный, а выдуманный. Наглый хозяин, вкравшийся в дом и обнаруживший, что все было так, как он хотел; безденежный человек, уходящий в темноту, оставляя за собой мертвого соседа, как и предполагал хозяин, - все это скорее напоминает репетиционный эпизод, чем

настоящее убийство. То же самое можно сказать и о других примерах, приведенных Квинтилианом как здесь, так и впоследствии. Это хорошо известные случаи, которые, вероятно, передавались от одного ученика к другому. Они больше говорят нам о нравах народа, чем о зачатках его права.

Из этого можно понять характер работы. Далее мы перескакиваем через тридцать лет и сразу попадаем в 55 год до нашей эры. Наступили времена триумvirата, ссоры с Клодием, изгнания Цицерона и его возвращения, а также речей, которые он произносил в агонии гнева против своих врагов. И все это происходило с тех благодатных дней, когда он, подхваченный голосами соотечественников, стал квестором, эдилом, претором и консулом. Сначала он преуспел как государственный деятель, а затем, будучи признан слишком честным, потерпел поражение. Нет никаких сомнений, что он потерпел неудачу, потому что был слишком честен. Я, должно быть, плохо изложил историю его политической жизни, если не показал, что Цезарь отошел от нападения, потому что Цицерон стал консулом, но отошел только как человек, который отступает назад, чтобы следующий рывок вперед был более успешным. Он удачно выбрал время для следующей атаки, и Цицерону пришлось выбирать между тремя вещами: он должен быть кесарийцем, или должен быть тихим, или должен уйти. Он не хотел быть кесарийцем, он не мог быть тихим, и он ушел. Изгнание сразу же подействовало на него так сильно, что он не мог заниматься собой. Но он вернулся в Рим и, слишком явно полагаясь на кратковременную популярность, попытался заменить себя в глазах людей; но ему должно было быть ясно, что он боролся напрасно. Тогда он оглянулся на свое искусство, ораторское искусство, и сказал себе, что, поскольку жизнь человека действия больше не открыта для него, он может сделать для себя большую карьеру в качестве литератора. Он смог это сделать. Он так и сделал. Но я сомневаюсь, что у него когда-либо была твердая цель на будущее. Если бы перед ним открылась великая консульская карьера - если бы ему было дано сделать с помощью закона то, что сделал Сезар, игнорируя закон, - эта жизнь о нем не была бы написана. Во всяком случае, не было бы необходимости в этих последних главах, чтобы показать, насколько неукротимой была энергия и насколько превосходным было мастерство того, кто мог писать такие книги, потому что ему больше нечем было заняться.

De Oratore - это работа в трех частях, адресованная его брату Квинту, в которой целью Цицерона, несомненно, было убедить мир в том, что занятие оратора - самое высокое из всех, которые даны человеку для следования; и он делает это, показывая, что во всех вопросах, которых оратор призван касаться, нет ничего, что он не мог бы украсить обладанием какой-либо добродетелью или знанием. Нам, живущим в наши дни, кажется, что он ставит телегу впереди лошади и с самого начала терпит неудачу из-за того, что оратор в своем красноречии никогда не должен говорить правду. В силах человека так восхвалять постоянство, скажем так, чтобы оно казалось лучшим из всех вещей. Но тот, кто поет ему хвалу, может быть самым непостоянным из людей и знать, что он обманывает своих слушателей относительно своего мнения - во всяком случае, относительно своей практики. Сначала должна быть добродетель, а потом речь о ней. Цицерон, по-видимому, подразумевает, что если речь есть, то добродетель может быть принята.

Но следует признать, что в этом и во всех его рассуждениях о совершенном ораторе дело обстоит так, как обстоит дело у всех исследователей после τὸ καλόν.²⁴² Мы должны признать тот факт, что римляне переняли у греков форму исследования и, описав более чем человеческое совершенство, побудили людей работать над его достижением, дав понять, насколько высоким будет это совершенство, если оно когда-нибудь будет достигнуто. Так и в

De Oratore, знакомство с которой мы должны начать с убеждения, что искомый оратор - человек, которого не найти ни в одной палате общин. Ни консерватору, ни либералу не стоит опасаться, что он будет выведен из игры приходом этого безупречно красноречивого человека. Но этот Цицерон, о котором мы говорим, был тем, кого чаще всего цитировали за его совершенства.²⁴³ Бегство за невозможным героем накладывает отпечаток на все поиски. Когда никто не может рассчитывать найти то, что ищет, кто может усердно искать? Постепенно честолюбивый ученик осознает, что это невозможно, и тогда его увлекает желание узнать, как он сможет занять второе или третье место, если ему так много дадут. В своих поисках он обнаружит, что Цицерон, если он обратится к Квинтилиану или Тациту, или Красс, если он обратится к Цицерону, - вот что представлено перед ним в качестве истинного образца; и этим он может довольствоваться.

De Oratore - самая длинная из его работ по риторике, и, как мне кажется, самая приятная для чтения. За ней через десять лет последовал "Брут", или "De Claris Oratoribus", а затем "Оратор". Но во всех них он скорее очаровывает нас своим примером, чем наставляет своими наставлениями. Он никогда не заставит нас поверить, например, в то, что человек, который хорошо говорит, будет по этой причине лучше человека, который хорошо думает; но он заставляет нас поверить в то, что человек, который говорит так, как умел Цицерон, должен был быть достойным слушания, а также в то, что читать его слова, когда слушать их уже невозможно, - большое удовольствие. Сделав это, он, несомненно, достиг своей цели. Он был слишком мирским человеком, чтобы тратить свои силы на неосуществимую теорию. Ораторское искусство было для него на первом месте и стало для римлян единственным занятием, которое соперничало с боевым. Литература еще не заняла своего места. Для этого нужен был сам Цицерон. Нужно было написать такое эссе, как это, чтобы самим фактом своего существования показать, что Цицерон-писатель стоит так же высоко, как Цицерон-оратор. И тогда написанные слова остаются, когда звуки утихают. Мы верим, что Цицерон говорил божественно. Мы можем составить для себя некоторое представление о ритме его периодов. В словах, которыми Цицерон говорил о себе как об ораторе, есть вся прелесть.

Боккаччо, когда он выводит свою королеву на травянистый луг, усаживает ее среди ее дам и заставляет ее, их и их поклонников рассказывать свои истории, кажется, породил идеи, которые Цицерон использовал, представляя своих римских ораторов лежащими под платаном в саду Тускулума и обсуждающими там риторику; настолько ближе к нам времена Цицерона, со всем светом, который на них бросает их собственная значимость, чем середина четырнадцатого века в той же стране. Но практика в этом, как и во всех других вопросах общественной жизни, была заимствована у греков, или, возможно, скорее притворство этой практики. Вряд ли можно поверить, что римляне преклонного возраста стали бы так располагаться ради беседы. Это был способ свести людей вместе, который притягивал взгляд; и Цицерон, чье острое воображение представляло ему приятность картины, использовал форму повествования с большим эффектом. Он заставляет Красса и Антония встретиться в саду Красса в Тускулуме, и в первый день он приводит туда старого авгура Муция Сцеволу, а также Сульпиция и Котту, двух восходящих ораторов того времени. На второй день Сцевола, как полагают, слишком устал, чтобы возобновить интеллектуальное состязание, и удаляется; но тут приходит один Сезар с Квинтом Лутацием Катулом, и беседа возобновляется. Красс и Антоний ведут его в основном, но голос принадлежит Крассу. Сезар, который, должно быть, был заводилой среди адвокатов своего времени, берется привести примеры той аттической соли, с помощью которой, как предполагается, облегчалась глубина юридических судов. Третий разговор происходит во второй половине второго дня, когда они освежились сном; хотя Красс, как нам специально сообщают, предался прелесть отсутствия полуденной сиесты. Его ум был полон величия стоящей

перед ним задачи, но он не выказывал ни усталости, ни беспокойства. Искусство, видимая легкость, с которой все это делается, грация без томления, энергия без напряжения - все это достойно восхищения. Как будто они сидят у проточной воды или слушают музыку какого-то великого органа. Они удаляются в лес, расположенный чуть дальше от дома, и там слушают красноречие Красса. Котта и Сульпиций только слушают и соглашаются, либо выражают свое несогласие в сомнительных словах.

Именно Красс настаивает на том, что оратор должен быть всеведущим, а Антоний, как предполагается, оспаривает у него эту точку зрения. Но они расходятся на милейшем языке; и каждый, хотя и придерживается своего мнения, делает это с почтением, которое убедительнее любого утверждения. С таким же успехом, возможно, следует считать, что Красс и Сезар связаны лишь дальними родственными узами - а возможно, и узами усыновления - с двумя членами Первого триумvirата, чьи имена они носят; в то время как Антоний был дедом того любовника Клеопатры, против которого были направлены "Филиппики".

Никто, как я уже говорил, не станет читать эти беседы ради содержащихся в них аргументов; но их изучают и будут изучать как содержащие, выражаясь самым подходящим языком, тысячу изречений, касающихся искусства речи. "Умение хорошо говорить не может принадлежать никому, кроме того, кто знает предметы, на которые ему приходится говорить";²⁴⁴ - факт, который кажется настолько очевидным, что никому не нужно утруждать себя его констатацией, если бы не то, что люди грешат против него каждый день. "Как велико стремление выдвинуть себя среди толпы людей как самого подходящего из всех, чтобы быть услышанным по какому-то важному вопросу!"²⁴⁵ "Хотя все люди будут скрежетать зубами, я заявлю, что маленькая книга двенадцати таблиц превосходит по авторитету и полезности все трактаты всех философов".²⁴⁶ Здесь говорит Цицерон с Форума, а не тот Цицерон, который развлекался среди философов. "Пусть он хранит свои философские книги для какого-нибудь тускульского безделья, вроде этого нашего, чтобы, когда ему придется говорить о справедливости, не пришлось обращаться к Платону и заимствовать у него, который, когда ему пришлось выразить его в этих вещах, создал в своих книгах какую-то новую Утопию".²⁴⁷ Ведь на самом деле, хотя Цицерон, как мы увидим дальше, много общается с философами и пишет целые трактаты ради того, чтобы привнести греческий образ мыслей в жизнь римлян, он слишком хорошо любил дела мира, чтобы доверять их философии. Зашел разговор о старости, и Антоний еще до наступления вечера высказывает свою точку зрения. "Я настолько отличаюсь от вас, - говорит он, - что не только не считаю, что в толпе тех, кто может прийти ко мне за советом, можно найти облегчение в старости, но и смотрю на ее одиночество как на гавань. Вы, конечно, можете его бояться, но для меня оно будет желанным".²⁴⁸

Затем Цицерон начинает вторую книгу с повторения утверждения, касающегося ораторского искусства в целом, не вкладывая слова в уста кого-либо из своей партии, а заявляя об этом как о своем собственном убеждении: "Цель этого трактата и нынешнего времени - заявить, что никто не смог преуспеть в красноречии, не только не обладая способностью говорить, но и не приобретая всевозможных знаний".²⁴⁹ Но Антоний придерживается другого мнения: "Как это может быть, когда мы с Крассом часто отстаиваем противоположные причины и когда один из нас может сказать только правду? Или как это возможно, когда каждый из нас должен брать дело так, как оно ему представляется?"²⁵⁰ Затем, как бы в противовес Крассу, он снова раздражается похвалами в адрес историка: "Как достойно восхваления оратора написание истории, будь то величайшее по размаху повествования или по его разнообразию! Я не знаю, чтобы мы когда-либо рассматривали ее отдельно, но она всегда

перед нашими глазами. Ибо кто не знает, что первый закон историка состоит в том, что он не должен осмеливаться говорить то, что ложно: следующий - что он не должен осмеливаться замалчивать то, что истинно".²⁵¹ Мы задаемся вопросом, когда Цицерон писал это, помнил ли он о своей просьбе к Луцею, высказанной два года назад. Он дает совет молодым адвокатам, извиняясь, правда, за то, что считает его необходимым; но он счел его необходимым и дает его: "Позвольте мне научить их всех этому: когда они собираются защищаться, пусть сначала изучат свои причины".²⁵² Не только здесь мы видим, что советы, которые полезны сейчас, были нужны и тогда. "Читайте свои дела!" Это наставление было востребовано в Риме, как и в Лондоне.

Но великая ошибка всей доктрины прокрадывается на каждой странице по мере того, как мы идем дальше, и опровергает идею, на которой основана "De Oratore". Все трактаты Цицерона на эту тему, и Квинтилиана, и псевдо-Тацита, и первого грека, от которого они произошли, падают на землю, как только нам говорят, что цель оратора должна заключаться в том, чтобы повернуть разум тех, кто его слушает, либо вправо, либо влево, в соответствии с направлением дела.²⁵³ Разум отвергает мысль о том, что в обязанности совершенного человека может входить заставить другого поверить в то, что он считает ложью. Если необходимо, чтобы оратор делал это, значит, он должен быть несовершенным. На протяжении всего времени нам преподают один и тот же урок. Великий дар оратора, говорит Антоний, - повернуть ум судьи так, чтобы он возненавидел или полюбил, испугался или понадеялся, обрадовался или огорчился, захотел пожалеть или наказать.²⁵⁴ Несомненно, это великая сила. Все, что сказано о красноречии, - правда. Возможно, для того чтобы им воспользоваться, необходимо обучать себя с большей точностью, чем для любой другой цели. Но есть опасность, что им воспользуется тот, кто приладил кинжал к руке. Неправильно заставлять другого человека верить в то, что вы считаете ложью.

Римляне, по-видимому, очень отстали в красноречии, так что только по примерам, приводимым ими самими, мы узнаем, что оно существовало. Они могут ужаснуть нас жестокостью, которую они осуждают. Они могут растопить нас, взывая к нашей жалости. Они могут напугать, они могут ужаснуть, они могут наполнить нас страхом или надеждой, гневом, отчаянием или яростью, но они не могут заставить нас смеяться. Их попытки пошутить забавляют нас, потому что мы понимаем, что это попытка. Здесь Сезар выдвигается вперед, чтобы дать нам возможность воспользоваться его остроумием. Мы теряемся от удивления, когда обнаруживаем, насколько убоги его шутки, и гордимся тем, что в одной строчке мы - хозяева римлян. Я приведу один пример и выделю его как лучший среди тех, что были выбраны Цицероном. Насика отправляется позвать Энния, и служанка сообщает ей, что ее хозяина нет дома. Энний наносит ответный визит, и Насика кричит с крыльца доу, что его нет дома. "Нет!" - говорит Энний; "разве я не знаю твоего голоса?". На что Насика отвечает: "Ты дерзкий парень! У меня хватило милости поверить твоей служанке, а теперь ты сам мне не веришь".²⁵⁵ Как это попало в судебное дело, мы не знаем; впрочем, это рассказано так, как я рассказывал. Но их здесь достаточно, чтобы сделать маленького Джо Миллера; и все же, посреди языка, почти божественного в своих выражениях, они приведены как достойные всяческого внимания.

Третья книга начинается самым прекрасным отрывком во всем трактате. Цицерон вспоминает, что Красс мертв, и рассказывает историю его смерти. И Антоний мертв, и Цезари. Последние трое пали во время марианской резни. Теперь мало что в обстоятельствах их смерти может вызвать у нас слезы. Кто знает хоть что-нибудь об этом Крассе, об этом Антонии или о тех Цезарях? Но Цицерон так рассказывает об этом в своем притворном повествовании, что почти заставляет нас плакать. Приближался день, когда

величайший из них должен был умереть той же смертью, что и Антоний, по приказу другого Антония - ему пронзили язык, а его окровавленную голову вздернули на дыбу. Но ни один римлянин не осмелился рассказать об этом так, как Цицерон рассказывал о других. Август слишком хорошо выполнил свою работу, и во время его правления римляне, которые могли заявить о себе, не смели держать язык за зубами.

Мне было бы бесполезно пытаться дать какое-либо представление о законах речи, которые излагает Цицерон. Для себя я не воспринимаю их как законы, считая, что прошло слишком много времени, чтобы законы оставались таковыми. Ни один оратор, я уверен, не смог бы сформировать себя на основе идей Цицерона. Но сладость языка настолько велика, что убеждает нас в том, что он, во всяком случае, умел пользоваться языком так, как никто не умел с тех пор: "Но есть построение слов, и поворот их вокруг, и приятная передача. Есть противостояние и ослабление. Есть уклонение, сдерживание, внезапное восклицание и понижение голоса; и взятие аргумента из общего дела и приведение его к одному пункту; и доказательство и пропозиции вместе. И вот разрешение дано, а затем сомнение и выражение удивления. Подсчет, исправление, полное уничтожение, продолжение, обрыв, притворство, ответ самому себе, перемена имен, разъединение и соединение вещей - связь, отступление, сокращение".²⁵⁶ Кто сможет перевести все эти вещи, когда сам Квинтилиан охотно признает, что пытался и не смог справиться с ними на подходящем языке?

И вот, наконец, наступает самый прекрасный конец этих очаровательных рассуждений: "His autem de rebus sol me ille admonuit, ut brevior essem, qui ipse jam præcipitans, me quoque hac præcipitem pæne evolvere coegit."²⁵⁷ Эти слова настолько очаровательны в своем ритме, что я не стану лишать их красоты переводом. Заходящее солнце требует, чтобы и я отправился на покой: таков их простой смысл. В конце книги он делает комплимент Гортензию, который при жизни был его великим соперником и который еще жил, когда была написана "De Oratore".

b.c. 52, ætat. 55.

Следующим в списке идет "De Optimo Genere Oratorum" - предварительный трактат, написанный в качестве предисловия к переводу, сделанному им самим, речей Эсхина и Демосфена против Ктесифона по вопросу о золотой короне. Мы не располагаем переводом, но у нас есть причины, побудившие его перевести их - а именно, чтобы дать возможность читателям, знающим только латынь, судить, насколько Эсхин и Демосфен заслужили титул "оратора-оптимуса". Ведь они выступали друг против друга с самыми горькими оскорблениями, и каждый оратор боролся за подавление другого. Каждый из них говорил, зная, что в случае поражения ему придется дорого заплатить и своим лицом, и своим карманом. Он не отдает пальму первенства ни тому, ни другому; но он сообщает своим читателям, что аттическая манера говорить ушла в прошлое: слава ее, конечно, известна, но природа неизвестна. Но он объясняет, что перевел эти два произведения не дословно, как переводчик, а в духе, как оратор, используя те же фигуры, те же формы, ту же силу идей. Мы должны признать, что не понимаем, как таким образом он мог ответить на вопрос De Optimo Genere Oratorum; но, возможно, он сделал что-то, чтобы доказать, что сам он в своем ораторском искусстве сохранил лучшие известные греческие формы.

Далее следует диалог De Partitione Oratoria Dialogus, о котором мы уже говорили, написанный, когда он был уже стариком и находился на шестьдесят первом году своей жизни. Это был год, когда он развелся с Терентией и стал совершенно несчастным как в личных, так и в общественных делах. Но это не помешало ему подготовить для сына эти наставления по ораторскому искусству в форме вопросов и ответов.

Далее мы переходим к "Бруту", или "De Claris Oratoribus", диалогу, который, как предполагается, состоялся между Брутом, Аттиком и самим Цицероном. Он является продолжением трех книг De Oratore. Там он описывает то, что необходимо для характера оратора-оптимуса. Здесь он рассматривает особенного человека, возвращаясь к результатам прошлых веков и представляя перед глазами читателя всех греческих и римских ораторов, пока не доходит до Цицерона. Не могу не сказать, что у читателя остается ощущение, что в сознании Цицерона наконец-то достигнут образ оратора optimus.

Прежде всего следует отметить, что в качестве друга, которому он адресовал свое произведение, он выбрал человека, которого знал лишь в конце жизни. Именно тогда, когда он отправился в Киликию в качестве губернатора, когда ему было пятьдесят шесть лет, Аттик ввел его в близкие отношения с Брутом. Теперь он, наряду с Аттиком, стал его самым избранным другом. Три его следующих трактата, "Оратор", "Тускуланские размышления" и "De Natura Deorum", были украшены или должны были быть украшены именем Брута. И все же, исходя из того, что мы знаем, трудно представить себе двух людей, чьи политические амбиции могли бы свести вместе. Один шел на компромисс, мирился с плохим, а не с худшим, знал, что все плохо, и довольствовался тем, что было наименьшим; другой - строгий, бескомпромиссный, получивший уроки, которые научили его, что между плохими вещами нет выбора! И Брут тоже говорил Цицерону, что уроки ораторского искусства ему не по вкусу. В Цицероне было что-то такое, что позволяло ему терпеть подобные упреки, хотя в человеке, который его упрекал, не было ничего достойного похвалы; и именно этому чему-то он отдавал свою преданность. Мы знаем, что Брут был жаден до денег со всей жадностью римского аристократа, и мы также знаем, что Цицерон не был таким. Цицерон мог держать свои руки чистыми, когда вокруг него были тысячи людей, и когда тысячи шли в карманы других людей. Он видел пороки Брута, но не ненавидел их. Должно быть, он терпел и от Аттика нечто подобное. Мне кажется, что для Цицерона не существовало никакого ужаса перед жадностью, кроме жадности в самом себе. Он мог ненавидеть ее в себе и при этом терпеть ее в других, как человек может терпеть карточную игру, или рэкети, или дерн. Но он должен был знать, что Брут сделал себя обладателем всех добрых даров в учебе, и в результате принял его в свое сердце. Ничем иным я не могу объяснить себе чувство раболепства перед Брутом, которое Цицерон так часто выражает: оно не существует ни в одном другом из его жизненных отношений. Политическое раболепие есть перед Помпеем; но он может смеяться над Помпеем и не посвятил ему свои трактаты De Republica или De Legibus. С Аппием Клавдием он был очень учтив. Он плохо думал об Аппии, но едва ли хуже, чем следовало бы думать о Бруте. Он любил Целия, Курия, Требация. К Петию он был привязан, к Сульпицию и Марцеллу. Но ни к кому из них он не проявлял такого почтения, как к Бруту. Я мог бы понять это чувство, проявившееся в политических письмах в конце его жизни, и объяснить его для себя тем, что "ipsissima verba", вероятно, не дошла до нас. Но я не могу сказать, что имя Брута не стоит там, написанное нетленными буквами на титульных листах его самых избранных произведений. Если это так, то Брут обязан своей образованности больше, чем уважению Цицерона. Это чувствовали все века, и Шекспир сказал нам, что "Брут - человек благородный".

Существует спор относительно периода авторства этого трактата. Цицерон в нем рассказывает о Катоне и Марцелле, и поэтому мы должны предположить, что он был написан, когда они были живы. Действительно, он так сравнивает Сезара и Марцелла, как не смог бы сделать, если бы они оба не были живы. Но Катон и Марцелл умерли около 46 г., и как же тогда трактат мог быть написан в 45 г.? Следует, однако, помнить, что написанное может быть изменено и переписано, и что дата написания и дата публикации не могут быть абсолютно одинаковыми. Но время не имеет особого значения для тех, кто может

наслаждаться рассуждениями. Он начинает с рассказа о том, как опечалился, когда по возвращении из Киликии узнал, что Гортензий умер. Гортензий привел его в Коллегию авгуров и был там для него родителем. Он оплакивал Гортензия и от имени Рима. Гортензий ушел. Далее он рассказывает, что, когда он размышлял об этом, прогуливаясь по своему портику, к нему подошли Брут и Помпоний Аттик. Он рассказывает, как приятно они поприветствовали друг друга; затем они постепенно продолжают, пока Аттик не просит его возобновить историю, которую он рассказывал ранее. "По правде говоря, Помпоний, - говорит он, - я хорошо это помню, ибо тогда я слышал, как Дейотар, этот вернейший и лучший из царей, защищал здесь нашего Брута". Дейотар был тем восточным царем, о защите которого самим Цицероном я уже упоминал, когда говорил о его ходатайствах перед Цезарем. Затем он бросается к своей теме и подробно обсуждает свою любимую идею. При этом следует помнить, что здесь не прослеживается никакой положительной линии уроков ораторского искусства. В этом трактате нет ни начала, ни середины, ни конца. Цицерон бежит дальше, очаровывая нас скорее своим языком, чем своими уроками. Он говорит о красноречии, что "оно - спутник мира и помощник легкости".²⁵⁸ Он говорит нам о Катоне, что прочел сто пятьдесят его речей и "нашел их все изобилующими яркими словами и прекрасными материями; * * * и все же никто в его дни не читал речей Катона!"²⁵⁹ Речь, конечно же, идет о Катоне Старшем. Затем мы слышим, как Демосфен говорил, что в ораторском искусстве действие - это все: и первое, и второе, и третье. "Ибо нет ничего лучше, чем проникнуть в умы слушателей, научить их, обратить их и сформировать их, пока оратор не станет казаться именно тем, кем он хочет, чтобы его считали".²⁶⁰ * * * Человек, слушающий оратора, верит в то, что слышит; он все считает правдой, все одобряет".²⁶¹ Несомненно! Цицерон прекрасно описывает оратора и его работу; но он не описывает человека, делающего то, что он обязан делать по долгу службы.

Он говорит нам, что нет ничего хуже, чем полдюжины адвокатов - что, безусловно, верно.²⁶² Далее он переходит к Сезарю и очень высоко его восхваляет. Но тут слово берет Брут и рассказывает, как он читал "Комментарии" и нашел их "голыми в своей красоте, совершенными в симметрии, но не украшенными и лишенными всякого внешнего убранства".²⁶³ Это все, что он сказал нам, и их нельзя было описать более точными словами. Затем он называет имя Гортензия и говорит о нем языком, изящным и наглядным; но самую большую силу он оставляет для себя и, наконец, заявив, что не скажет ничего в свое оправдание, раздражается панегириком, который он умеет скрыть под сомнительными фразами, чтобы показать, что он сам настолько овладел своим искусством, что сделал себя, по истине, лучшим оратором из всех.²⁶⁴

Пожалуй, главное очарование этого эссе - в легкости прикосновений. Оно не тяжелое, не суровое, редко меланхоличное. Если читать его без ссылок на другие произведения, то у читателя останется впечатление, что, хотя время от времени на него нахлынет память об ушедшем друге и некоторые воспоминания об изменениях в государстве, с которыми он, как старый человек, не может согласиться, тем не менее, оно написано счастливым человеком, тем, кто доволен своими книгами и рад напоминанию о том, что у него все было хорошо. Он пишет так, как будто у него на сердце нет большой печали. Никто бы не подумал, что в этом же году он был озадачен своими личными делами, вплоть до того, что отстранил от себя жену; что Цезарь добился своего и, будучи в прошлом году диктатором, в третий раз стал консулом; что он знал, что живет по благоволению Цезаря. Цицерон, похоже, написал своего Брута так, как мог бы написать тот, кто хорошо себя чувствует. Если человек чему-то научился и приобрел любовь к письму, ему, можно сказать, легко продолжать свое дело. Что ему до того, что вокруг него политики режут друг другу глотки? Он не выходил на эту арену, не сражался там и не проливал кровь, да и не нужно ему это делать. Пусть все идет не так, как он

думает, но у него нет причин для гнева, для личного разочарования, для личного стыда; а вот Цицерон каждое утро, вставая, должен был вспоминать Помпея и думать о Цезаре. И хотя Цезарь был с ним вежлив, вежливость правителя трудно переносить тому, кто сам правит. Цезарь был консулом; и Цицерон, помнивший, как величественно он шел, когда несколько лет назад стал консулом благодаря реальным голосам народа, как ему рукоплескали за исполнение долга перед народом, как его наказывали за нарушение законов в интересах народа, как он отказывался от всего ради народа, должно быть, испытывал горькие чувства в сердце, когда садился писать этот разговор с Брутом и Аттиком. Однако в нем есть вся та жизнерадостность, которую можно было бы ожидать от счастливого ума. Но мы должны заметить, что в конце разговора - в самых последних словах - он с грустной меланхолией упоминает о положении дел, а затем резко обрывается. Даже на середине предложения она обрывается, и читателю остается только представить, что что-то было упущено или что можно было бы добавить еще.

Последняя из этих работ - "Оратор". Мы рассмотрели De Oratore и Brutus; or, De Claris Oratoribus. Теперь нам предстоит рассмотреть то, что, по общему мнению, является наиболее законченным произведением из всех трех. Такова, по-видимому, общая идея тех ученых, которые говорили и писали на эту тему. Сам он говорит, что всего существует пять книг. Это три De Oratore; четвертая называется "Брут", а пятая - "Оратор".²⁶⁵ В некоторых изданиях эта работа имеет второе название - "De Optimo Genere Dicendi-", как будто пять книг должны идти последовательно: первые три - об ораторском искусстве в целом, четвертая - о знаменитых ораторах, а последняя, заключительная работа - о наилучшем способе ораторского искусства. Читатели, которые захотят сохранить их в памяти, должны на время исключить из нее те несколько страниц, которые он написал в качестве предисловия к переводам из Эсхина и Демосфена. Их цель - показать, как можно создать этого доселе неизвестного героя романа - идеального оратора.

Здесь, как и везде, наибольший интерес представляет определенная дискурсивная трактовка предмета, которая позволяет ему бегать туда-сюда, и при этом всегда радовать нас, в каком бы положении он ни находился, что бы ни говорил и в каком бы обличье ни выступал перед нами. Но здесь, в последней книге, кажется, что в его рассуждениях есть какой-то метод. Он выделяет три стиля красноречия - простой, умеренный и возвышенный - и объясняет, что оратор должен выполнять три обязанности. Он должен узнать, что по любому вопросу он должен сказать; он должен расположить свои аргументы в порядке и знать, как их выразить. Он объясняет, каких действий должен добиваться оратор, и учит, что красноречие полностью зависит от элоквенции. Он говорит нам, что философы, историки и поэты никогда не поднимались до его представлений о красноречии, но что это делает только тот, кто может среди жара и работы Форума обратить умы людей так, как он хочет. Затем он учит нас, как следует относиться к каждому из трех стилей - простому, умеренному и возвышенному, и показывает, как их варьировать. Он сообщает нам, какие законы мы должны сохранять в каждом из них, какие украшения, какую форму и какие метафоры использовать. Затем он рассматривает слова, которые мы должны использовать, и дает нам понять, как необходимо следить за мельчайшим разнообразием звучания. В этом вопросе мы должны признать, что он, будучи римлянином, имел дело с инструментами для прослушивания, бесконечно более тонкими, чем наши британские уши; и я не уверен, что мы можем с восторгом следовать за ним во все тайны Рэон, Dochmius и Dichoreus. То, что он говорит о ритме, мы готовы принять за правду, и мы удивляемся его тщательному изучению; но я сомневаюсь, не читаем ли мы здесь о нем как о чем-то запредельном, погружаясь в которое, мы должны удаляться от более полезных занятий нашей жизни.

Есть здесь и восхитительные моменты. Например, он говорит нам, что тот, кто создал красивую вещь, должен иметь красоту в своей душе,²⁶⁶ - очаровательная идея, относительно которой мы не перестаем интересоваться, правда это или нет. Он дает нам прекрасное предостережение от накопления хороших изречений и использования их из хранилища нашей памяти: "Пусть избегает этих изученных вещей, не сделанных в момент, но принесенных из шкафа".²⁶⁷ Затем он переходит к грандиозному описанию идеального оратора: "Но тот третий человек - богатый, обильный, достойный и образованный, в котором есть божественная сила. Это тот, чьей полнотой и культурой речи восхищались народы, и чье красноречие позволяло одерживать верх над людьми".²⁶⁸ * * * Тогда оратор будет чувствовать себя более полно. Тогда он будет управлять их умами и обращать их сердца. Тогда он будет поступать с ними так, как пожелает".²⁶⁹

Но на фоне всего этого сам Брут был не в восторге. "Когда я написал ему, - сказал он Аттику, - повинаясь его желанию, "De Optimo Genere Dicendi", он послал весточку и тебе, и мне, что то, что меня порадовало, его не удовлетворило".²⁷⁰ "Пусть каждый целует свою жену", - говорит Цицерон в своем письме в словах, следующих за теми, что мы процитировали; и мы не можем не любить этого человека за то, что он способен шутить, рассказывая о полученном им отказе. Должно быть, для него было дополнительной болью, что тот, для кого он написал свою книгу, должен был принять ее с суровым упреком.

Наконец, мы переходим к "Топике"; последним наставлениям, которые Цицерон дает по ораторскому искусству. Римляне, похоже, очень ценили уроки, которые здесь передаются, но для нас они не имеют особой привлекательности. Он сам заявляет, что это перевод из Аристотеля, но также заявляет, что перевод был сделан по памяти. В первой главе он говорит, что был в море, там выполнил свою задачу и отправил ее, как только она была выполнена. В этом есть что-то непонятное для нас. Он перевел трактат Аристотеля по памяти, то есть не имея перед собой оригинала, и сделал это в море, во время своего намеченного путешествия в Грецию!²⁷¹ Я не думаю, что Цицерон был неправ, когда писал так. Эта работа была сделана для его молодого друга Требатия, который часто просил о ней и был слишком умен, когда получил ее, чтобы не признать ее ценность. Но Цицерон, руководствуясь своей памятью, переложил на свой лад идею Аристотеля об "изобретении" в логике. Труд Аристотеля, как мне сообщили, состоит из восьми книг: вот рогателла в двадцать пять страниц. В ее исполнении есть своя дерзость - особенно в том, что она была написана на корабле; но мы должны помнить, что он потратил свою жизнь на то, чтобы достичь знания этих вещей, и мог со всей быстротой опытного профессора записать доктрины по этому вопросу, которым он хотел научить Требатия.

Это позднее сочинение представляет собой перечисление различных источников, к которым оратор, будь то юрист, адвокат, философ или государственный деятель, может обращаться за своими аргументами. В то, что они могли быть полезны Требатию в течение его долгой жизни в качестве генерального прокурора при дворе Августа, я не могу поверить. Я не знаю, чтобы он достиг особых высот как оратор, хотя он был хорошо известен как советник; и я не думаю, что ораторское искусство или способность убеждать можно так приструнить, чтобы заставить подчиниться формальным правилам. А здесь они даны нам в виде каталога. Для современного читателя это, пожалуй, наименее интересная из всех работ Цицерона.

После прочтения этих трактатов у нас остается общее представление о том огромном внимании, которое в римском образованном мире уделялось науке говорить. Приводить свои аргументы в нужный момент, улавливать идеи, которые могут возникнуть в умах людей, знать, когда можно ожидать симпатий, а когда их требуют, когда можно доверять чувствам, а когда они слишком притупились, чтобы быть полезными, инстинктивно чувствовать, когда он

может быть мягким, когда жестким, когда упрямым, а когда тающим - таково было дело римского оратора. И достичь этого можно было только путем тщательного изучения характеров людей. Это ни в коей мере не зависело от добродетели, морали или истины, хотя очень сильно зависело от воспитания. Как угодить множеству людей - для него это было все. Для него было главным сделать именно то, что в нашем прозаическом лондонском мире нам говорят, что люди не должны пытаться сделать. Они пытаются, но терпят неудачу - из-за врожденной честности, которая есть в сердцах людей. В Италии, во времена Цицерона, они пытались это сделать и не потерпели неудачу. Но мы можем видеть, каковы были результаты.

Внимание, которое римские ораторы уделяли своему голосу, было столь же серьезным и требовало такой же сдержанности, как и занятия нынешнего атлета. Мы склонны сомневаться, не слишком ли много жизни посвящено этой цели. Это может быть сделано только людьми, настолько жадными до восхищения, что они считают, что все остальные вещи должны быть оставлены теми, кто хочет преуспеть. Современный актер сделает это, но его дело - выступать; и если он так приложит себя к своей профессии, что добьется успеха, он достиг своей цели. Но ораторское искусство в суде, как и в парламенте, или при обращении к публике - это лишь средство проникновения в умы других людей тех идей, которые оратор хочет туда вложить. Иметь эти идеи и желание научить им других - для него важнее, чем умение хорошо их выразить. Знать закон лучше, чем говорить о его знании. Но у римлян желание блистать было столь велико, что реальность терялась в видимости; и люди были так склонны предаваться наслаждению чувств, что готовы были пожертвовать вещью ради звука и предпочитали ложь в совершенном языке истине в нестройных слогах. Это чувство глубоко запало в сердце Цицерона еще в юности и наложило на его характер единственное пятно, которое у него есть. Он был патриотом: любить свою страну было первым долгом римлянина. Он будет честен: это было необходимо для его личного достоинства. Но он должен был так очаровывать своих соотечественников своим голосом, чтобы, слушая его, они чувствовали, что к ним обращается какой-то бог. Так он проникался любовью к похвале, пока для него не становилось смертью не быть перед светильниками.

Можно сказать, что "идеальный оратор" - это человек, который не является ни желанным, ни желаемым. Мы, толпа мира, рожденные держать язык за зубами и пользоваться мозгами, не потерпели бы его, покажись он нам. Но во времена Цицерона все было не так, и именно таким способом он воспевал дифирамбы своей профессии и возвеличивал собственную славу. Он говорит об этой профессии таким превосходным языком, что заставляет нас, читающих его слова, поверить, что в ней было больше, чем на самом деле. Но в ней было многое, и тем больше, что исполнители реагировали на свою аудиторию. Изысканность выразительных средств стала настолько велика, что и способность слушать и различать тоже стала велика. По мере того как совершенствовались инструменты, совершенствовались и уши, которые должны были воспринимать их музыку. Об этом говорят Цицерон и вслед за ним Квинтилиан. Последний, говоря о природе голоса, приводит ряд эпитетов, которые было бы безнадежно пытаться перевести: "Nam est et candida, et fusca, et plena, et exilis, et levis, et aspera, et contracta, et fusa, et dura, et flexibilis, et clara, et obtusa; spiritus etiam longior, breviorque".²⁷² И что примечательно, каждый римлянин, который слушал, понимал, что имел в виду оратор, и тоже знал и говорил ему об этом, если тот по ошибке впадал в какую-то не совсем правильную каденцию. К способам повышения голоса, которые обычно делятся на три - высокий или скрипичный, низкий или басовый, и тот, что находится между ними, контральто и тенор, - добавляется множество других. Есть сильные и мягкие, высокие и низкие ноты, быстрые и медленные. Нам, знающим, что мы можем говорить или шептать, сбивать слова вместе или растягивать их, этого кажется мало. Но тогда каждый слушатель критически относился к тому, выполняет или не выполняет оратор перед ним свою задачу

так, как это должно быть сделано. Неудивительно, что Цицерон требовал, чтобы оратор был *optimus*. Затем нужно было развивать силу тела, чтобы голос не упал до "болезненной, женской слабости, как у евнуха". Это должно быть обеспечено упражнениями, помазанием, непрерывностью, легким перевариванием пищи - что означает умеренность; челюсти должны быть свободными, чтобы слова не ударялись друг о друга. Что же касается действий оратора, то Цицерон говорит нам, что они должны произноситься так же громко и ясно, как и сами слова. Во всем этом мы видим, что Квинтилиан лишь слишком близко следует за своим учителем. Описываются руки, плечи, бока, притопывание ногой, один или много шагов - каждое движение тела, согласующееся со словами из его уст.²⁷³ Он приписывает это Антонию - но только потому, что, когда он думает об этом, в его памяти всплывает какое-то движение Антония.

Заставить слушателей поверить в него - вот единственный дар, который ценил Цицерон; не заставить их знать, что он правдив, а заставить поверить, что он таков. Во времена Цицерона это и означало быть оратором-оптимусом.

Со времен Цицерона в общем поведении людей наметился определенный прогресс. Они стали менее жадными, менее жестокими, менее эгоистичными - жадными, жестокими и эгоистичными, хотя все еще остаются таковыми. Прогресс, которого добились лучшие из нас, Цицерон фактически достиг; но он не приобрел того теоретического отвращения ко лжи, которое является первым чувством в груди современного джентльмена; поэтому он все еще был занят поисками *optimus orator*.

ГЛАВА XII.

ФИЛОСОФИЯ ЦИЦЕРОНА.

Следует заметить, что в списке, приведенном в предыдущей главе, произведения, обычно публикуемые под названием "Философия Цицерона", разделены. Некоторые из них называются "Философией", а некоторые - "Нравственными сочинениями". Кажется абсурдным выставлять на всеобщее обозрение его "Тускуланские расспросы", написанные с целью показать, что смерть и боль не являются злом, вместе с моральным эссе, таким как "De Officiis", в котором он говорит нам, как должен поступать человек в мире. Это как если бы мы связали письма лорда Честерфилда в один том с эссе Юма и назвали их философией восемнадцатого века. Это могло бы быть правдой, но, конечно, было бы абсурдом. Возможно, найдутся те, кто сочтет письма философскими, и те, кто так скажет об эссе; но смысл их будет диаметрально противоположным. Так было и с Цицероном, чьи трактаты были объединены под этим названием с целью подвести их под одно название. Было признано необходимым разделить его произведения и описать их. Счастливый человек, которому впервые пришлось в голову собрать вместе "De Natura Deorum" и "De Amicitia" и представить их миру под именем своей философии, возможно, нашел единственное название, которое могло бы объединить эти два произведения. Но он сделал очень много, чтобы ввести мир в заблуждение и заставить читателей поверить в то, что Цицерон на самом деле был тем, кто старался жить в соответствии с доктриной какой-либо особой философской школы.

Для этого он был слишком честен, слишком мудр, слишком цивилизован, слишком современен. Он, как никто другой, знал, что удовольствия мира приятны, а беды - наоборот.

Когда жена предала его, он горевал. Когда умерла его дочь, он скорбел. Когда его враг был силен против него, он ненавидел его. Он избегал боли, когда она приближалась к нему, и делал все возможное, чтобы вокруг него все было удобно. Он был эпикурейцем, как и все мы. Он не презирал ни смерть, ни боль, ни горе. Он был современным человеком - если я правильно понял его - с сильными наклонностями, нравственным, здоровым и выносливым; но в жизни он был кем угодно, только не философом. Вспомним, как он смеется над идеей привнесения философии в реальную жизнь в "De Oratore". Он говорит о том, как адвокаты должны были бы вести себя в судах, если бы философия могла возобладать: "Ни один человек не мог бы вслух скорбеть. Ни один покровитель не плакал бы. Никто бы не скорбел. Не было бы призвано в свидетели ни одной республики; ни один человек не осмелился бы стукнуть ногой, чтобы это не было сказано стоикам".²⁷⁴ "Вам следует хранить книги философов для вашего тускуланского удобства", - говорит он в предыдущей главе; и на той же странице он говорит о "сказочном государстве Платона".

Тогда зачем, спрашивается, он написал столько эссе по философии - столько, что хватило бы на многие трудоемкие годы? Нет никаких сомнений в том, что он действительно написал "Философию", хотя у нас есть все основания полагать, что это была не его философия. Все эти трактаты, начиная с *Academica*, написанной в шестьдесят два года, за два года до смерти, и продолжавшейся в течение двенадцати месяцев с неукротимой энергией, *De Finibus*, "Тускуланские диспуты", *De Natura Deorum*, *De Divinatione* и *De Fato*, были написаны в течение указанного времени. Тем, кто считает Цицерона философом - тем, кто посвятил свою жизнь занятиям философией, - не кажется ли странным, что он отложил написание своих работ на эту тему и отложил свои убеждения до настоящего времени? Почему в этот особый период своей жизни он должен был сразу же броситься в них и сделать это так, чтобы иметь возможность оставить их в стороне в другой период? Почему все это было сделано менее чем за два года? Пусть любой человек посмотрит на последний год своей жизни, когда "Филиппики" горячо выходили из его мозга и жадно рвались из его уст, и спросит себя, как много греческой философии он в них находит. Из всех шестидесяти четырех лет своей жизни он посвятил этой философии один, и тот не последний, а предпоследний; и так жил все эти годы, включая и этот, чтобы показать, как мало влияла философия на его поведение. Αἰ δέομαι Τριών. Была ли это греческая философия? Или же нетерпеливое восклицание человеческого духа, в его слабости и в его силе, боящегося дыхания своих собратьев и все же знающего, что истина в конце концов будет выражена им?

Причину этого искать далеко не надо, хотя характер, который мог бы воспользоваться такой причиной, требует глубокой проницательности. Для него литература была всем. Мы видели, с каким вниманием он изучал ораторское искусство - скорее, риторiku, - чтобы знать имена тех, кто когда-либо блистал в ней, и доктрины, которым они учили. Мы знаем, как хорошо он был начитан в Гомере и греческих трагиках; как он знал наизусть Энния, Невия, Пакувия и других, писавших на его родном языке. Как он был знаком с поэтами и риториками, так же он был знаком и с теми писателями, которые занимались философией. Его невероятная разносторонность никогда не давала сбоев. Он знал их всех с самого начала и умел заинтересовать своими доктринами. Он учился в афинских школах и изучал все это. В каком-то смысле он верил в это. Шла великая словесная битва, и в ней он верил то в одну, то в другую сторону. Но если бы его спросили, с помощью какого философского процесса он будет править миром, он бы улыбнулся. Тогда бы он объявил себя не академиком, а республиканцем.

Для него это была игра, украшенная всеми знаниями прошлых веков. В Афинах у него было полно школ, и он принимал участие в их обучении. Ему было приятно называть себя

учеником Платона, держаться в стороне от строгости стоиков и мирских теорий последователей Эпикура. Ему также было полезно интересоваться этой пьесой. Но полагать, что Цицерон, современный Цицерон, Цицерон всего мира - Цицерон-отличный джентльмен, Цицерон-мягкосердечный, Цицерон-ненавистник, Цицерон-любовник, Цицерон-человек - был верующим в греческую философию, что он принимал и питался этими лоскутками и сухими палками, что он когда-либо довольствовался таким образом жизни, какой они могли ему обещать, - значит, действительно заблуждаться в этом человеке. В его душе трепетали все те инстинкты, которые сегодня управляют нами. Пойдите среди наших политиков, и вы найдете то одного, то другого, кто в застольной беседе назовет себя эпикурейцем или возомнит себя академиком. Он унес с собой кое-что из знаний, полученных в колледже, и достаточно помнит свои школьные упражнения; но когда ему приходится произносить речь за или против защиты, тогда вы узнаете, где кроется его философия.

Так было и с Цицероном в предпоследний год его жизни. За этот период он излил такое количество знаний по этому вопросу, что, когда люди по прошествии веков занялись этим, они называли все это его философией. Когда он уже не мог ни говорить о политике, ни действовать в ней, когда для него уже не были открыты ни Форум, ни собрания народа или Сената, когда он уже не мог заявить о себе от имени государства, он перешел к дискуссиям о Карнеаде. И его рассуждения замечательны. Как мог он, когда его дочь была мертва, приложить свой ум к работе и написать прекрасным языком четыре таких трактата, которые вышли из-под его пера, пока он думал о храме, который должен был быть построен в ее память? Удивительно, что в такой период, в таком возрасте он оказался способен на этот труд. Но именно так он развлекал себя, утешал, отвлекал. Трудно поверить, что в печальный вечер его жизни такая сила должна была остаться с ним; но легче, я думаю, чем представить, что в тот год своей жизни он вдруг стал философом.

При описании *Academica*, первой из этих работ по времени, необходимо пояснить, что из-за изменения плана публикации, сделанного Цицероном после того, как он отправил первый экземпляр Аттику, и по той случайности, что вторая часть сохранилась от первого экземпляра, а первая - от второго, возникла путаница. Цицерон чувствовал, что мог бы лучше поступить со своими друзьями, чем выносить на суд публики Гортензия, Катула и Лукулла, обсуждающих греческую философию. Ни один из них не был человеком, который при жизни интересовался этим вопросом. Поэтому он переписал сочинения или изменил их и снова отправил своему другу Варро. Время было так благосклонно к ним, что сохранились части первой книги в измененном виде и вторая из четырех, составлявших первое издание. Именно его называют Лукуллом. Катул был первым, но был утерян. Гортензий и Цицерон были двумя последними. Таким образом, мы можем понять, до какой степени развития он довел свою цель. Конечно, следует понимать, что он диктовал эти упражнения и помогал себе сам, используя все имеющиеся в его распоряжении механические средства. Люди, работавшие на него, были рабами, а эти рабы всегда хотели сохранить в своих руках то хорошее, что пришло к ним благодаря их собственному уму и ловкости. Он не мог умножить свои руки или мозг, но он мог умножить все, что могло бы им помочь. Он начинает с того, что рассказывает Варро, что давно хотел проиллюстрировать латинскими буквами философию, которую высоко ценил Сократ, и спрашивает Варро, почему тот, кто так любит писать, до сих пор не написал ни об одном из этих предметов. Поскольку Варро впоследствии хвастался на сайте, что он автор четырехсот девяноста книг, в этом, кажется, есть доля иронии. Как бы то ни было, Варро заставляют взять в руки перчатку и сразу же броситься прочь среди философов. Но тут, как бы на пороге его расспросов, мы имеем доводы самого Цицерона, изложенные простым языком: "Но теперь, пораженный тяжелым ударом судьбы и освобожденный от забот о государстве, я ищу у философии облегчения своей боли". Он

считает, что таким образом может наилучшим образом послужить обществу, или даже "если это не так, то что еще он может найти для себя?".²⁷⁵ Однако по мере того, как он продолжает, мы видим, что он пишет скорее о философах, чем о философии.

Затем мы переходим к Лукуллу. Кажется странным, что человек, чье имя дошло до нас как ругательство роскоши и упрек в переедании, должен быть выдвинут в качестве философа. Возможно, именно последующее предчувствие Цицерона, что таково может быть мнение людей, побудило его изменить свою форму - напрасно, как нам кажется. Но Лукулл жил с Антиохом, греческим философом, у которого были свои взгляды, и он вынужден отстаивать их в этой книге.

Здесь, как и в других местах, нас восхищает не столько тема, сколько то, как он решает некоторые вопросы, почти не связанные с темой: "Как много вещей, которые знают те, кто упражняется в музыке, ускользают от нас! Ах, вот Антиопа, говорят они; вот Андромаха".²⁷⁶ Что может быть правдивее или менее вероятно, как мы можем предположить, встретить нас в трактате по философии, и, следовательно, более желанным? Он говорит о доказательствах: "Необходимо, чтобы разум уступил тому, что ясно, хочет он того или нет, как блюдо в весах должно уступить, когда на него кладут гирю".²⁷⁷ * * * Ты можешь храпеть, если хочешь, так же как и спать, - говорит Карнеад, - но что тебе от этого будет?"²⁷⁸ И затем он приводит предположения некоторых старых философов о бесконечности. Фалес говорил, что вода - источник всего. Анаксимандр не согласился с этим, так как считал, что все произошло из космоса. Анаксимен утверждал, что это воздух. Анаксагор отмечал, что материя бесконечна. Ксенофан заявил, что все есть единое целое, и что это бог, вечный, непреходящий, никогда не рождающийся и не умирающий, но круглый в своей форме! Парменид считал, что именно огонь движет землю. Лейципп считал, что она "plenum et inane". Что означает "полное и пустое", я не могу сказать; но Демокрит мог, потому что верил в это - хотя в других вопросах он пошел немного дальше! Эмпедокл придерживается старых четырех элементов. Гераклит - за огонь. Мелисс считает, что все сущее бесконечно и неизменно, всегда было и будет. Платон считает, что мир существовал всегда, а пифагорейцы приписывают все математике.²⁷⁹ "Твой мудрец, - продолжает Цицерон, - знает, кого выбрать из всех этих людей. Пусть остальные, от которых отказались, удалятся".

"Все они скрыты, эти вещи, спрятаны в густой тьме, так что ни у одного человеческого глаза не хватит сил заглянуть в небеса или на землю. Мы не знаем ни своего тела, ни природы, ни силы его составных частей. Сами врачи, которые вскрывали их и смотрели на них, невежественны. Эмпирики заявляют, что они ничего не знают, потому что, как только на них посмотрят, они могут измениться. * Сиракузец Гикетас, как рассказывает Теофраст, считает, что небо, солнце, луна и звезды стоят на месте и что ничто в мире не движется, кроме земли. Что же вы, последователи Эпикура, скажете на это?"²⁸⁰ Мне нет нужды продолжать разговор дальше, чтобы показать, что Цицерон высмеивает все это. Этот Гикет, сиракузец, кажется, был ближе к цели, чем другие, в соответствии с существующим светом, который еще не засиял во времена Цицерона. "Но в чем был смысл всего этого? Кто об этом знает? Как может человек жить, слушая подобный мусор?" Таким образом, Цицерон хочет быть понятым. Соглашусь, что Цицерон не часто высказывается так ясно, как здесь, превращая все в насмешку. Как правило, он находит нужным сказать что-то в похвалу этим философам. Он не вполне декларирует тот факт, что из них ничего нельзя сделать; или, скорее, во всем этом присутствует подспудное чувство, что, сделав это, он разрушил бы свой характер и лишил бы себя развлечений. Но мы всегда помним о его характере философа, который приписывается Катону в его речи во время консульства в Мурене. Я уже рассказывал эту историю при изложении этой речи. "Тот, кто перерезает горло старому петуху, когда в этом нет нужды,

согрешил так же глубоко, как отцеубийца, когда ломает шею своему отцу", ²⁸¹ говорит Цицерон, смеясь над стоиками. Здесь он высказывает чувства своего сердца - здесь, и часто в других своих орациях. Здесь, в "Академике", он красноречив с той же стороны. Мы не можем не радоваться простоте его слов; но следует признать, что мы не часто видим, чтобы он так громко выдавал себя, когда имеет дело со старыми дискуссиями греческих философов.

Вскоре после "Академики", в 45 г. до н. э., появились пять книг "De Finibus Bonorum et Malorum", написанные как будто для того, чтобы разрешить все споры и объявить, за кем истина - за эпикурейцами, стоиками или академиками. Что, наконец, есть добро, а что - зло, и как нам добиться одного и избежать другого? Если он расскажет нам об этом, то в какой-то мере проявит себя как философ. Но он ничего подобного не делает. В конце пятой книги Аттик, который был эпикурейцем, заявляет Квинту Цицерону, что он придерживается своего мнения так же твердо, как и раньше, хотя он был в восторге от того, как хорошо академик Пизон говорил на латыни. До сих пор он считал, что речь идет о вещах, которые хорошо звучат только на греческом языке.

Книга снова написана в форме диалога и, как и все его сочинения в это время, адресована Бруту. Она состоит из пяти книг. Первые две, как предполагается, состоялись в Кумах между Цицероном, Торкватом и Триарием. Здесь, после прелюдии в пользу философии и латыни, Торквату позволено наилучшим образом оправдать Эпикура. В этой прелюдии много здравого смысла; ведь независимо от того, прав он или нет в своих словах, каждому человеку полезно уважать свой собственный язык. "Я всегда думал и говорил, что латинский язык не беден, как принято считать, а даже богаче греческого". ²⁸² "Давай узнаем, - говорит Торкват, случайно зашедший к нему в Кумæ вместе с Триарием, серьезным и ученым юношей, как нам рассказывают, - раз уж мы застали тебя в твоём доме, почему ты не одобряешь Эпикура - того, кто, живя, кажется, освободил умы людей от заблуждений и научил их всему, что могло бы сделать их счастливыми". ²⁸³ Затем Торкват приступает к работе и произносит забавнейшую речь о мудрости Демокрита и его великого ученика. Слова летят с восхитительной силой, так что у нас возникает мысль, что Торкват убеждает свою аудиторию; ведь это особый дар Цицерона, в чьи бы уста он ни вкладывал свои слова, заставляя его спорить так, словно он победитель. Мы уверены, что, если бы он держал в руках теорию, противоположную теории Торквата, если бы она его действительно волновала, он не смог бы заставить Торквата говорить так хорошо. Но оратор заканчивает и заверяет слушателей, что его единственной целью было услышать, как он никогда раньше не слышал, мнение самого Цицерона по этому вопросу.

Вторая книга представляет собой продолжение той же встречи. Слово берет Цицерон и опровергает Торквата. Нам, однако, кажется, что с бедным Эпикуром обращаются плохо - как это обычно бывает в дошедших до нас прозаических произведениях. У нас, конечно, есть поэма Лукреция, и, надо признать, в ней есть прекрасные отрывки. Но в юности мне всегда говорили, что ее написание привело его к самоубийству - поступок с его стороны, который, кажется, был окрашен в черные тона, хотя Катон и Брут, стоики, совершили то же самое с большим великолепием. Эпикурейцев считают чувственниками, потому что они использовали слово "удовольствие" вместо слова "счастье", и Цицерон сурово отзывался о них. Он рассказывает о предсмертных минутах Эпикура, цитируя письмо, написанное на его смертном одре. "Пока я пишу, - говорит он, - я проживаю свой последний час, и самый счастливый. У меня такая сильная боль в животе, что хуже ничего быть не может. Но все это компенсируется радостью, которую я испытываю, вспоминая свои философские рассуждения". ²⁸⁴ Далее Цицерон заявляет, что, хотя это высказывание очень благородно,

оно излишне; по правде говоря, он не должен был требовать компенсации. Но всякий раз, когда высказывается мнение, читатель чувствует его ненужность. Ему не нужно мнение. Его устраивает язык, которым Цицерон пишет о мнениях других, и забавная манера, в которой он касается вещей самих по себе тяжелых и суровых.

В третьей книге он, спустя некоторое время, обсуждает с Катонем стоическую доктрину на тускуланской вилле Лукулла, расположенной неподалеку от его собственной. Он зашел туда и, случайно обнаружив там Катона, сразу же принялся за работу, чтобы разрушить философские доктрины Катона. Он рассказывает, каким обжорой Катон был в отношении своих книг и брал их с собой даже в сенат. Цицерон просит у него несколько томов Аристотеля, а Катон отвечает ему, что охотно вложил бы ему в руки книги школы Зенона. Мы видим, как легко Катон попадает в ловушку. Он берет свою притчу и произносит проповедь, но делает это с удивительным энтузиазмом, так что мы не можем понять, что человек, написавший ее, намеревался разрушить все это на следующих нескольких страницах. Я переведу его последние слова обращения Катона к миру в целом: "Меня занесло дальше, чем я намеревался. Но, по правде говоря, восхитительный порядок системы и ее невероятная симметрия привели его к этому. Боги, неужели вы не удивляетесь этому? В природе нет ничего столь тесно связанного, а в искусстве - столь хорошо подогнанного. Последнее всегда согласуется с первым - то, что следует за ним, с тем, что было раньше. Ни один камень не может быть сдвинут со своего места. Стоит коснуться хотя бы одной буквы, и она падает на землю. Как сурова, как величественна, как достойна личность мудрого человека, который, когда разум подскажет ему, что добродетель - единственное благо, по необходимости должен быть счастлив! Он будет справедливее называться царем, чем Таркин, который не мог управлять ни собой, ни другими; справедливее диктатором, чем Сулла, обладатель трех пороков - роскоши, скупости и жестокости; справедливее богачом, чем Красс, который, если бы не был беден, никогда бы не перешел Евфрат в поисках войны. Все вещи по праву принадлежат тому, кто умеет ими справедливо распоряжаться. Можно назвать красивым того, чья душа прекраснее тела. Свободен тот, кто не находится в рабстве ни у одного желания. Тот непобедим, для чьего разума не выковать цепей; не нужно ждать последнего дня, чтобы объявить его счастливым. Если это так, то хороший человек - это еще и счастливый человек. Что может быть более достойным нашего изучения, чем философия, или что может быть более небесным, чем добродетель?"²⁸⁵ Все это было написано Цицероном самым изысканным языком, с отделкой слов, отшлифованных до последнего слога, потому что у него не было ничего другого, чем можно было бы удовлетворить жажду своего интеллекта.

Четвертая книга является продолжением спора "Который, когда он сказал, что он (сделал) конец, но я (начал)".²⁸⁶ Без всякого другого вступления Цицерон приступает к работе и разрушает каждое слово, сказанное Катонем. Он очень вежлив, так что Катон не может не признать, что ему отвечают достойно; но, выражаясь общепринятой фразой, он не оставляет ему ни малейшего шанса устоять на ногах. И хотя на протяжении предыдущей книги Катон говорил так хорошо, что читателю казалось, что в этом что-то есть, вскоре он убеждается, что стоическая позиция совершенно никудышная.

Пятая и последняя книга, "De Finibus", якобы повествует о диалоге, состоявшемся в Афинах, или, вернее, излагает обстоятельства беседы, которую якобы произнес там Пупий Пизон перед двумя Цицеронами и их двоюродным братом Луцием о достоинствах старой Академии и аристотелевских перипатетиков; ведь платоновская философия разделилась на две части. Была старая и новая, и мы, возможно, сомневаемся, какой из них посвятил себя Цицерон. Он

точно не был эпикурейцем и точно не был стоиком. Он с удовольствием говорил о себе как о поклоннике Платона. Но в некоторых вопросах он, кажется, следовал за Аристотелем, который отошел от Платона, а также, кажется, придерживался Карнеада, который стал хозяином новой Академии. Но, по правде говоря, выяснять особую доктрину такого человека по такому вопросу тщетно. Читая эти работы, мы теряемся в восхищении его памятью; мы удивляемся его проницательности; мы восхищаемся его проницательностью; мы чувствуем себя облегченными среди толпы имен и теорий вспылками его остроумия; но в результате перед нами встает необычный факт: человек играл с этими теориями как с самым интересным видом спорта, который только мог придумать мир, но нисколько не верил ни в одну из них. Дело не в том, что он не верил; возможно, среди всех догматов новой Академии были и те, которые лучше всего примирялись с его здравым смыслом. Но все они были для него лишь развлечением.

В этой книге есть несколько изящных фрагментов. Говоря об Афинах, он утверждает: "Идите по городу, куда хотите, и вы поставите свои стопы на остатки истории".²⁸⁷ Он говорит о некоем Деметрии, который, по его словам, писал книги без читателей в Египте, "что эта культура его ума была для него как бы пищей, с помощью которой поддерживалась его человечность".²⁸⁸ А затем он переходит к восхвалению нашей любви к ближним и знакомит нас с той истинной философией, которая была настоящим руководством его жизни. "Среди честных вещей, - говорит он, - нет ничего, что сияло бы так ярко и так широко, как братство между людьми, согласие в том, что может быть полезно для всех, и всеобщая любовь к человеческому роду. Она исходит из нашего первоначального состояния, в котором дети любимы своими родителями; затем, связывая семью, она распространяется по всему миру среди отношений, связей, друзей и соседей. Затем она охватывает граждан и тех, кто является нашими союзниками. Наконец, оно охватывает весь род человеческий, и в душе возникает то чувство, которое, давая каждому свое и защищая равными законами права каждого, называется справедливостью".²⁸⁹ Неважно, как была открыта эта великая тайна, которой впоследствии учил Христос и которую мы тщетно ищем в трудах всех философов. Здесь он просто передан самим Цицероном среди его замечаний о новой Академии, но он дает урок, который управлял его жизнью: "Я буду поступать с другими так, как хотел бы, чтобы они поступали со мной". В этом содержатся зачатки той религии, которая послужила смягчению сердец всех нас. Я должен думать о вас, а не о себе. До сих пор в школах учили, как человек должен делать себя счастливым - удовольствиями, добродетелью или чем-то средним между ними. Похоже, человеку никогда не приходило в голову думать о других, кроме как о том, что окружающий его мир. И вот появился учитель, который, путаясь в старых греческих уроках, претендовавших на то, чтобы рассказать человечеству, что каждый должен делать для себя, вывел следующее, как бы в качестве подготовки к истинной доктрине, которая должна была прийти: "*Ipsa caritas generis humani!*" - "Эта любовь к человеческому роду!". Я верю, что смогу показать, прежде чем закончу свою работу, что это была истинная философия Цицерона. Все остальное для него - лишь игра слов.

Следующая работа содержит пять книг "Тускуланских диспутов", адресованных Бруту: *Tusculanarum Disputationum, ad M. Brutum, libri i., ii., iii., iv. и v.* Именно под таким названием, наконец, критики и аннотаторы решили, что они, вероятно, были написаны Цицероном. Предполагается, что они были написаны, чтобы утешить себя в горе по поводу смерти Туллия. Я очень сомневаюсь, что утешение в печали можно найти в философии, но не сомневаюсь, что его можно найти в написании философии. Здесь я могу добавить, что бедные обычно страдают от горя меньше, чем богатые, потому что они вынуждены работать ради своего хлеба. У человека, который должен сделать свою пару ботинок между восходом солнца и моментом, когда он может с облегчением опуститься на свой изможденный стул,

нет времени думать о том, что его жена ушла от него, и что он заброшен в этом мире. Тянуть эти изможденные нити, придавать коже нужную форму, следить за тем, чтобы стежки были натянуты, чтобы не потерять свое место среди сапожников, - все это так занимает его время, что у него не остается ни минуты на слезы. То же самое происходит, если вы переходите от самого низкого занятия к самому высокому. Писать греческую философию можно так же, как и делать обувь. Характер занятия зависит от ума, а его полезность - от склонностей. Цицерону было свойственно писать. Поверит ли кто-нибудь, что он не мог бы с таким же успехом утешиться одним из своих трактатов по ораторскому искусству? Но философия была ему не по зубам. По-видимому, она появилась в последние годы его жизни, после того как он сблизился с Брутом. Когда жизнь снова превратилась в одно сплошное смятение политической лихорадки, она была заброшена.

В пяти книгах "Тускуланских диспутов", по-прежнему адресованных Бруту, он утверждает: 1. Что смерть - не зло; 2. Что боли нет; 3. Что печаль может быть упразднена; 4. Что страсти могут быть побеждены; 5. Что добродетели достаточно, чтобы сделать человека счастливым. Таковы доктрины стоиков; но Цицерон в этих книгах не защищает какую-либо школу в особенности. Он сильно опирается на Эпикура, воздает хвалу Сократу и Платону, но при этом он сравнительно свободен: "Nullius adductus jurare in verba magistri",²⁹⁰ , как сказал впоследствии Гораций, вероятно, высмеивая Цицерона. "Я живу для дня. Что покажется мне вероятным, то и говорю". И только в этом я свободен".²⁹¹

Давайте возьмем его догмы и пройдем через них одну за другой, сравнивая каждую с его собственной жизнью. Можно сказать, что это решающий тест, на который мало кто из философов согласится; но если выяснится, что он даже не мечтал соотносить свое поведение со своей профессией, то можно признать, что он тратил свое время на написание этих вещей, потому что ему не нравилось делать свою пару обуви.

Был ли когда-нибудь человек, который жил бы с большим страхом смерти перед глазами - не со страхом труса, а с уверенностью, что она лишит его полезности и изгонит со сцены мира, в сочувствии с которым бьется каждый пульс его сердца? Даже после смерти Туллии Республика снова пришла за ним, и можно было что-то сделать, чтобы расшевелить этих сладострастных дворян! Что может сделать мертвый человек для своей страны? Оглянитесь на жизнь Цицерона и посмотрите, как редко он прибегал к мольбе о старости, чтобы избавить себя от участия в нападении. Был ли это человек, который утешал себя мыслью, что смерть - не зло? Презирал ли он боль или пытался показать свое пренебрежение к ней? Вряд ли можно ответить на этот вопрос, ища в человеке безразличие к боли. Было бы слишком многого требовать от философии, полагая, что она может утешить себя в агонии рассуждениями. Было бы несправедливо настаивать на споре с Катоном во время подагры. Милосердие человеческой природы отказывается иметь дело с философией в тех тяжелых обстоятельствах, в которые ее может завести злонамеренность зла. Но когда вы обнаруживаете человека, который особенно бдителен, чтобы избежать повторения боли, когда вы обнаруживаете человека с сильной преднамеренной антипатией к состоянию, к которому он притворяется безразличным, тогда вы можете справедливо утверждать, что его безразличие - это только вопрос аргумента. И таким всегда было состояние Цицерона. Он знал, что должен во что бы то ни стало терять время, проходящее мимо него в физическом раздражении. Здоровье его было крепким, и благодаря постоянным заботам оно сохранилось до конца; но он всегда старался избежать морской болезни. Он тщательно следил за своими ваннами, за глазами, очень внимательно относился к питанию. Был ли

когда-нибудь человек, о котором можно было бы с меньшей правдой сказать, что он равнодушен к боли?

Третья позиция заключается в том, что горе может быть отменено. Прочитайте его письма к Аттикусу о его дочери Туллии, написанные в тот самый момент, когда он доказывал это. Он был человеком с разбитым сердцем, убитым горем. Сейчас нам не поможет рассуждение о том, проявил ли он в этом силу или слабость. Можно сомневаться, выиграл ли он или проиграл больше от этой глубокой преданности другому существу, которое сделало его жизнь страданием из-за того, что этот другой ушел; не лучше ли ему было скрывать свою печаль, чем показывать ее даже другу. Но с ним, во всяком случае, она была. Он может говорить о ней, плакать над ней, почти смеяться над ней; но если он чего-то и не может, так это относиться к ней в манере стоика.

Его страсти должны быть побеждены. Оглянитесь назад, на каждый период своей жизни, и посмотрите, пытался ли он когда-нибудь это сделать. Он всегда был возмущен, или торжествовал, или был несчастен, или радовался. Вспомните случаи из его жизни до и после консульства - день избрания и день изгнания - и спросите философов, почему он не контролировал свои страсти. Возможно, мне ответят, что перед нами человек, над которым, несмотря на всю его философию, властвовала страсть. Но какие попытки он предпринимал? Разве он показал себя нам человеком, склонным к таким попыткам? Разве он не наслаждался своими страстями, считая их справедливыми, праведными, честными и свойственными человеку? Жалел ли он о них? Вызывали ли они у него угрызения совести? Скажет ли мне кто-нибудь, что такой человек жил с убеждением, что он может победить зло мира, контролируя свои страсти? Если бы его спросили, что добродетель сделает человека счастливым, он, вероятно, согласился бы; но он уступил бы с ухищрениями. Самый обычный христианин современности скажет то же самое; но он скажет это не в том смысле, который подразумевали философы, провозгласившие в качестве правила жизни, что добродетели достаточно, чтобы сделать их счастливыми. Доброе отношение к ближним сделает вас счастливым так, как это описано Цицероном в пятой книге "De Finibus". Любите тех, кто находится рядом с вами. Будьте добры к своим ближним. При общении с каждым из них думайте о его чувствах. Сочувствуйте женщине в ее горе. Окажите мужчине помощь своим плечом. Будьте терпеливы к возрасту. Будьте нежны с детьми. Позвольте другим пить из вашей чаши и есть из вашего хлеба. Где ветер, там и плащ. Эта добродетель сделает вас счастливым. Но это не та добродетель, о которой он говорил, излагая свою доктрину. Не этой добродетелью был силен Брут, когда сдирал кожу с этих несчастных саламинцев. Именно такой добродетелью светилось сердце Цицерона, когда он увидел, как торговцы киликийского города выходят на рыночную площадь со своей кукурузой.

Цицерон начинает вторую книгу "Тускуланцев" с рассказа о том, что Неоптолем любил время от времени немного пофилософствовать, но никогда не слишком много за один раз. С ним самим дело обстояло иначе: "В чем еще я могу преуспеть?" Затем он берет битку между зубами и спешит с ней прочь. Читатель чувствует, что он не остановил бы его, если бы мог. Он мало делает для философии, но так много для литературы, что был бы смелым человеком, если бы захотел, чтобы его использовали иначе.

Он написал три трактата "De Natura Deorum". Если бы он заявил, что напишет три трактата, чтобы показать идеи, которые разные люди приняли о богах, он был бы ближе к истине. Мы имеем представление о том, каково было реальное представление Цицерона о том "dominans in nobis deus"²⁹² - боге, который царствует внутри нас и который, как он утверждает во сне Сципиона, запретил нам совершать самоубийство. Ничто не может быть более далеким от этой идеи, чем боги, о которых он рассказывает либо в первой книге, где

излагаются боги Эпикура, либо во второй, где защищаются стоики, либо в третьей, где поддерживаются боги в соответствии с Академией; не иначе как тот, кто выступает в защиту одной или другой секты, говорит не самое лучшее, что можно сказать. Веллеус красноречив для эпикурейцев, Бальбус - для стоиков, Котта - для Академии. И в том, что говорит каждый из них, можно найти зародыш истины - хотя Цицерон и доводит своего эпикурейца до абсурда, как только может. Но он не оставляет после себя и следа той веры в чужую веру, которую непременно создает энергичный проповедник. Язык превосходен, истории очаровательны, аргументы, приводимые друг против друга, вежливы, умны и таковы, что на них невозможно ответить, но они оставляют в душе читателя грустное ощущение отсутствия реальности.

В самом начале он снова повторяет причины, побудившие его написать на такие темы так поздно в жизни. "Будучи больным и находя состояние Республики таким, что ею должен править один человек, я счел за благо ради Республики написать о философии на языке, понятном всем нашим гражданам, полагая, что для славы государства очень важно, чтобы вещи такого веса были изложены на латинском языке";²⁹³ не то, что философия должна быть изложена, а то, что говорили о ней различные учителя. Его определение вечности - или, скорее, отсутствие определения - необычно: "Со всех времен существует вечность, которую не может описать ни одно измерение времени. Ее продолжительность невозможно понять, как и то, что должно было быть время до существования времени".²⁹⁴ Затем появляется идея о Божестве, ускользающая от него в середине его философии, современной, человеческой и поистине цicerоновской: "Вот, оказывается, что этот бог, в существовании которого мы уверены и следы которого мы храним на наших душах, никогда не сможет нам явиться".²⁹⁵

Далее мы переходим к фрагменту, в котором нельзя не предположить, что Цицерон действительно выражает что-то из своих сердечных чувств, поскольку на мгновение он, кажется, теряет свою вежливость, понося эпикурейцев: "Поэтому не тратьте свою соль, в которой ваш народ очень нуждается, на то, чтобы смеяться над нами. В самом деле, если вы послушаете меня, то не станете пытаться сделать это; это не станет вами; это не дано вам; у вас нет силы. Я говорю это не тебе, - говорит он, обращаясь к Веллею, - ибо твои манеры отточены, и ты обладаешь вежливостью нашего народа; но я думаю о вас всех, как о едином целом, и прежде всего о том, кто является отцом ваших правил - человеку без науки, без буквы, который оскорбляет всех, без критических способностей, без веса, без остроумия".²⁹⁶ Цицерон, я думаю, должен был испытывать искреннюю неприязнь к Эпикуру, когда говорил о нем в таких выражениях.

Далее, увы, начинается отрывок, в который вставлено множество переведенных стихов греческого поэта Аратуса. Цицерон еще в юности взял в руки "Феномены" Аратуса, и здесь он находит место, куда можно вставить некоторые его строки. Аратус посвятил себя воспеванию звезд и создал множество имен, с которыми мы до сих пор знакомы: "Близнецы", "Бык", "Большая Медведица", "Кассиопея", "Водяной", "Скорпион"; эти и многие другие образы представлены в гекзаметрах - Цицерон на латыни, а Аратус в их греческом обличье. Можно предположить, что в переведенном виде поэма была мертва, но здесь она оживает и вводится в то, что задумывалось как, по крайней мере, рационалистическое изложение богов и их природы. Невозможно представить себе ничего менее эффективного, чем повторение неинтересных стихов в таком месте; ведь читателя, которому только что рассказали об Эпикуре, заставляют вспомнить, что их образы, во всяком случае, столь же ложны, как и схема Эпикура, и сделать вывод, что Бальбус не верит в свои собственные аргументы. О Цицероне иногда говорят, что он слишком длинный. Вероятно, эти строки были помещены сюда в качестве шутки, хотя они настолько длинны, что уносят читателя совершенно в другой мир.

Далее он посвящает себя анатомическим исследованиям, что для того времени свидетельствует о его точных знаниях. Но какое отношение это имеет к природе богов? "Когда живот, расположенный под желудком, становится вместилищем мяса и питья, легкие и сердце вытягивают воздух для желудка. Желудок, который прекрасно устроен, состоит в основном из нервов. * Легкие - легкие и пористые, как губка - как раз подходят для вытягивания воздуха. Они выдувают и вытягивают воздух, чтобы таким образом легко получать пропитание, наиболее необходимое для жизни животных".²⁹⁷

Третья книга - всего лишь фрагмент, но начинается она с приятной риторики в адрес Эпикура. Котта заявляет, что не испытывал никаких трудностей с Эпикуром. Эпикур и его единомышленники не нашли, что сказать по поводу бессмертных богов. Его боги обладали руками и ногами, но не могли ими двигать. Зато от стоика Бальбуса они услышали много такого, что хотя и не было истиной, но все же было похоже на правду. Во всех этих рассуждениях кажется, что к бедным эпикурейцам относятся лишь с умеренной долей милосердия. Но Котта продолжает и рассказывает множество историй о богах. Он прерывает свое повествование, так как печальная рука разрушения опустилась на MS., и его аргументы дошли до нас незаконченными. "Лучше, - говорит он, - вообще не давать вина больным, потому что можно навредить им этим приемом. Точно так же я не знаю, не лучше ли отказаться от дара разума, остроты и быстроты мышления для людей вообще, чем дарить его им так часто к их собственной гибели".²⁹⁸ Именно так обсуждается природа богов в этой работе Цицерона, которая, по сути, является дискуссией о различных философских школах, каждая из которых занимает то положение, которого она достигла в его время.

За De Natura Deorum следуют две книги, De Divinatione, и фрагмент одной, De Fato. Гадание - это наука о предсказании событий. Под словом "фатум" Цицерон подразумевает судьбу, или то, что было предопределено заранее. Все три книги вместе можно рассматривать как религиозные рассуждения, и его целью, похоже, было показать, что обязанностью государства может быть поощрение религиозных обрядов и даже наказание за их несоблюдение на благо всего общества, даже если они сами по себе могут быть неистинными. Он находится здесь вместе со своим братом или с теми, кто, как и его брат, по его мнению, освободился от суеверий, и говорит ему или им, что, хотя они не верят, они должны притворяться, что верят. Если предсказатели объявят по полету птиц, что такое-то дело должно быть сделано, пусть оно будет сделано, хотя тот, кто должен действовать в этом деле, не верит в птиц. Если они заявляют, что дело предопределено судьбой, пусть оно будет таким, как если бы оно было предопределено, независимо от того, предопределено оно или нет". Он отвергает эту веру как неразумную или детскую, но рекомендует людям жить так, как будто они верят. В такой теории, как эта, представленной читателю, на первый взгляд, присутствует диссимуляция. Я не могу отрицать, что это так, хотя очень хочу утверждать честность Цицерона. Я могу только сказать, что такая диссимуляция преобладала тогда и преобладает сейчас. Если кто-то достаточно велик, чтобы осудить иерархов всех церквей, он может сделать это, и может включить Цицерона в число архиепископов Кентерберийских. Я же - нет. По-видимому, необходимо учитывать развитие интеллекта людей и неразумно ставить себя так далеко впереди, чтобы отгородиться от этого общего мира человечества. Я не доверяю самоуверенности того, кто считает, что может вывести из одной признанной ошибки целую схему лжи. Я возьму нашу протестантскую церковь Англии и спрошу у какого-нибудь вдумчивого человека, как он относится к ее меняющимся доктринам, и постараюсь сделать это так, чтобы не шокировать ничьих чувств. Когда Слово Божье стало требовать соблюдения субботы и когда оно перестало быть таковым? Если бы тем, кто размышлял на эту тему, стоило ответить на мой вопрос, ответы были бы самыми разными. Это никогда не начиналось! Она никогда не колебалась! Есть и промежуточные ответы тех, кто признает, что

чувства в стране меняются и уже изменились. А сколько среди них отцов семейств, которые ходят в церковь ради примера? Разве Церковь не признает молитвы о перемене погоды? Спросите священника по дороге из церкви, что он делает со своим стогом сена, и его ответ даст вам понять, верит ли он в свои молитвы. Он придал всю святость своего голоса выражению слов, которые были написаны, когда невежество людей в отношении творений природы было больше; или написаны вчера, потому что невежество людей требовало этого. Или же те, кто требовал этого, возможно, сами не были невежественны, но считали нужным потворствовать суеверию толпы. Я говорю это не для того, чтобы возразить против современных религиозных обрядов, а для того, чтобы показать, что состояние людей все еще таково, что требует защиты, которой требовал и Цицерон, когда писал следующее: "Прежние века заблуждались во многом, что, как мы знаем, было изменено практикой, доктриной или временем. Но обычай, религия, дисциплина, законы авгуров и власть коллегии сохранились, повинаясь мнению народа и ради великого блага государства. Наши консулы, Клавдий и Юний, были достойны всяческого наказания, когда вышли в море вопреки эгиде; ведь люди должны подчиняться религии, а обычаи нашей страны не могут быть так легко отброшены".²⁹⁹ Нет более веского мотива для соблюдения религиозных обрядов, чем мнение народа и благо государства. Найдутся и те, кто скажет, что истина велика и должна восторжествовать. И пусть вокруг их головы в беспорядке рухнут разбитые миры, они устоят среди руин. Но те, кому предстоит нести ответственность, не станут разрушать миры.

Таковы, как мне кажется, были рассуждения Цицерона, когда он писал эти трактаты. В первом из них он встречает своего брата Квинта на его тускуланской вилле и слушает его рассуждения в пользу религии. Квинт полностью на стороне богов и покровителей. Он, можно сказать, джентльмен старой школы, и он полностью консервативен. Таким образом, ему предоставляется возможность продемонстрировать древность своей веры. "Stare super vias antiquas" - девиз Квинта Цицерона. Затем он переходит к демонстрации двух видов гадания, которые были в употреблении. Есть тот, который он называет "Ars", и который мы, возможно, можем назвать опытом. Прорицатель предсказывает в соответствии со своими знаниями о том, что было раньше. Например, его просят сказать, выйдет ли корабль в море в пятницу. Он знает - или думает, что знает, или в своем невежестве заявляет, что думает, что знает, - что корабли, вышедшие в море в пятницу, обычно идут ко дну. Поэтому он предсказывает против выхода в море. Хотя корабль должен выйти в море в назначенный день и совершить благополучное плавание, ложь пророка не доказана. Это можно сделать, только показав, что корабли, вышедшие в море в пятницу, как правило, подвергались не большей опасности, чем другие, - для этого необходимо тщательное научное наблюдение. Это и есть искусство. А еще есть предсказания, которые исходят от разума, находящегося в беспокойстве - кто, скажем, видит сны или пророчествует в припадке, как сивилла или Эпименид Критский, который прожил сто пятьдесят семь лет, но спал шестьдесят четыре из них. Квинт объясняет, что бог не желает, чтобы люди их понимали, а только пользовались ими.³⁰⁰

Он рассказывает множество забавных подробностей о пророческих снах и делах прорицателей и мудрецов. Так книга становится болтливой, полной анекдотов, и перемежается множеством стихотворных произведений - некоторые из них написаны другими, а некоторые Цицероном. Здесь приводятся строки о битве орла и дракона, которые я рискнул назвать лучшими среди девяти приведенных версий.³⁰¹

Мы не можем не сочувствовать ему в причине, которую он приложил ко второй книге этого трактата: "Я часто спрашиваю себя и перебираю в уме, как лучше послужить наибольшему числу моих сограждан, чтобы не наступило время, когда покажется, что я перестал

заботиться о государстве; и мне не пришло в голову ничего лучшего, как сделать известным путь изучения лучших искусств, что, как мне кажется, я уже сделал в различных книгах".³⁰² Затем он перечисляет их. Это начальная работа по философии, которую он посвятил Гортензию, ныне утраченная. Затем в четырех книгах "Академики" он изложил свои идеи относительно той школы, которая, по его мнению, была наименее высокомерной и наиболее истинной - имея в виду новую Академию. После этого, поскольку он считал, что вся философия основана на поиске добра и зла, он занялся этим вопросом. Затем последовали "Тускуланские исследования", в которых он изложил в пяти книгах пять великих правил правильной жизни. Покончив с этим, он написал три книги о природе богов и теперь завершал их, а также собирался завершить их своими нынешними изысканиями. Мы не можем не сочувствовать ему, потому что знаем, что, хотя он и не был совершенно серьезен во всем этом, он был так близок к этому, как только может быть близок человек, который учит тому, во что сам не вполне верит. Брут верил в это, и Катон, и этот Веллеус, и этот Бальбус, и этот Котта. А если кто-то из них и не верил, то жил, и говорил, и читал, и был столь же эрудирован в этом вопросе, как если бы верил. Пример был хороший, а наставления - самые лучшие. Среди всего этого он выбрал лучшую доктрину и, несомненно, делал добро своим соотечественникам, представляя им на их родном языке учение, с помощью которого они могли бы лучше всего смягчиться.

"Græcia capta ferum victorem cepit, et artes, Intulit agresti Latio."³⁰³

Здесь же он объясняет свое поведение в прекрасном отрывке. "Мои сограждане, - говорит он, - простят меня, а может быть, скорее поблагодарят за то, что, когда республика оказалась во власти одного человека, я не спрятался и не покинул их; я не плакал без дела и не носился как угорелый с этим человеком или со временем; не льстил удаче другого, чтобы мне самому было стыдно за то, что я сделал. Ибо я усвоил этот урок из философии Платона: в общественных делах происходят определенные изменения. Сейчас ими управляют лидеры государства, потом - народ, иногда - один человек".³⁰⁴ Это очень мудро, но он берется за работу и полностью разрушает аргументы брата. Он знает, что проповедует лишь немногим, причем так, что его проповедь становится безопасной. Его язык очень приятен, всегда вежлив, всегда учтив; но не менее того, он превращает аргументы брата в посмешище. И мы чувствуем, что он смеется не столько над братом, сколько над самими богами - ведь они так явно деревянные, - хотя он понимает, как необходимо для блага государства, чтобы они были приняты. Он заявляет, что, согласно теории его брата, то есть стоиков, "необходимо, чтобы они, боги, шпионили в каждом домике вдоль дороги, чтобы они могли наблюдать за делами людей".³⁰⁵ Это игриво, спорно и сатирично. Наконец он предлагает оставить эту тему. Так же поступил бы и Сократ, никогда не требуя ничьей поддержки, но оставляя всю суть своих слов на усмотрение слушателей. Квинт говорит, что вполне согласен с этим, и на этом рассуждение De Divinatione заканчивается.

От его книги о судьбе до нас дошел лишь фрагмент или средняя часть. Цицерон хочет показать, что в череде дел, которые люди называют жизнью, не имеет значения, есть ли Судьба или нет. Все будет идти своим чередом и меняться, или, по-видимому, меняться, под действием людей. Какое нам дело до того, предрешено ли то или иное событие, пока мы живем и пока каждый следует своим собственным желаниям? Все это, однако, немного утомительно, взятое в конце столь длинного курса философии; и мы, наконец, поднимаемся от чтения с чувством благодарности за то, что все эти книги Хрисиппа, о которых он нам рассказывает, не существуют до сих пор, чтобы быть исследованными.

Таков конец тех работ, которые я признаю философскими и которые, как кажется, он понимал, что они были делом примерно восемнадцати месяцев. Все они были написаны

после триумфа Сезара, когда ни один римлянин уже не имел права высказывать свое мнение ни в Сенате, ни на Форуме. Сезар подавил всю оппозицию и стал верховным правителем до самой своей смерти. Книга De Fato была написана, правда, уже после его падения, но до того, как ситуация настолько изменилась, что Цицерону пришлось вернуться к общественной жизни. Так же, как и три последних нравоучительных сочинения, о которых я расскажу в следующей главе; но на самом деле он всегда держал их в сердце. Нужно было только отослать их переписчикам, оставив либо себе, либо какому-нибудь верному Тиро последующую обязанность по перестройке. Но какая же голова была у него, чтобы вместить все это!

Глава XIII.

НРАВСТВЕННЫЕ СОЧИНЕНИЯ ЦИЦЕРОНА.

Теперь нам предстоит разобраться с нравоучительными эссе этого почти неисчерпаемого кладчика в мировую литературу, и тогда мы назовем, пожалуй, четверть всего, что он написал. Я где-то видел подсчеты, согласно которым до нас дошла лишь десятая часть его произведений, выкопанных, как бы, из погребенных руин литературы заботливыми и нетерпеливыми учеными. Я оцениваю его способности более скромно. Судя по тому, что мы знаем, что было утеряно, и по отсутствию каких-либо попыток сохранить большую часть его писем, я думаю, что не преувеличиваю его писательские способности. Кто может сказать, что со временем какой-нибудь будущий Петрарка или какой-нибудь будущий Май обнаружит неизвестные доселе сочинения, спрятанные в монастырских шкатулках или еще более таинственно скрытые под трудами монахов Средневековья? Только в 1822 году "De Republica" была извлечена на свет - по крайней мере, та ее часть, которой мы располагаем до сих пор; и в течение более чем тридцати лет после этого кардинал Май продолжал время от времени воспроизводить собрания греческих и латинских сочинений, доселе неизвестных классическому читателю. Будем надеяться, однако, что рвение ученых не ограничится тем, что проявил Симон Дю Бос, или же мы получим целые трактаты Цицерона, в которых он сам не был виноват.³⁰⁶

Мне трудно довольствоваться тем, что я могу отнести "De Republica" и "De Legibus" под одно название с этими сочинениями Цицерона, которые, несомненно, моральны по своей природе. Но это может пройти, возможно, без того явного противоречия, которое должно было быть сделано в отношении облечения De Officiis в одежды философии. Именно объединение истинного и ложного в один набор и преподнесение их миру как философии Цицерона и принесло вред. В работах, рассмотренных в предыдущей главе, содержатся споры о греческой философии, которые, по мнению Цицерона, могли бы быть хорошо изложены на латинском языке для пользы его соотечественников. Им было бы полезно знать, чему учил Эпикур или Зенон и чем они отличались от Сократа и Платона, и он рассказал им об этом. Теперь же в этих нравоучительных эссе он излагает им свою собственную философию - если это можно назвать философией, которая призвана научить людей жить хорошо. Здесь шесть книг о правлении, называемых "De Republica", и три - о праве; три трактата о старости и дружбе - каждый в одной книге, а о долге человека перед человеком - в трех.

В мире существует распространенная ошибка в понимании значения слова "республика". В ноздрах людей оно приобрело сладковатый привкус или самый дурной аромат, в

зависимости от их политики. Но на самом деле существует Российская республика, как и Соединенные Штаты, и Англия. Цицерон, используя ее в качестве названия своего труда, имеет в виду просто "правительство"; трактат под этим названием содержит рассказ о Римской империи и является скорее историческим, чем аргументированным и научным. Сам он был олигархом и вырос в условиях, когда эта самая пагубная форма правления рекомендовалась ему как содержащая все, что было хорошего и великолепного в Римской империи. Великие люди Рима, которых империя требовала для своего строительства, выдвигались каждый для работы на год; и, сменяя друг друга, возможно, избирались на второй. Изгнав своих царей, класс, из которого были выбраны эти люди, продемонстрировал свое личное стремление к почестям, и удивительно, что на протяжении стольких веков эти олигархи процветали. Читатель, если только он не пропитан демократическими чувствами, приступая к чтению римской истории, оказывается приверженцем дела этих олигархов. Они совершали великие дела, а противодействие им исходило от вульгарных рук. Позвольте мне спросить любого человека, который помнит, как он читал своего Ливия, не было ли так с ним. Но на самом деле именно демократический элемент, противостоящий этим лидерам, и сражения, которые они время от времени выигрывали в стенах города, обеспечили безопасность Рима и позволили правительству продолжать свою деятельность. Постепенно народ развратился, вожди стали коррумпированными, а господство над чужими людьми и внешними подданными привело к умножению рабов, и работу, принадлежащую каждому человеку, можно было выполнять чужими руками. Тогда начались пороки олигархии. Грабеж, разбой и роскошь заняли место исполненного долга. Веррес правил там, где побеждал Марцелл. Цицерон, который достаточно ясно видел разницу между отдельными людьми, не заметил, что это зло выросло в соответствии с его природой. Возникло то положение дел, которое Моммзен описал нам как не поддающееся исправлению. Но Цицерон этого не видел. Он смотрел на величие прошлого и на самого себя и не хотел просыпаться от того, что слава ушла из Рима. В таком состоянии он находился, когда писал "De Republica", за девять лет до того времени, когда он начал свои философские дискуссии. Тогда он еще надеялся. Сезар был в Галлии, а Помпей поддерживал в Риме призрак старой республики. Он все еще мог открывать рот и смело говорить о свободе. Он еще не был вынужден искать утешения в той игре слов, которая составляет греческую философию.

Я должен еще раз напомнить читателям, что "De Republica" - это фрагмент: первая часть отсутствует. Мы видим, как он рассказывает нам историю старца Катона, чтобы мы поняли, как хорошо, что мы не должны расслабляться в нашей общественной работе до тех пор, пока наше здоровье будет поддерживать нас. Затем он приводит примеры, показывающие, что истинно доброго гражданина не остановит пример людей, пострадавших за свою страну, и среди них называет себя. Но вскоре он вводит форму диалога, которую впоследствии продолжает, и выводит на сцену особенно молодых Сципиона и Лелия. Предполагается, что уроки, которые мы получаем, проистекают из добродетели титулованного внука великого Сципиона, который победил Ганнибала. Он продолжает рассказывать историю за историей из римских хроник и, наконец, уверяет нас, что та форма правления является лучшей, в которой монархический элемент сдерживается авторитетом ведущих граждан и поддерживается голосами народа. Может быть, только потому, что я англичанин, мне кажется, что он описывает ту форму правления, которая должна была появиться в Англии?

Вторая книга также начинается с восхваления Катона. Затем Сципион начинает с Ромула и рассказывает историю царей Рима. Таркин изгоняется, и устанавливается консульство. Он рассказывает, отнюдь не с одобрением, как был учрежден трибунат, а затем, увы, наступает обрыв в рукописи.

В третьем мы имеем в качестве начала фрагмент, переданный нам Августином, в котором Цицерон сетует на несправедливость природы, пославшей человека в мир, подобно мачехе, нагим, слабым, немощным, с душой беспокойной, робкой и бессильной, но все же имеющей в себе нечто от божественного огня, не уничтоженного полностью. Затем, спустя некоторое время, через множество "лакун", Сципион, Лелий и некто Филус вступают в дискуссию о справедливости. Здесь есть примечательный отрывок, из которого мы узнаем, что римляне практиковали защиту со строгостью, превосходящей современные им народы. Они даже не разрешали своим трансальпийским союзникам сажать свои оливы и виноградники, чтобы их продукция не попала через Италию, и тем самым страшно поднимали цены на масло и вино.³⁰⁷ "Есть вид рабства, который несправедлив, - говорит один из них, - когда люди вынуждены служить другим, которые могли бы "должным образом принадлежать себе". Но когда в рабство попадают только те, кто..." Мы можем понять, что оратор продолжил, сказав, что те, кто родился рабами, могут оставаться в таком положении. Но, очевидно, подразумевается, что существует класс людей, которые являются рабами по праву. К ним присоединился Карнеад, впоследствии магистр новой Академии, и он преподает учение, которое не сделало бы его популярным в этой стране. "Если ты узнаешь, - говорит он, - что там, где человек собирается сесть, притаилась гадюка, смерть которой принесет тебе пользу, ты поступишь неправильно, если не скажешь ему об этом. Но вы сделаете это безнаказанно, поскольку никто не сможет доказать, что вы знали об этом". Из этого можно понять характер рассуждений о справедливости.

Следующие две книги представляют собой разрозненные фрагменты, посвященные морали и нравам. В шестой мы приходим к тому сну Сципиона, который стал настолько знаменит в мире литературы, что я не знаю, могу ли я сделать лучше, чем перевести его и добавить в качестве приложения к концу моего тома. Она сама по себе настолько прекрасна в отдельных частях, что, думаю, все читатели будут мне благодарны. (См. приложение к этой главе). В то же время следует признать, что она местами фантастична, и ее можно было бы назвать почти детской, если бы, читая ее, мы не вспоминали, в какое время она была написана и с каким трудом Цицерон пытался овладеть предметами, которые наука сделала для нас привычными. Музыка сфер должна была звучать в его воображении, прежде чем он смог бы рассказать нам о ней, что он и сделал языком, который кажется поэтичным сейчас, как и тогда, а поскольку он поэтичен, то, следовательно, не абсурден. Длительность годового периода - излишество. Вы можете называть свой отрезок времени как угодно; он длинный или короткий пропорционально жизни человека. Он говорит нам, что мы не должны надеяться на то, что наша слава будет услышана по ту сторону Ганга или что наши голоса донесутся через много лет. Я сам читал этот сон Сципиона в томе, найденном в Австралии, и прочитал его через две тысячи лет после того, как он был написан. Он мог судить о будущем этого мира только по прошлому. Но когда он говорит нам о бессмертии души и о небесах, которые можно завоевать добродетельной жизнью, о том, что мы обязаны оставаться здесь, где нас поместил Бог, и о недостаточности славы для удовлетворения жажды человеческого сердца, мы должны признать, что очень близко подошли к тому божественному учению, которое ему не дано было услышать.

Через два года после этого, примерно в то время, когда Милон убивал Хлодия, он написал свой трактат в трех книгах "De Legibus". Нам говорят, что это копия с Платона. Как и "Топика" - копия с Аристотеля, написанная на корабле по памяти, так и этот трактат можно назвать копией. Идея была дана ему, и многие мысли он изложил в своей собственной манере. Это диалог между ним, Атиком и его братом Квинтом, в котором речь идет скорее о природе и происхождении закона и о том, как сделать закон господствующим, чем о законах в том виде, в каком они были созданы для управления людьми. Все, о чем говорится в первой

книге, можно найти в его философских трактатах. В них есть несколько приятных моментов, например, когда Атик говорит нам, что он ни за что не допустит, чтобы аргументы Цицерона прошли мимо, потому что музыка птиц и воды помешает его собратьям-эпикурейцам услышать и увлечься ошибочной доктриной.³⁰⁸ Время от времени он излагает великую доктрину, как, например, когда заявляет, что "нет ничего бестерпимее, чем то, что люди должны понять, что они рождены быть справедливыми, и что справедливость - это не вопрос мнения, а заложено в природе".³⁰⁹ Он постоянно выступает против идеи удовольствия, обращаясь к доктрине своей греческой философии. Однако не благодаря им он научился чувствовать, что последний долг человека на земле - это его долг перед другими людьми.

Во второй книге он прививает соблюдение религиозных обрядов, что прямо противоречит тому, о чем он впоследствии рассказывает в своем трактате *De Divinatione*. Но в этой книге, *De Legibus*, мы можем предположить, что он намеревается дать инструкции для руководства обществом, в то время как в другой он сообщает нескольким избранным друзьям те эзотерические доктрины, которые было бы опасно передавать всему миру. Есть очаровательный отрывок, в котором нам советуют не посвящать богам земные богатства. Золото и серебро порождают нечистые желания. Слоновая кость, взятая из тела животного, - недостаточно простой дар для бога. Металлы, такие как железо, предназначены скорее для войны, чем для поклонения. Изображение, если оно должно быть использовано, пусть будет сделано из одного куска дерева или одной каменной глыбы. Если дается ткань, пусть ее будет не больше, чем женщина может сшить за месяц. Пусть не будет ярких цветов. Белый цвет лучше всего подходит для богов; и так далее.³¹⁰ Здесь мудрость Платона или тех, у кого Платон ее позаимствовал, преподносит нам урок, против которого восстали последующие эпохи. Дело не только в том, что богу не нужны наши золото и серебро, но и в том, что они нужны мужчине. Это правило, касающееся женского куска ткани, было дано в каком-то старинном собрании, чтобы муж или брат не лишился преимущества ее труда. Было видно, к чему приведет суеверие, собирающее богатства мира вокруг святилищ богов. Сколько людей с тех пор научились сожалеть о потерянном труде своих домохозяев; и все же какой бог был лучше? Возможно, есть вопрос эстетизма, в который Цицерон не вмешивается.

В третьей книге он переходит к практическим и в то же время политическим вопросам. Ни один вопрос не вызывал у римлян столь ожесточенных споров, как вопрос об учреждении и сохранении трибуната. Цицерон отстаивает его полезность, поручая с большим остроумием атаковать его своему брату Квинту. Квинт, действительно, очень яростен в своем натиске. Что может быть более "вредоносным" или более склонным к подстрекательству? Тогда Цицерон утихомиривает его. "О Квинт, - говорит он, - ты ясно видишь пороки трибуната! Но разве может быть что-то более несправедливое, чем, обсуждая какое-либо дело, помнить все его пороки и забывать все его достоинства? То же самое можно сказать и о консулах; ведь само обладание властью - это уже зло. Но без этого зла невозможно получить то благо, которое содержит в себе институт. Власть трибунов слишком велика, скажете вы. Кто это отрицает? Но насилие народа, всегда жестокое и нескромное, меньше при его собственном вожде, чем если бы ему не был дан вождь. Вождь измеряет свою опасность; но сам народ не знает такого измерения".³¹¹ Затем он поднимает вопрос об избирательном бюллетене и принципиально выступает против него. "Пусть люди голосуют как хотят, - говорит он, - но пусть их голоса будут известны их ставленникам".³¹² Увы, сейчас в Англии бесполезно обсуждать этот вопрос! Мы были столь стремительны в своем желании избежать зла подкупа, которое быстро проходило, что бросились к злу диссимуляции, которое может быть изжито только революционными изменениями. Когда люди будут голосовать десятками тысяч, бюллетень будет в безопасности, но тогда никто не будет заботиться о бюллетене.

Однако странно видеть, насколько хорошо люди были знакомы в Римской империи с вопросами, которые сегодня вызывают у нас недоумение.

Теперь мы переходим к трем чисто моральным эссе, последним из написанных им произведений, за исключением "Филиппик" и некоторых писем, а также "Топики". Действительно, когда доходишь до последнего года или двух его жизни, становится трудно определить точное место каждого из них. Он упоминает о написании одного, затем другого, но в конце концов это последнее появляется раньше первого. Все они были написаны в один и тот же год, за год до его смерти - самый активный год его жизни, если говорить о его письменных работах, - и здесь я буду рассматривать сначала *De Senectute*, затем *De Amicitia*, а *De Officiis* - в последнюю очередь, полагая, что они были опубликованы именно в таком порядке.

De Senectute - сочинение, написанное в защиту старости, обычно называемое Катон Майор. Предполагается, что оно было произнесено старым Цензором в 149 году до н. э., и его слушали Сципион и Лелий. Это был тот самый Сципион, которому приснился сон - на самом деле он вовсе не был Сципионом, а был сыном Павла Эмилия, которого мы помним как младшего Африкана. Катон сразу же бросается к своей теме и доказывает нам свою правоту, настаивая на всех тех банальных аргументах, которые, вероятно, были так же хорошо известны до его времени, как и после. Все люди желают старости, но никто не радуется, когда она наступает. Ответ заключается в том, что на самом деле никто не желает старости, а просто хочет прожить долгую жизнь, в которой старость является необходимым завершением. Она подкрадывается к нам так быстро! Но на самом деле она подкрадывается к молодости не быстрее, чем юность к младенчеству, а годы кажутся быстро летящими, потому что не отмечены явными изменениями. Мудрый человек должен следить за тем, чтобы каждая часть его пятиактной поэмы была хорошо исполнена. Катон продолжает свой урок и рассказывает, пожалуй, все, что можно было сказать о старости в тот период мировой истории. Поэма написана стариком для старика, ведь она адресована Аттику, которому было уже шестьдесят семь лет, и, конечно, в ней много общих мест. Но она полна благородных мыслей, приятна и рассказана самым простым языком; и она оставляет у читателя сладкий привкус достоинства возраста. Дайте старику почувствовать, что не ему покушаться на шалости молодости, и он уже спасет себя от большей части зла, которое может причинить ему Время. Я готов к тебе, и ты не сможешь причинить мне вреда". Пусть старик не берет на себя молодых, как молодой человек не берет на себя силу быка или слона". * * * Но все же оратору есть о чем сожалеть, ибо для того, чтобы хорошо говорить, требуется не только ум, но и все силы тела. Однако остается мелодичный голос, который - вы видите мои годы - я еще не потерял. Голос старика всегда должен быть спокойным и сдержанным".³¹³ Он рассказывает историю о Массиниссе, которому в то время должно было быть девяносто лет. Он был негибок в суставах, поэтому, отправляясь в путешествие, садился на лошадь и никогда с нее не сходил, или же отправлялся пешком и никогда не садился.³¹⁴ "Мы должны противостоять старости, мой Лелий. Мы должны компенсировать свою недолговечность трудолюбием, мой Сципион. Как мы боремся с болезнями, так давайте бороться со старостью".³¹⁵ * * * Почему возраст должен быть скупым, я никогда не мог сказать. Разве может быть что-то более абсурдное, чем требовать такой большой подготовки для такого маленького путешествия?"³¹⁶ Он говорит им, что знал их отцов и "верит, что они еще живы, что, хотя они и ушли с этой земли, они все еще ведут ту жизнь, которая только и может считаться достойной этого имени".³¹⁷

De Amicitia называется *Laelius*. Она вложена в уста Лелия и, как предполагается, представляет собой рассуждения о дружбе, которые он произнес в присутствии двух своих

зятьев, Кая Фанния и Муция Сцеволы, через несколько дней после смерти друга Сципиона. Не Дамон и Пифий были более известны своей дружбой, чем Сципион и Лелий. Он рассуждает о том, что такое дружба и почему ее заключают; среди кого должна существовать дружба; каковы должны быть ее законы и обязанности; и, наконец, какими средствами ее следует сохранять.

Цицерон начинает с рассказа о своей юности, о том, как его отдали под начало авгура Сцеволы и как, сменив тогу, он не отходил от старика до самой его смерти; вспоминает, как однажды, сидя с ним в кругу друзей, Сцевола впал в обычную для него беседу и рассказал ему, как однажды Лелий рассуждал с ними о дружбе. От начала до конца он свеж, зелен и прохладен, как свежесть ранней летней травы для людей, живущих в городах. Читатель по мере прочтения чувствует, что тот, кто имел такие мысли и стремления, никогда не был несчастен. В конце его жизни, когда мы рассказываем истории, в которых так много зависит от его писем к Аттикусу, это напоминает мне о любви, которая была между ними. Иногда Аттикус бывал сдержан. Он жаловался на плохие советы, на недостаток заботы, на замирание дружбы, читая эти обвинения, мы все признавали его неправым. Но Аттикус понимал его. Он знал, что привилегии и бремя должны идти вместе, и говорил себе, что привилегий гораздо больше, чем достаточно, чтобы компенсировать бремя. Когда мы строим свою историю на основе таких любящих писем, мы, несомненно, должны открывать их осторожными руками и относиться к ним с пониманием их духа. При написании трактата *De Amicitia* специально для глаз Аттика, как постоянно сердце должно было возвращаться ко всему, что было между ними, как уверен он должен был быть в правдивости своего друга! Тот, кто после почти полувековой дружбы мог написать своему другу о дружбе, не мог быть несчастным человеком.

"Если возникнет новая дружба, - говорит он нам, - пусть она не подавляется. Ты по-прежнему будешь собирать плоды с молодых деревьев, но не позволяй им занять место старой. Возраст и обычай придадут старым плодам свой собственный вкус. Кто станет садиться на нового коня, предпочитая его испытанному - тому, кто знает твою руку?"[318](#)

Я считаю "*De Officiis*" одним из самых совершенных трактатов по морали, которыми располагает мир, будь то за истинность преподанных уроков, за их универсальность или за красоту и легкость языка. Он посвящен тяжелой теме, но трактуется с таким искусством и изяществом, что его чтение доставляет удовольствие, а знакомство с ним становится важной частью образования. Она адресована его сыну и так же хороша сейчас, как и тогда, когда была написана. В ней нет ни одного наставления, которое не было бы современным, равно как и древним, и которое не подходило бы в равной степени как христианам, так и язычникам. Можно сказать, что система морали должна быть такой, которая одинаково подходит всем людям. Мы вынуждены признать, что она подходит только джентльменам, потому что тот, кто будет жить в соответствии с ней, должен быть достоин этого имени. В латинском языке "*honestum*" означает гораздо больше, чем в английском. Ни "честь", ни "честность" не дадут такой передачи - ни той чести, ни той честности, которую мы знаем. Современная честь летит так высоко, что иногда оставляет честность вне поля зрения; в то время как честность, хотя и является безупречной добродетелью, игнорирует те чувства, на которых основана честь. "Честность" включает в себя все; и Цицерон поднял свои уроки до такого уровня, что они включают в себя все. Но он так преподает, что слушатели с удовольствием внимают ему. Он никогда не проповедует. Он не обрушивает на вас свою доктрину, призывая остерегаться отступлений и наказаний; он ведет вас за собой по травянистой тропинке, пока вы, кажется, сами не узнаете, что такое добро - вы и он вместе, и вместе не научитесь тому, что является мужественным, изящным, честным и достойным.

В сочинениях Цицерона всегда можно найти полное отрешение от обстоятельств окружающего мира; так что читатель может предположить, что под вечер своей жизни, достигнув, наконец, благодаря трудам на благо государства, времени благословенного отдыха, он выдает мудрость своего возраста, окруженный всем тем, чем может одарить его спокойный мир. Оглянитесь на трактаты, написанные за последние два года, и каждый из них покажется подготовленным в какой-то тихий и спокойный период его жизни; но мы знаем, что последняя полировка, сделанная его собственными руками в этих трех книгах *De Officiis*, была добавлена среди жара и суматохи Филиппик. Эта способность приспособливать свой ум к любому занятию настолько необычна, что мы почти вынуждены думать, что Цицеронов было двое, и что один из них жаждал личного конфликта с Антонием, а другой сидел в саду какой-нибудь итальянской виллы и размышлял над словами, повинувшись которым можно было бы облагодетельствовать всех людей.

В диалектических спорах греческих философов он перенял способ деления предмета на числа, который вряд ли подходит для столь свободной и открытой беседы, как эта. Поэтому мы несколько обижаемся, когда нам говорят, что добродетель обычно делится "на три рубрики".³¹⁹ Если это так, и если необходимо, чтобы мы это знали, то, я думаю, это должно быть донесено до нас без этой попытки логической завершенности. Это невозможно назвать недостатком. Точность, действительно, должна быть у всех писателей достоинством. Но, чувствуя, что иногда меня ранит эта нумерация, я упоминаю о ней. В *De Officiis* он делит все дело на три части, и каждой части он посвящает отдельную книгу. В первой он рассуждает о том, следует ли делать то или иное дело или оставить его без внимания, то есть о том, является ли оно "честным" или "дерзким"; во второй - о том, целесообразно ли оно, то есть "полезно", или наоборот; в третьей он сравнивает "честное" и "полезное" и говорит нам, что следует выбирать, а чего избегать.

Долг гражданина перед своей страной занимает несколько более высокое место, чем мы ей отводим. "Нам дороги родители, дороги дети, дороги родственники и друзья; но наша страна охватывает все это, ибо какой хороший человек не умрет, чтобы служить ей? Как же отвратительно варварство тех, кто ранит свою страну на каждом шагу, занимаясь и занимается ее разрушением".³²⁰ Он дает нам несколько прекрасных советов относительно наших игр, которые могли бы с пользой для себя прочитать те, кто занимается греблей в наших университетских гонках. Но в конце он говорит нам, что охотничье поле - это честный и подходящий отдых.³²¹ Я уже говорил, что он был современен в своих взглядах - но не совсем современен. Он защищает самоубийство Катона. "Им, - говорит он, говоря о спутниках Катона в Африке, - этого нельзя было простить. Их жизнь была мягче, а нравы проще. Но Катону природа дала непобедимую серьезность нравов, которую он укреплял всей суровостью своей воли. Он всегда оставался тверд в своем намерении никогда не встречаться лицом к лицу с тираном своей страны".³²² В характере Катона было нечто ужасно грандиозное, что ничуть не потеряло от того, что дошло до нас из уст Цицерона. Цицерон многое допускает в суровом характере этого человека. Давайте оглянемся назад и обнаружим, что и мы делаем такие же поблажки. По правде говоря, это не урок, который он нам дает, а извинение, которое он приносит.

Прочтите его совет, данный в следующей строке, относительно внешнего облика джентльмена: "Есть два вида красоты. Один - прелесть, которая является даром женщины. Но достоинство принадлежит мужчине. Пусть с лица будет удалено все украшение, недостойное мужчины, и все недостатки в жестах и движениях, которые ему подобны. Манеры борцовской площадки и сцены порой одиозны; но стоит нам увидеть актера или борца, идущего просто и прямо, и мы восхваляем его. Пусть он использует подобающую

опрятность, не переходящую в женоподобность, но избегающую деревенской грубости. В одежде следует соблюдать ту же меру, что и в других делах, в которых лучше всего придерживаться середины".³²³

Затем он рассказывает сыну о том, какие занятия следует считать низменными. "Подлыми следует считать те источники наживы, в погоне за которыми люди склонны обижаться, как, например, дела сборщиков налогов и ростовщиков. Все это следует считать нелиберальным, куда люди приносят свою работу, но не свое искусство". Например, художник, пишущий картины, считается либеральным занятием, но не торговец картинами. "Это подлые люди, которые покупают у купцов, чтобы потом снова продать: они должны лгать, как пройдохи, иначе им не заработать на жизнь. Все простые работы занимаются неблагородным трудом: что величественного может произвести простая мастерская? Менее всего можно назвать хорошими те ремесла, которые служат лишь нашим удовольствиям, - рыботорговцев, мясников, поваров и птицеловов".³²⁴ В конце своего списка он добавляет, что из всех занятий ни одно не является лучшим, чем сельское хозяйство, и не заслуживает большей заботы со стороны свободного человека. Во всем этом необходимо, чтобы мы воспринимали его слова с небольшой поправкой на разницу во времени; но нет ничего, если мы внимательно присмотримся, в чем бы мы не увидели источник благородных идей, и причину многих понятий, которые сейчас уходят от нас - во благо или во зло, кто скажет?

В начале второй книги он извиняется за свою любовь к философии, как он ее называет, говоря, что знает, как ее недолюбливали окружающие. "Но когда Республика, - говорит он, - перестала существовать - та Республика, которая была моей заботой, - я перестал работать и на Форуме, и в Сенате. Но когда мой ум совершенно отказался бездействовать, я подумал, что лучше всего сгладить несчастья того времени, если я посвящу себя философии".³²⁵ Из этого мы можем видеть, как работал его ум, когда прежнее занятие его жизни исчезло. "Nihil agere autem quum animus non posset!" Как жалко было его положение, и в то же время как гордо! Ему нечего было делать - но нечего потому, что до сих пор он всегда делал так много.

Он прямо говорит сыну, как должен жить честный человек. Чтобы ничего не стыдиться, он не должен делать ничего такого, за что ему было бы стыдно. Но для него есть одна трудность: "Если при вступлении в мир на кого-либо возлагается величие имени, завоеванного его отцом, скажем, как это, мой Цицерон, возможно, случилось с тобой, то на него устремляются взоры всех людей, и его начинают расспрашивать об образе жизни. Он будет находиться под меридиональным солнцем, и ни одно его слово или поступок не будут скрыты".³²⁶ * * * Он должен жить в соответствии со славой, для которой был рожден". Он дает сыну много советов относительно адвокатуры. "Но самая большая похвала, - говорит он, - это защита обвиняемого, и особенно когда ты помогаешь тому, кто окружен властью какого-нибудь великого человека и с ним плохо обращаются. Так не раз случалось со мной в юности, когда я, например, защищал Росция Америна от власти Суллы". Эта речь сохранилась у нас до сих пор".³²⁷ Он много говорит нам о том, как владеть деньгами и как обеспечить их сохранность в хорошо управляемом государстве. "Позаботьтесь о том, чтобы не допустить долгов в ущерб республике. Вы должны защищаться от этого любой опасностью, но никогда не отнимая у богатых и отдавая бедным. Ничто так не необходимо государству, как общественный кредит, который не может существовать, если должников не заставляют платить то, что они должны. В бытность мою консулом не было ничего, на что я обращал бы более пристальное внимание, чем на это. Конные и пешие, они старались изо всех сил; но я противостоял им и избавил Республику от грозившего ей зла. Никогда еще долги не взыскивались так легко и быстро. Когда люди понимали, что не могут игнорировать своих кредиторов, они платили. Но тот, кто тогда был побежденным, теперь стал завоевателем. Он добился того, что задумал, даже если

сейчас это ему не нужно".³²⁸ Из этого отрывка следует, что эти книги были написаны до смерти Сезара. Во время заговора Катилины Цезарь попытался аннулировать все долги, то есть, по римскому выражению, установить "новые таблицы", но усилиями Цицерона потерпел неудачу. С тех пор он и добился своего, хотя мог бы удержать свою власть, не обращаясь за помощью к таким должникам. Кто же это мог быть, как не Цезарь? В начале третьей книги есть еще один отрывок, в котором говорится о том же: "У меня не хватает сил на безмолвное одиночество, и поэтому я отдаюсь своему перу". За то короткое время, что прошло с момента свержения республики, я написал больше, чем за все свои прежние годы".³²⁹ Этого, опять же, он не мог написать после падения Сезара. По характеру рассуждений нам остается судить, что они были написаны в тот период, когда обиды, нанесенные Цезарем Риму - обиды, во всяком случае, такими, какими они представлялись Цицерону, - достигли кульминации в той царственной гордыне, которая привела к его гибели. Эта книга была написана тогда, но опубликована через несколько месяцев после этого.

Глава XIV.

РЕЛИГИЯ ЦИЦЕРОНА.

Вряд ли я счел бы нужным посвятить одну из глав своей книги религии язычника, если бы, изучая жизнь Цицерона, не обнаружил, что имею дело не с языческим сознанием. Ум римлянина, который жил так, что его жизнь была записана впоследствии, в этот период в большинстве случаев был почти пуст в отношении любых представлений о Боге. Гораций - один из тех, кто в своих произведениях много говорит о себе. Овидий делает это еще более постоянно. Они оба полны аллюзий на "богов". Они оба понимают, что хорошо говорить о национальном культе, и что приказы императора будут лучше всего выполняться верующими. "Dis te minorem quod geris, imperas", - говорит Гораций, когда, повинувшись, вероятно, Августу, говорит своим согражданам, что они забывают о своих обязанностях, не желая платить за ремонт храмов. "Superi, quorum sumus omnia", - говорит Овидий, сочтя нужным показать в одном из своих сочинений, которые он отправил домой из своего изгнания, что он все еще придерживается модного верования. Но они не верили. В то время было модно притворяться легковверными, чтобы те, кто внизу, жили так, будто верят, и вызывали абсолютную веру у женщин и детей. Нехорошо, что храм богов превратился в руины. Нехорошо, чтобы авгуры, которые были высокородными джентльменами, пропали даром. Сам Сезар был верховным жрецом и очень дорожил этой должностью, но он, конечно, не был связан священнодействием. От джентльмена не ожидали религиозной веры. Религиозные обряды постепенно опустились так низко в мире, что римская знать стала думать о своих богах как о предметах, которыми можно поклясться, или о предметах, которые их развлекают, или о предметах, от которых, если наступят плохие времена, может прийти какая-то сомнительная помощь. При общении с обычными язычниками тех дней религию можно полностью отложить на второй план. Я не помню ни одного отрывка из Ливия или Тацита, указывающего на религиозные убеждения.

Но в случае с Цицероном у меня в голове полно таких отрывков; и они такого рода, что, если бы он жил сто лет спустя, я бы заподозрил его в каком-то тайном знании учений Христа. Месье Ренан напомнил нам о неприязни Цицерона к евреям. Он не мог учиться у иудеев - хотя иудей, действительно, мог многому его научить. Религия, которую он требовал, была далека от эгоизма иудеев или римлян. Он верил в вечность, в бессмертие души, в добродетель ради ее награды в будущем, во всемогущество Бога, в исполнение долга перед

ближними, в совесть и честность. "Certum esse in cælo definitum locum, ubi beati ævo sempiterno fruuntur".³³⁰ "На небесах есть определенное место, где блаженные будут наслаждаться вечной жизнью". Мог ли святой Павел с большей ясностью выразить свое убеждение относительно рая? Ранее он выражает менее определенным, но все же достаточно ясным языком свои представления о другом мире: "An vero tam parvi animi videamur esse omnes, qui in republica, atque in his vitæ periculis laboribusque versamur, ut, quum, usque ad extremum spatium, nullum tranquillum atque otiosum spiritum duxerimus, vobiscum simul moritura omnia arbitremur?"³³¹ "Неужели мы все так бедны духом, что думаем, будто после трудов ради нашей страны и нас самих - хотя у нас не было ни минуты покоя здесь, на земле, - когда мы умрем, все умрет вместе с нами?" А когда он уйдет, то должен будет достичь той славы, к которой его готовила добродетель. "Neque te sermonibus vulgi dederis, nec in præmis humanis spem posueris rerum tuarum; suis te oportet illecebris ipsa virtus trahat ad verum decus".³³² "Вы не должны возлагать надежду ни на мнение людей, ни на человеческие награды; но сама Добродетель своими чарами укажет вам путь к истинной славе". Таким образом он излагает нам свое представление о всемогуществе Бога: "Quam vim animum esse dicunt mundi, eamdemque esse mentem sapientiamque perfectam; quem Deum appellant".³³³ "Эту силу они называют душой мира, и, глядя на нее как на совершенную в разуме и мудрости, они называют ее своим Богом". И снова он говорит, говоря о заботе Бога: "Quis enim potest-quam existimet a deo se curari-non et dies, et noctes divinum numen horrere?"³³⁴ "Кто, думая, что Бог заботится о нем, не живет день и ночь в благоговении перед его божественным величием?" Что касается долга человека перед ближним, о котором язычники до и даже после Цицерона, похоже, имели лишь смутное представление, то трактат De Officiis полон им, как, впрочем, и вся его жизнь. "Omne officium, quod ad conjunctionem hominum et ad societatem tuendam valet, anteponendum est illi officio, quod cognitione et scientia continetur".³³⁵ "Все обязанности, которые направлены на защиту общества человека с людьми, следует предпочесть тем, для которых наука является простым объектом". Его вера в совесть проявляется в законе, который он устанавливает против самоубийства: "Vetat enim dominans ille in nobis deus, injussu hinc nos suo demigrare".³³⁶ "Тот Бог, что внутри нас, запрещает нам уходить отсюда без его разрешения". Что касается справедливости, то мне нет нужды приводить цитаты из его произведений в доказательство этой добродетели, ради которой написаны все его труды.

Представления этого язычника о Божьем управлении людьми и о том, что человек должен быть послушен своему Богу, были настолько глубоко внедрены в его сердце, что тот, кто берется писать его жизнь, не должен пройти мимо этого незамеченным. Для нас религия стала верой, хотя слишком часто принимает форму сурового долга. Мы получили ее от наших отцов и матерей; и хотя она была дана нам, возможно, безразличными руками, все же она была дана. Он был там со всеми своими писаными законами, по которым можно жить - если мы выбираем. Богатые и бедные, большинство из нас, во всяком случае, знают молитву "Отче наш", и большинство из нас регулярно повторяют ее на протяжении всей своей жизни. Не так уж много среди нас тех, кто не узнал, что от воровства, убийства, прелюбодеяния их удерживает нечто, выходящее за рамки закона. Весь Рим и все римляне ничего не знали о подобном обязательстве, разве что некоторые, как Цицерон, узнали об этом из глубины собственной души. Он, конечно, узнал. "Suis te oportet illecebris ipsa virtus trahat ad verum decus". "Добродетель сама своими чарами укажет вам путь к истинной славе". Эти слова кажутся нам совершенно обыденными. Нет ни одного священника, который бы не вставил их в проповедь. Но во времена Цицерона они были новыми и доселе неизученными. Была идея старого греческого философа о том, что τὸ καλόν - вещь прекрасная - должна быть найдена в добродетели и что она сделает человека абсолютно счастливым, если он овладеет ею. Но с ней не было связано ни Бога, ни будущей жизни, ни перспектив, достаточных для того, чтобы

избавить человека от страха смерти. Это была кожа и прунелла, от начала до конца. Человек должен был умереть и меланхолично переплыть Стикс. Но Цицерон был первым, кто рассказал своим братьям-римлянам об умопостигаемом рае. "Certum esse in cœlo definitum locum ubi beati ævo sempiterno fruuntur". "На небесах определенно есть место, где блаженные будут наслаждаться вечной жизнью". И затем, как близко он понял то учение, которое говорит нам, что мы должны поступать с другими так, как мы хотели бы, чтобы они поступали с нами - самую сердцевину и костный мозг и внутренний смысл учения Христа, приспособивая которое, мы становимся людьми, пренебрегая которым, мы возвращаемся к язычеству. Когда мы оглядываемся на мир без этого закона, мы не видим в нем ничего хорошего, несмотря на индивидуальное величие и национальную честь. Но Цицерон нашел его: "Это братство между людьми, это согласие в том, что может быть полезно для всех, и эта всеобщая любовь к человеческому роду!"³³⁷ Все это заключено в этих нескольких словах, но если что-то захочется подробно объяснить наш долг перед ближними, то это можно найти, обратившись к этому отрывку. Насколько разным был мир до того, как нам был дан этот закон, и после! Даже само существование этого закона, хотя он и не исполняется, смягчает сердца людей.

Если, как считают некоторые, цель религии Христа - научить людей жить по-божески, а не поклоняться Богу в какой-то особой форме, то можно сказать, что Цицерон был почти христианином еще до пришествия Христа. Если, как считают некоторые, ученики Христа должны искать вечность улучшенного существования для всех, а не рай славы для немногих и ад, который никогда не будет смягчен, то Цицерон предвосхитил многое из учения Христа. Конечно, было бы нелепо предполагать, что он подошел к мистической части нашей религии. Но вера в эту мистическую часть не является необходимой для формирования поведения людей. Божественное рождение, учение о Троице и Вечеря Господня не нужны для того, чтобы научить человека жить со своими братьями на условиях терпения и братской любви. Вы можете жить с человеком из года в год и не знать его вероучения, если он сам не скажет вам об этом или если вы не увидите, как он совершает богослужения; но вы не можете жить с ним и не знать, живет ли он в соответствии с учением Христа". Так было и с Цицероном. Прочтите его произведения от начала до конца, и вы почувствуете, что живете с человеком, которого вы могли бы сопровождать через деревенскую зелень в церковь, если бы он был достаточно любезен, чтобы остаться с вами на воскресенье. Здесь есть и урбанистичность, и мягкость, и человечность, и миловидность. Но вы не найдете этого ни у Сезара, ни у Лукреция, ни у Вергилия. Когда вы читаете его философские трактаты, вам кажется, что вы обсуждаете с каким-то ученым последнего времени теории Платона или Эпикура. Он не говорит о них так, будто верит в них для наставления своей души, да и вы не ожидаете этого. Весь интерес, который вы испытываете к беседе, пропал бы, если бы вы обнаружили такую веру. Вы бы избегали этого человека, как язычника. Стоическая доктрина так потрясла бы вас, когда была бы выставлена на всеобщее обозрение, что вы почувствовали бы себя в компании какого-нибудь безумного атеиста - с человеком, ради благополучия которого, рано или поздно, никогда не звонили в церковные колокола. Но с человеком, который знает своего Платона просто наизусть, можно провести долгий летний день в приятной беседе. Так и с Цицероном. Вы лежите с ним, глядя на море в Комесе, или сидите с ним под платаном Красса, и слушаете, как он рассказывает вам о той или иной доктрине. Можно предположить, что так говорил Аркесилай, и так излагал закон Карнеад. Это было так, и не более. Но когда он говорит вам о месте, отведенном вам на небесах, и о том, как вы должны его завоевать, он говорит совершенно серьезно.

Мы вообще мало заботимся о тех учителях религии, которые не пытались жить в соответствии со своим собственным учением. Цицерон рассказал нам о своих представлениях о Божестве

и изложил свою теорию о том, какими делами человек может надеяться достичь рая, в котором Бог наградит вечной жизнью тех, кто заслужил это блаженство. На первом месте у него стоит любовь к родине. Во всяком случае, человек должен быть верен своей стране от первого до последнего. Далее следуют честность и честь - то "честное слово", которое выводит его за пределы простой честности благовоспитанных торговцев. Затем семейная привязанность, затем дружба, а потом та постоянная любовь к нашим fel низшим существам, которая учит нас поступать с другими так, как мы хотели бы, чтобы они поступали с нами. Вслед за ними идет дюжина более мелких добродетелей, но каждая из них настолько смешана с другой, что не может занять отдельного места - достоинство, мужественность, истина, милосердие, долготерпение, прощение и человечность.

Испытайте его на всех этих качествах и посмотрите, каким он выйдет из огня. Он так любил свою страну, что можно сказать, что он жил только ради нее; с первого момента, когда он мальчиком начал учиться в Риме великой профессии адвоката, и до последнего, когда он отдал горло своим убийцам, не было ни одного момента, когда его сердце не пульсировало бы ради нее.

Защищая Америкину и обвиняя Верреса, он стремился остановить проскрипции, опозорить скамью и наказать грабителей провинций. При изгнании Катилина им руководило то же сильное чувство. То же самое было и в Киликии. Тот же патриотизм побудил его последовать за Помпеем к месту войны. Тот же самый патриотизм наполнил его почти юношеской энергией, когда наступила последняя битва за Республику. О нем говорили, что он начал жизнь как либерал, напад на Суллу, а потом стал консерватором, получив должность консула; что он выступал против Сезара, потом льстил ему, а потом радовался его смерти. Я думаю, что те, кто так обвиняет его, вряд ли пытались прочесть его характер в свете перемен того времени. Он всегда был консерватором; но он хотел видеть, что окружающие его вещи стоит сохранить. Он всегда был противником Сезара, чей гений и дух были противоположны его собственным. Но для того чтобы сохранить хоть что-то от Республики, необходимо было терпеть Сезара. Для себя он ничего не хотел брать от Цезаря, кроме разрешения дышать итальянским воздухом. Он льстил ему, как это было принято у римлян. Он должен был это делать, иначе его присутствие было бы невозможно, а своим присутствием он всегда мог что-то сделать. Что касается любви к родине, которая среди добродетелей стояла у него на первом месте, то он был чист и велик. Не было ни одного момента в его карьере, когда бы чувство не было в его сердце, смешанное, конечно, с личными амбициями, как и должно быть, ибо как может человек показать свою любовь к стране, кроме как желанием занять высокое место в ее советах? То, что Катон называл его "Pater Patriæ", было для его ушей самой приятной музыкой, которую он когда-либо слышал.

Давайте сравним его честность с честностью того времени, в котором он жил. Все высокие награды государства были в его распоряжении, и он мог бы взять их, чтобы стать безопаснее, крепче, могущественнее, взяв их; но он ничего не взял. Ни одно роскошное богатство из римской провинции не прилипло к его рукам. Мы думаем о наших Кавендишах, Говардах и Стэнли и считаем, что в такой честности нет ничего особенного. Но Кавендиши, Говарды и Стэнли тех времен грабили с нескрываемой настойчивостью. Сезар грабил так много, что ставил себя выше всяких сомнений в честности. Откуда у него, который до отъезда в Испанию был в огромных долгах, взялся миллион, которым он подкупил своих сторонников? Цицерон не покупал и не продавал. О нем рассказывают двадцать маленьких историй, и ни одна из них не оправдывает ни крупницы правды. Он брал в долг и всегда платил; он давал в долг, но не всегда получал его. С таким голосом, как у него, голосом, который выносил

вердикт о виновности или невиновности, какие платежи не стоило бы сделать ему римскому вельможе? Насколько мы можем судить, таких выплат никогда не было. Он принял в подарок книги от своего друга Пета и спросил другого друга, что скажет на это Цинций? Люди, пытавшиеся его вычислить и не понявшие его маленькой шутки, сказали: "Вот! Ему заплатили за его работу". Он защищал Пета, и Пет подарил ему книги". "Он защищал Пиэтуса?" - спросите вы. "Мы предполагаем, что да, потому что он дал ему книги", - отвечают они. Я говорю, что, во всяком случае, эту вину следует предъявить ему, пока она не стала очевидной из случайных отрывков его собственных писем.

Привязанность Цицерона к своей семье дает нам совершенно незнакомое представление о римских нравах. В ней есть мягкость, нежность, нетерпение, которые придали бы изящество жизни какого-нибудь английского аристократа, у которого сердце было приковано к дому, хотя дух его был занят работой для своей страны. Но мы не ожидаем этого от Помпеев, Цезарей и Катонов Рима, возможно, потому, что мы не знаем их так, как знаем Цицерона. Странно, однако, что у нас нет ни слова о любви к его мальчикам, как у Помпея; ни слова о любви к его дочери, как у Цезаря. Но любовь Цицерона к жене, брату, сыну, племяннику, особенно к дочери, была безгранична. Он мог простить любые проступки с их стороны, пока не наступила очередь мнимой нечестности его жены, которую простить было нельзя. Рибальность Дио Кассия загрязнила историю его любви к Туллии; но на самом деле мы не знаем ничего более сладкого в записях о великих людях, ничего, что тронуло бы нас больше, чем глубина его горя. Его готовность простить брата и простить племянника, его стремление вернуть их к себе, его неспособность жить без них говорят о его нежности.

Его дружба с Аттикусом была того же калибра. Она была такого рода, что могла не только вынести жесткие слова, но и иногда произносить их, не опасаясь разрыва. Может ли кто-нибудь, читая записи об этой долгой привязанности, не пожелать, чтобы его благословили такой дружбой? Что касается любви к ближним, которая проистекает не из личной симпатии к ним, а из той сердечной доброты ко всему человечеству, которая стала для нас плодом учения Христа, желания поступать с другими так, как они должны поступать с нами, то вся его жизнь является примером. Когда Квестор был в Сицилии, его главной обязанностью было отправлять домой кукурузу. Он действительно отправлял ее домой, но так, чтобы не обидеть никого из тех, кому она поставлялась в Сицилии. В письме к брату, касающемся его управления Малой Азией, уроки, которые он преподносит, аналогичны. Когда он был в Киликии, все было одинаково от первого до последнего. Он не брал ни копейки с бедных провинциалов - даже того, что мог взять по закону. "Non modo non fœnum, sed ne ligna quidem!" Откуда у него взялась мысль, что хорошо бы не мучить бедных несчастных, попавших под его власть? Почему он получал такое неримское удовольствие от того, что делал людей счастливыми?

Цицерон, несомненно, был язычником, и в соответствии с правилами, преобладающими в таких вопросах, его следовало бы назвать представителем этой религии, если бы речь зашла о его вероисповедании. Но он не писал так, как писали язычники, и не действовал так, как действовали они. Образованный интеллект римского мира пришел к тому, чтобы отречься от своих богов и создать для себя веру в ничто. Вдумчивому человеку было легче и приятнее верить в ничто, чем в Юпитера и Юнону, в Венеру и Марса. Но когда появился человек с интеллектом настолько превосходным, что, отвергнув богов своей страны, обнаружил, что для него существует необходимость в реальном Боге, и признал как факт, что общение человека с человеком требует его, мы не должны, записывая факты его жизни, проходить мимо его религии, как будто это была простая случайность. Христос пришел к нам, и нам не нужен другой учитель. Христос пришел к нам настолько совершенным человеком, что не

имеет ни малейшего изъяна. Цицерон пришел вовсе не как учитель. Он никогда не признавал возможности учить людей религии, а возможно, и необходимости. Но он видел путь к большей части истины и понимал, что есть небеса; что путь к ним должен быть найден в добрых делах здесь, на земле; и что добрые дела, требуемые от него, будут добротой к другим. Поэтому я написал эту заключительную главу о его религии.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

(См. стр. 308, том II.)

СОН СЦИПИОНА.

Сципион Младший, находясь в Африке, отправился на встречу с Массиниссой и обсудил с африканским царем характер своего номинального деда, так как на самом деле он был сыном Павла Эмилия и был усыновлен сыном великого завоевателя в Заме. После этого он удалился на покой и увидел сон, который и заставил его рассказать. Африкан-старший явился ему больше, чем жизнь, и обратился к нему со следующими словами: "Подойди, - сказал призрак, - подойди духом, перестань бояться и запиши на скрижалях своей памяти то, что я тебе скажу".

"Посмотри вниз на этот город. Я заставил его подчиниться Риму. Теперь он стремится возобновить былую вражду, и ты, новичок в оружии, пришел завоевать его". Затем со своих звездных высот он указывает на некогда прославленный Карфаген. "Через двенадцать месяцев ты покоришь этот город и заслужишь то имя, которое по наследству стало твоим. Разрушитель Карфагена, триумфатор Цензора, посол от Рима в Египте, Сирии, Азии и Греции, ты во второй раз будешь избран консулом, хотя и отсутствующим, и, осадив Нумантию, доведешь до конца великую войну. Тогда все государство обратится к тебе и к твоему имени. Сенат, граждане, союзники будут ждать тебя. Одним словом, именно к тебе, как к Диктатору, Республика будет обращаться за спасением от преступлений твоих родственников.

"Но чтобы ты всегда был жив и защищал Республику, знай следующее. На небесах есть особое место блаженства для тех, кто служил своей стране. Для Бога, вззирающего на землю, нет ничего дороже людей, связанных друг с другом благоговением перед законами".

"Тогда, испугавшись, я спросил его, жив ли еще он, и мой отец Паулюс, и другие, кого мы считали ушедшими. "На самом деле, - сказал он, - живы те, кто вырвался из рабства плоти. То, что вы называете жизнью, есть смерть. Но вот Паулюс, твой отец". Увидев его, я залилась слезами, но он, обняв меня, запретил мне плакать.

"Раз это ваше - жизнь, как говорит мне мой внук, - сказал я, как только слезы позволили мне говорить, - почему, о почтеннейший отец, я медлю здесь, на земле, вместо того чтобы спешить к вам?" "Этого не может быть, - ответил он. Пока тот Бог, чей храм окружает тебя повсюду, не освободит тебя от оков тела, ты не сможешь прийти к нам. Люди рождаются по его закону и населяют шар, называемый землей; и им дана душа из числа звезд, совершенная по форме и живая небесными инстинктами, которые с чудесной быстротой завершают их стремительный путь. Поэтому, сын мой, ты и все справедливые люди должны удерживать эту душу в пределах своего тела и не позволять ей летать без приказа того, кем она тебе дана. Ты не можешь избежать долга, который возложил на тебя Бог. Живи, мой

Сципион, и сияй благочестием и справедливостью, как это делал твой дед и я. Это твой долг перед родителями и родственниками, но особенно - перед своей страной. Здесь лежит путь к небесам. Следуя этим путем, ты найдешь дорогу к тем, кто наполняет бесплотными духами царство под твоими глазами".

"Тогда я увидел тот великолепный огненный круг, который вы, вслед за греками, называете Млечным путем, и, глядя оттуда, увидел, что все вокруг прекрасно и удивительно. Там были звезды, которые мы не можем увидеть отсюда, и другие, огромных, невиданных размеров; а затем те, что поменьше, ближайšie к нам, которые сияют отраженным светом. Но каждая звезда среди них была больше нашей Земли. Это показалось мне таким ужасным, что я пожалел, что принадлежу к такой маленькой империи.

"Пока я смотрел, до моих ушей донесся звук. "Что это за музыка, - сказал я, - которая звучит так громко и в то же время так сладко?

"Это гармония звезд, - сказал он, - которую мир создает своим движением. Низкие и громкие, низкие и высокие, они звенят друг о друга с неравными интервалами, но каждый в свое время и в свою мелодию. Они не могут работать в тишине, и природа требует, чтобы от одного края небес до другого они звучали глубоким диапазоном. Далекие дают громкий трель. Ближайšie к Луне звучат низко и звонко. Земля, девятая по порядку, неподвижно сидящая на своем самом низком месте, занимает центр системы. От восьмерки исходят семь звуков, различающихся между собой, а Венера и Меркурий объединяются в одно усилие. В этом числе кроется секрет всех человеческих дел. Ученые люди проложили себе путь на небеса, подражая этой музыке, как и другие, благодаря совершенству своей учебы. Наполненное этим звуком чувство слуха у людей не работает. Какое чувство может быть более тусклым? Это подобно тому, как Нил впадает в свои катаракты, и окружающие народы, пораженные его шумом, становятся глухими".

"Тогда, - сказал Африкан, - посмотри и увидишь, как малы жилища людей и как величественны жилища ангелов света. Какой славы можно ожидать от людей или какой славы? Ты видишь, как они живут в убогих местах, в маленьких уголках, одиноко среди огромных пустынь, и что те, кто их населяет, живут так изолированно, что ничто не может пройти между ними. Можно ли ожидать от них славы?

"Вы видите эту землю, окруженную зонами. Вы видите, как две из них, замерзшие с полюсов, превратились в сплошной вечный лед; и как центральное царство между ними было выжжено солнечными лучами. Однако два из них пригодны для жизни. Те, кто обитает на юге, чьи стопы противоположны нашим, - это раса, о которой мы ничего не знаем. Но посмотрите, как мала часть этой маленькой земли, населенной нами, обращенными к северу. Ведь вся земля, которую вы населяете, широкая и узкая, - это лишь маленький остров, окруженный морем, которое вы называете великим Атлантическим океаном, но каким бы огромным вы его ни считали, как он мал! Смогло ли ваше или мое имя на этом небольшом участке земной поверхности подняться на гору Кавказ или пересечь Ганг? Кто в краях восходящего или заходящего солнца слышал о нашей славе? Отрежьте эти области, удаленные всего на расстояние вытянутой руки, и посмотрите, в каких узких границах распространится ваша слава! А те, кто говорит о вас, - как скоро их голоса будут услышаны?

"Если человек, не завидуя, захочет передать вашу славу будущим векам, все равно придут эти бури природы. Земля будет погружена в воду и опалена огнем; гибель, которая должна произойти в течение веков, лишит вас всякой прочной славы. Будете ли вы довольствоваться тем, что о вас услышат только грядущие, когда для толпы лучших людей, ушедших из жизни, ваше имя будет ничем?

"И помните, что ничья слава не продлится и года. Люди называют годом тот промежуток времени, который они измеряют возвращением одной звезды на свое прежнее место. Но когда все звезды вернутся и пройдут свой путь по небу, тогда, тогда это действительно будет называться годом. В этом году содержится столько наших эпох. Ибо как после смерти Ромула и его пути сюда, в эти храмы богов, человек увидел, что солнце померкло, так и солнце снова уйдет с небес, когда звезды, совершив свой путь, вернутся в свои прежние обители. Из этого, истинного года, еще не израсходована ни одна двадцатая часть. Если же вы отчаиваетесь достичь этой обители, к которой стремятся все истинно совершенные, то какую славу можно обрести? Когда она будет достигнута, она не продлится и года. Так посмотри же ввысь, сын мой, и устрями свой взор к этой вечной обители. Презирай вульгарную славу и не возлагай надежд на человеческие награды. Пусть Добродетель своими чарами ведет тебя к истинной славе. Пусть люди говорят о вас - ведь они будут говорить. Человеческие разговоры о человеке невелики по объему и недолговечны по времени. Она умирает вместе с поколением и забывается потомками".

"Когда он заговорил, я ответил ему так: "Африканус, - сказал я, - я действительно до сих пор старался найти дорогу на небо, следуя твоему примеру и примеру моего отца; но теперь, за столь великую награду, я буду бороться еще смелее". "Борись, - ответил он, - и знай: не то, что ты смертен, а только это твое тело. Эта хрупкая форма - не ты сам. Это разум, невидимый, а не форма, на которую человек может указать пальцем. Осознай себя богом. Быть сильным в цели и в разуме; помнить, что нужно обеспечивать и управлять; сдерживать и двигать тело, над которым он поставлен, как великий Бог делает мир - вот что значит быть богом. И как Бог, движущий этот смертный мир, вечен, так и вечная душа управляет этим бренным телом".

ССЫЛКИ:

- 1 Как я объясню несколькими страницами дальше, четыре из этих речей поздние критики считают поддельными.
- 2 См. введение г-на Лонга к этим орациям. "Все это я признаю", - говорит мистер Лонг, говоря о некоем возможном спорщике; "но он никогда не убедит ни одного здравомыслящего человека, что первый из римских писателей, человек с хорошим пониманием и мастер красноречия, собрал такие безвкусовые, слабые и экстравагантные сочинения".
- 3 Pro Cn. Plancio, ca. xxx.: "Nonne etiam illa testis est oratio quæ est a me prima habita in Senatu. * * * Recitetur oratio, quæ propter rei magnitudinem dicta de scripto est."
- 4 Квинтилиан, lib. xi., ca. 1, который как критик преклонялся перед Цицероном, тем не менее, очень ясно рассказал нам о том, что до его времени чувствовал римский мир по поводу самовосхваления Цицерона: "Reprehensus est in hac parte non mediocriter Cicero".
- 5 Ad Att., lib. iv., 2. Он рекомендует, чтобы речь попала в руки всех молодых людей, и таким образом дает еще одно доказательство того, что мы все еще имеем его собственные слова.

Когда до нас дошло столько всего, мы не можем не думать, что подготовленная таким образом оратория останется в живых.

6 Пожалуй, мне лучше отослать читателей к книге v., главе viii., "Истории" Моммзена.

7 "Политика римлян в отношении религии"; трактат, который был прочитан его автором некоторым студентам в Бордо. Он был задуман как предисловие к более длинному произведению.

8 Ad Div., lib. i., 2.

9 Ad Div., lib. i., 5: "Nosti hominis tarditatem, et taciturnitatem".

10 Ad Quintum Fratrem, lib. ii., 3.

11 Ibid., lib. ii., 6.

12 Ad Att., lib. iv., 5.

13 Ad Div., lib. v., 12.

14 Очень рано в истории Рима было найдено целесообразным украсть этрусского прорицателя для чтения этих загадок, что и было галантно сделано молодым солдатом, который убежал со старым пророком на руках (Livy, v., 15). Историк наивно сообщает нам, что чем чаще происходили чудеса, тем больше в них верили. По одному случаю их собралась целая толпа: Вороны закаркали в храме Юноны. Зеленое дерево загорелось. Воды Мантуи стали кровавыми. В одном месте шел дождь из мела, в другом - огонь. Молнии были очень разрушительны, они топили храм бога или ореховое дерево на обочине дороги, безразлично. На Сицилии заговорил бык. Один из детей еще до рождения кричал "Io triumphe". В Сполетуме женщина превратилась в мужчину. В небесах появился алтарь. Призрачный отряд вооруженных людей появился в Яникуле (Livy, xxiv., 10). В таких случаях "аруспики" всегда приказывали устроить огромную резню жертв и, несомненно, пировали, как нечестивые сыновья Илая.

Даже Гораций писал так, будто верил в гнев богов, и, конечно, считал, что общественная мораль улучшится, если к ней вновь привлечь внимание:

Delicta majorum immeritus lues, Romane, donec templa refeceris.-Od., lib. iii., 6.

15 См. предисловие М. Геро к его переводу этой оратории, De Aruspium Responsis.

16 Ca. ix.: "Кто настолько безумен, что, глядя на небо, не признает, что там есть боги, или осмеливается думать, что вещи, которые он видит, возникли случайно - вещи настолько удивительные, что самые разумные из нас не понимают их движения?".

17 Ca. xxviii.: "Quæ in tempestate sæva quieta est, et lucet in tenebris, et pulsa loco manet tamen, atque hæret in patria, splendetque per se semper, neque alienis unquam sordibus obsolescit." Я считаю это прекрасным распределением слов в отношении расположения как для слуха, так и для интеллекта.

18 Ca. xliv.: "Всегда существовало два типа людей, которые занимались государством и боролись за то, чтобы каждый из них был самым выдающимся. Одни стремились к тому, чтобы их считали "populares", друзьями народа; другие - к тому, чтобы их считали "optimates", наиболее достойными доверия. Те, кто делал и говорил то, что могло понравиться народу, были "популярами", а те, кто вел себя так, чтобы удовлетворить каждого лучшего

гражданина, были "оптиматами"". Цицерон в своем определении, несомненно, задает вопрос; но именно это и было его целью.

19 Моммзен, lib. v., chap. viii., в одном из своих примечаний говорит, что эта оратория о провинциях была той самой "палинодией", по поводу которой Цицерон писал Аттику. Предмет обсуждения, несомненно, был тот же. Какой авторитет нашел историк для своего утверждения, я не знаю; но ни один писатель, как правило, не бывает более корректным.

20 De Prov. Cons., ca. viii.

21 Ca. xiii.

22 Ca. xiv.

23 Ca. xviii.

24 Pro C. Balbo, ca. vii.

25 Ibid., ca. xiii.

26 Гиббон, Упадок и падение, ок. vii.

27 Здесь не было ни договора, ни служебных уз, ни власти мастера, ни, вероятно, дисциплины; но жаждущего ученика учили смотреть на беспокойного наставника с любовью, уважением и верой.

28 In Pisonem, xxvii. Даже в словах Цицерона, использованных здесь, есть оттенок иронии, хотя мы не можем не представить, что в это время он очень хотел быть в хороших отношениях с Помпеем. "Идут игры, самые дорогие и самые великолепные из всех, какие когда-либо знала память человеческая; таких никогда не было раньше и, насколько я могу судить, никогда больше не будет". "Покажись там, если осмелишься!" - говорит он далее, обращаясь к несчастному Пизону.

29 Жизнь Помпея у Плутарха: "Красс по истечении срока своего консульства удалился в свою провинцию. Помпей, оставшись в Риме, открыл свой театр". Но Плутарх, несомненно, ошибся.

30 О положении семьи можно судить по обращению Горация к некоторым ее членам во времена Августа. "Credite Pisones", De Arte Poetica. Пизоны, к которым было обращено это обращение, были внуками жертвы Цицерона.

31 Quin., ix., 4: "Pro dii immortales, quis hic illuxit dies!". Критик цитирует ее как порочную по звучанию и сбивающуюся на метр, что считалось большим недостатком римской прозы, как, впрочем, и английской. Однако наши уши вряд ли достаточно тонкие, чтобы уловить ямбический звон, на который жалуется Квинтилиан.

32 Ca. xviii., xx., xxii.

33 "Quæ potest homini esse polito delectatio", Ad Div., vii., 1. Эти слова в последующие годы использовались как аргумент против всех видов спорта на открытом воздухе, игнорируя тот факт, что они были использованы Цицероном в отношении развлечения, в котором зрители просто смотрели, не принимая активного участия ни в опасных, ни в искусных делах. - *Fortnightly Review*, October, 1869, The Morality of Field Sports.

34 Ad Att., lib. iv., 16.

35 Ad Div., ii., 8.

36 См. письмо, Ad Quin. Frat., lib. iii., 2: "Homo undique actus, et quam a me maxime vulneraretur, non tulit, et me trementi voce exulem appellavit." Описана вся сцена.

37 Ad Fam., v., 8.

38 Ad Quin. Frat., ii., 12.

39 Ad Att., iv., 15.

40 Val. Max., lib. iv., ca. ii., 4.

41 Гораций, Сб., lib. ii., 1:

Hor. "Trebati,
Quid faciam præscrire."-Treb. "Quiescas."-Hor. "Ne faciam, inquis, Omnino versus?"-Treb. "Aio."-
Hor. "Peream male si non Optimum erat".

Требатий стал известным юрисконсультom во времена Августа и писал трактаты.

42 Ca. iv.: "Male judicavit populus. At judicavit. Non debuit, at potuit".

43 Ca. vi.: "Servare necesse est gradus. Cedat consulari generi praetorium, nec contendat cum praetorio equester locus."

44 Ca. xix.

45 Ad Fam., i., 9.

46 Ca. xi.

47 Ad Fam., lib. ii., 6: "Dux nobis et auctor opus est et eorum ventorum quos proposui moderator quidem et quasi gubernator."

48 Моммзен, кн. v., гл. viii. Согласно историку, Хлодий был Ахиллом, а Милон - Гектором. В этой ссоре Гектор убил Ахилла.

49 Ad Att., lib. iv., 16.

50 Ad Fam., lib. vii., 7.

51 Vell. Pat., ii., 47.

52 Мы помним, с каким презрением Гораций отнесся к римскому солдату, который, как он полагает, согласился принять от парфянского завоевателя и жизнь, и супругу:

Milesne Crassi conjuge barbara
Turpis maritus vixit? - Ode iii., 5.

Было подсчитано, что из 40 000 легионеров половина была убита, 10 000 вернулись в Сирию, а 10 000 обосновались в стране, которую мы теперь знаем как Мерв.

53 Ad Quin. Frat., lib. ii., 4, и Ad Att., lib. iv., 5.

54 "Interrogatio de ære alieno Milonis".

55 Ливий, Эпитома, 107: "Absens et solus quod nulli alii umquam contigit".

56 Курия Хостилия, в которой сенат заседал часто, но далеко не всегда.

57 Ka. ii.

58 Ca. v.

59 Ca. xx., xxi.

60 Ca. xxix.

61 Ca. xxxvii.: "O me miserum! O me infelicem! Отзови меня в патриархию, Мило, потчуй его. Ego te in patria per eosdem retinere non potero!". "С помощью таких граждан, как эти, - говорит он, указывая на судейскую скамью, - ты смог вернуть меня в мою страну. Не смогу ли я с той же помощью вернуть тебя в твою?"

62 Ad Fam., lib. xiii., 75.

63 Ad Fam., lib. vii., 2: "In primisque me delectavit tantum studium bonorum in me exstitisse contra incredibilem contentionem clarissimi et potentissimi viri."

64 Cæsar, a Sketch, p. 336.

65 Ibid., p. 341.

66 Он достиг Лаодикеи, внутреннего города, 31 июля 51 г. до н. э., и, насколько мы можем судить, высадился в Сиде 3 августа 50 г. до н. э. Можно усомниться, что какой-либо римский правитель с большей оперативностью подошел к концу своего годичного правления.

67 В первоначальном варианте закона Помпея для Сезара не было сделано никаких исключений; после того как закон был начертан, как обычно, на бронзовой табличке, его изменили по приказу Помпея, чтобы дать Сезару привилегию. Помпей сослался на забывчивость, но изменение, вероятно, было навязано ему влиянием Сезара.- Суэтоний, J. Cæsar, xxviii.

68 Ad Div., lib. iii., 2.

69 Ad Att., lib. v., 1.

70 Абекен указывает нам, говоря о годе окончания правления Цицерона, 50 г. до н. э., что письма Катона к Цицерону (Ad Fam., lib. xv., 5) служат неопровержимым свидетельством подлинного величия Цицерона. См. перевод под редакцией Меривейла, стр. 235. Это относится к его поведению в Киликии и, таким образом, может быть воспринято как свидетельство, не относящееся к нему самому, хотя и адресованное ему самому.

71 The Roman Triumvirate, p. 107.

72 Cæsar, a Sketch, pp. 170, 341.

73 Профессор Моммзен ни слова не говорит о правлении Цицерона в Киликии.

74 Я не могу не сослаться на рассказ Моммзена об этой операции, книга v., глава viii: "На него также были наложены золотые оковы", Цицерон. "В условиях серьезных финансовых затруднений беспроцентные займы Сезара * * * были для него в высшей степени

желанными; и многие бессмертные ораторские речи в сенате были пресечены в зародыше мыслью, что агент Сезара может предъявить ему счет после окончания заседания". Здесь есть много утверждений, для которых я тщетно искал авторитет. Я не знаю, что финансы Цицерона были серьезно затруднены в то время. Свидетельства скорее говорят о том, что это было не так. Брал ли он когда-нибудь более одного займа у Сезара? Я ничего не нашел о процентах; но мне кажется, что Цезарь относился к Цицерону так же, как впоследствии Цицерон относился к Помпею, когда тот одалживал ему деньги. Мы не знаем, взимал ли даже Красс проценты с Цицерона. Можно предположить, что заем всегда приветствуется, иначе деньги не одалживались бы, но "высокая степень приветствия", примененная к этому особому займу, должна иметь какое-то особое обоснование. Что касается беспокойства Цицерона, когда он занимал деньги, я ничего не знаю, но он очень хотел их выплатить. Заимствование и одалживание денег между римскими аристократами было очень распространенным явлением. Никто никогда не занимал так свободно, как это делал Сезар. Цицерон был и займодавцем, и заемщиком, но я думаю, что он никогда не испытывал серьезных затруднений. Какая ораторская речь была прервана в зародыше из-за страха перед кредитором? В последнее время он дважды выступал в поддержку Сауфея, один раз против С. Клодия и против Планка - в каждом случае против мнения Цезаря, насколько Цезарь имел свое мнение по этому вопросу. Сумма займа по этому случаю составила 800 000 сестерций - от 6000 до 7000 фунтов стерлингов. В одном из писем к Аттику, lib. v., 5., упоминается еще небольшая сумма в 100 фунтов стерлингов, о которой, однако, Цицерон говорит как о едином целом с другими. Вряд ли Моммзен имел это в виду, когда говорил о займах во множественном числе.

75 М. К. Марцелл был консулом до 51 г.; его брат, К. Клавдий Марцелл, был консулом до 50 г., еще один К. Клавдий Марцелл, двоюродный брат, - до 49 г.

76 Моммзен называет его "уважаемым сенатором". М. де Герле в своем предисловии к оратории "Про Марцелла" утверждает для него должность делегата. Вероятно, он был и тем, и другим, хотя мы можем сомневаться, был ли он "уважаемым" после порки.

77 Ad Att., lib. v., 11: "Marcellus foede in Comensi"; и далее он говорит, что даже если этот человек не был магистратом и поэтому не имел права на полное римское обращение, он был трансальпийцем и поэтому не подвергался бичеванию. См. примечание г-на Уотсона в его "Избранных письмах".

78 Ad Div., lib. ii., 8.

79 Ad Att., lib. v., 13.

80 Там же: "Quæso ut simus annui; ne intercaletur quidem". Возможно, добавление интеркального месяца привело бы к задержке.

81 Ad Div., lib. viii., 2: "Ut tibi curæ sit quod ad pantheras attinet."

82 Ad Att., lib. v., 14.

83 Ad Div., lib. iii., 5.

84 Ad Att., lib. v., 15.

85 Там же, 16.

86 Ad Att., lib. v., 17.

87 Ad Div., lib. iii., 6.

88 Ad Div., lib. xv., 1.

89 Ibid., iii., 8.

90 Ad Div., lib. viii., 8.

91 Ad Div., lib. viii., 10.

92 Ibid., ii., 10.

93 Этот способ приветствия победоносного полководца, несомненно, стал абсурдным во времена Цицерона, когда любая группа солдат была готова задобрить офицера, стоящего над ними, подобным восклицанием. Цицерон высмеивает это, но в то же время открыт для обольщения - как человек с нами будет смеяться над сидящими вокруг него сэрами Джонами и сэрами Томасами, но все же, когда придет его время, будет рад, что его жену будут называть "миледи", как и всех остальных.

94 Ad Div., lib. ii., 7.

95 Ad Att., lib. v., 2.

96 Ad Div., lib. xv., 4.

97 Ibid., xv., 10, и lib. xv., 13: "Ut quam honorificentissimum senatus consultum de meis rebus gestis faciendum cures."

98 Ad Div., lib. viii., 6.

99 Ibid., 7.

100 Ibid., iii., 7.

101 Ibid., 9.

102 Сумма кажется настолько невероятной, что я не могу не подозревать ошибку в РС. Названа сумма в двести аттических талантов. Аттический талант, согласно словарю Смита, стоил 243 фунта 13 шиллингов. Возможно, эта большая сумма была собрана в течение нескольких лет.

103 Ad Att., lib. v., 21.

104 Ibid., vi., 1. Это второе письмо Аттика по поводу сделки, и в нем он, как бы извиняясь за свое поведение перед Брутом, утверждает, что раньше не знал, что деньги принадлежат самому Бруту: "Nunquam enim ex illo audivi illam pecuniam esse suam".

105 В последнем цитированном письме: "Flens mihi meam famam commendasti". "Поверьте, - говорит он, - что я держусь за доктрины, которым вы сами меня научили. Они укоренились в моем сердце".

106 См. первое из этих двух писем, Ad. Att., lib. v., 21: "Quod enim prætori dare consuissent, quoniam ego non acceperam, se a me quodam modo dare."

107 Ad Att., vi., 1: "Tricesimo quoque die talenta Attica xxxiii., et hoc ex tributis". В каждый тринадцатый день он получал тридцать три таланта из налогов, талант составлял около 243 фунтов стерлингов. Мы много слышали о бедности Ариобарзанеса, а также о количестве рабов, которые попадали в Рим из его страны. Вероятно, именно таким образом царь выплатил Помпею свой процент.

Mancipiis locuples eget æris Cappadonum rex.-Hor. Epis., lib. i., vi.

Персий рассказывает, как римский работорговец при продаже толстого каппадокийца лупил его по бедру, чтобы показать, насколько он здоров, Sat. vi., 77. Фраза "Cappadocis eques catastis" используется Марциалом, lib. x., 76, чтобы описать, насколько низкого происхождения может быть римский рыцарь, и говорит нам также, что существовали платформы, возведенные с явной целью продажи рабов из Каппадокии. Ювенал в том же духе говорит об "эквидах Каппадокии", Sat. vii., 15. Потомок даже раба из Каппадокии мог стать рыцарем. Из всего этого мы можем узнать, каков был источник 8000 фунтов в месяц, которые Помпей снисходительно принимал и которые Цицерон описывает как "ex tributis".

108 Ad Att., lib. vi., 2.

109 Ad Att., lib. vi., 3.

110 Ad Div., lib. viii., 11.

111 Ad Att., lib. vi., 4, 5.

112 Ad Div., lib. ii., 15: "Scito me sperare ea quæ sequuntur".

113 Там же.

114 Ad Att., lib. vii., 1.

115 Ad Att., lib. vi., 8.

116 Ad Att., lib. xi., 1.

117 Аппий и Пизон были двумя последними цензорами, избранными Республикой.

118 Ad Div., lib. ii., 15.

119 Аппиан, De Bell. Civ., lib. ii., 26. Историк рассказывает, что консул построил на эти деньги храм, но Курио заплатил свои долги.

120 Моммзен, кн. v., прим. ix.

121 Ad Att., lib. vii., 1: "Video cum altero vinci satius esse quam cum altero vincere".

122 Ad Att., lib. vii., 2: "Adolescentem, ut nosti, et adde, si quid vis, probum."

123 Ad Att., lib. vii., 20-23.

124 Ibid., lib. viii., 4.

125 Ibid., lib. viii., 7.

126 Копия письма D, приложенная к письму Аттику, lib. viii., 11.

127 Ad Att., lib. ix., 10.

128 Там же, lib. ix., 12.

129 Ad Att., lib. x., 4.

130 Ad Att., lib. xi., 5.

131 Гораций, Сб., lib. i., sat. 5.

132 Ad Att., lib. xi., 7.

133 Ad Div., xiv., 16.

134 Ad Att., lib. xi., 24.

135 Ad Att., lib. xi., 24.

136 Ibid., lib. xi., 20-22.

137 Ad Div., xiv., 22, 20. Цифры, идущие не в ту сторону, свидетельствуют лишь о том, что буквы были неправильно расставлены Гравием.

138 Ad Att., lib. xi., 22

139 Oratoriæ Partitiones, xvii., xxiii.

140 De Officiis, lib. i., ca. xxxi.: "Catoni cum incredibilem tribuisset natura gravitatem, eamque ipse perpetua constantia roborasset, semperque in proposito susceptoque consilio permansisset, moriendum potius quam tyranni vultum aspiciendum fuit."

141 Это был Луций Волкаций Тулл.

142 Но теперь, как я полагаю, ученые считают, что Вольф был доказан как ошибающийся, а слова были именно словами Цицерона, благодаря публикации некоторых фрагментов древних схолий на Pro Marcello, которые были обнаружены кардиналом Маем со времен спора.

143 Ad Div., iv., 11.

144 Pro Marcello, ii.

145 Pro Ligario, i.

146 Pro Ligario, iii.

147 Ad Fam., lib. iv., 14.

148 Ad Div., lib. ix., 16.

149 Ad Att., lib. xii., 7.

150 Ibid., 32.

151 Ad Div., lib. xvi., 21.

152 Плиний, Hist. Nat., lib. xiv., 28.

153 Ad Div., lib. vi., 18.

154 Ad Att., lib. xii., 12.

- 155 Там же, 18, 28.
- 156 Ad Att., lib. xii., 14.
- 157 Там же, 18, 28.
- 158 Ad Att., lib. xiii., 28.
- 159 Суетоний, Юлий Цезарь, ок. xxxvii.
- 160 Ad Att., lib. xiii., 44.
- 161 Ad Att., lib. xiii., 42.
- 162 Pro Rege Deiotaro, ii.
- 163 Ibid., ca. xii.: "Solus, inquam, es, C. Cæsar, cujus in victoria cecide it nemo nisi armatus."
- 164 Cæsar, De Bello Gallico, lib. iii., 16: "Itaque, omni Senatu necato, reliquos sub corona vendidit", - говорит он и проходит дальше в своей спокойной, величественной манере.
- 165 Квинт., lib. x., vii: "Nam Ciceronis ad præsens modo tempus aptatos libertus Tiro contraxit."
- 166 Гораций, Epis., lib. i., 1: "Nullus in orbe sinus Baiis præluceat amænis."
- 167 Ad Att., lib. xiii., 52.
- 168 Ad Div., lib. vii., 30.
- 169 Моммзен, кн. v., xi.
- 170 Он покинул Брундизий в последний день года.
- 171 Шекспир, "Юлий Цезарь", акт i., sc. 2.
- 172 Ad Att., lib. xiv., 9, 15.
- 173 Квинтилиан, lib. vii., 4.
- 174 Эти слова можно найти в кратком изложении "Филиппиков" М. Дю Розуара.
- 175 Ad Att., lib. xiv., 1.
- 176 Там же, 14: "Quam oculis cepi justo interitu tyranni".
- 177 Morabin, liv. vi., chap. iii., sec. 6.
- 178 Velleius Paterculus, lib. ii., ca. lviii.
- 179 Моммзен, кн. v., xi.
- 180 Ad Att., lib. xiv., 4.
- 181 Там же, lib. xiv., 6.
- 182 Там же, lib. xiv., 7.
- 183 Ad Att., lib. xiv., 9.
- 184 Там же, lib. xiv., 11.

185 Ad Att., lib. xiv., 13.

186 Ad Div., lib. xvi., 23.

187 Ad Div., lib. ix., 11.

188 Ad Att., lib. xiv., 21.

189 Ad Att., lib. xv., 21.

190 Там же, lib. xv., 26.

191 Ad Att., lib. xv., 27.

192 Ibid., lib. xvi., 1.

193 Ibid., lib. xvi., 5.

194 Ibid., lib. xvi., 2.

195 Ad Att., lib. xvi., 7.

196 Phil., i., 5: "Nimis iracunde hoc quidem, et valde intemperanter". "Кто, - продолжает он, - так сильно провинился перед Республикой, что здесь, в сенате, осмеливаются угрожать его дому, присылая государственных рабочих?"

197 Брут, Ciceroni, lib. ii., 5: "Jam concedo ut vel Philippici vocentur quod tu quadam epistola jocans scripsisti." Боюсь, однако, что мы должны признать, что это письмо не может служить авторитетом для раннего использования этого имени.

198 Phil., i., ca. vii.

199 Ibid., i., ca. viii.

200 Ibid., i., ca. x.

201 Год его рождения точно не известен. Он был консулом три года назад и, должно быть, часто выступал.

202 Ad Div., lib. xii., 2.

203 Возможно, здесь стоит процитировать бесстрастные слова Веллея Патеркула, которые он использует в хронике смерти Цицерона, lib. ii, 66: "Nihil tamen egisti, M. Antoni (cogit enim excedere propositi formam operis, erumpens animo ac pectore indignatio), nihil, inquam, egisti, mercedem cælestissimi oris et clarissimi capitis abscissi numerando, auctoramentoque funebri ad conservatoris quondam reipublicæ tantique consulis irritando necem. Rapuisti tu M. Ciceroni lucem sollicitam, et ætatem senilem, et vitam miseriorem, te principe, quam sub te triumviro mortem. Famam vero gloriamque factorum atque dictorum adeo non abstulisti, ut auxeris. Vivit, vivetque per omnium sæculorum memoriam; dumque hoc vel forte, vel providentia, vel utcumque constitutum, rerum naturæ corpus, quod ille pæne solus Romanorum animo vidit, ingenio complexus est, eloquentia illuminavit, manebit incolume, comitem ævi sui laudem Ciceronis trahet, omnisque posteritas illius in te scripta mirabitur, tuum in eum factum execrabitur; citiusque in mundo genus hominum, quam ea, cadet." Такова была популярная идея Цицерона во времена Тиберия.

204 Ad Div., lib. xii., 23.

205 Ad Att., lib. xvi., 11.

206 Обратившись к "Милому", прим. xv., читатель увидит, в каком совершенно ином тоне Цицерон говорил об этом инциденте, когда Антоний был в фаворе у него.

207 В Риме было признаком отличного характера, если часто выбирали наследника части имущества человека.

208 Гораций, Оды, lib. iii., 30.

209 Ad Att., lib. xvi., 14.

210 Филиппики, lib. vi., 1.

211 "Populum Romanum servire fas non est, quem dii immortales omnibus gentibus imperare voluerunt".

212 Ad Div., lib. xi., 8.

213 Ad Div., lib. x., 3.

214 Ad Brutum, lib. ii., 6.

215 Аппиан. De Bell. Civ., lib. iii., ca. 26.

216 Vell. Pat., lib. ii., 62: "Quæ omnia senatus decretis comprehensa et comprobata sunt."

217 Ad Div., lib. xii., 7. Это в письме к Кассию, в котором он говорит: "Promisi enim et prope confirmavi, te non expectasse nec expectaturum decreta nostra, sed te ipsum tuo more rempublicam defensurum."

218 Аппиан, lib. iii., ок. 50. Историк гражданских войн утверждает, что Пизон выступил в защиту Антония, сказав, что его не следует проклинать пустыми заявлениями, а нужно открыто обвинить. Чувства были очень высоки, но Цицерон, похоже, остался при своем мнении.

219 Ad Div., lib. x., 27.

220 Суетоний, Август, lib. xi.

221 Тацит, Анны, lib. i., x.: "Cæsis Hirtio et Pansa, sive hostis illos, seu Pansam venenum vulnere affusum, sui milites Hirtium et, machinator doli, Cæsar abstulerat."

222 Philip., xiv., 3: "Omnibus, quanquam ruit ipse suis cladibus, pestem, vastitatem, cruciatum, tormenta denuntiat."

223 Philip., xiv., 12: "O fortunata mors, quæ naturæ debita, pro patria est potissimum reddita."

224 Ad Div., lib. xi., 9.

225 Ibid., lib. xi., 10.

226 Там же, lib. xi., 11.

227 Там же, lib. xi., 18.

228 Ad Div., lib. x., 34.

229 Ad Brutum, lib. i., 4.

230 Ad Div., lib. xi., 20: "Ipsium Cæsarem nihil sane de te questum, nisi quod diceret, te dixisse, laudandum adolescentem, ornandum, tollendum."

231 Ad Div., lib. xii., 10.

232 Аппиан, lib. iii., 92.

233 Дио Кассий, lib. xlv., 46.

234 Велл. Paterculus, lib. ii., 65.

235 Велл. Paterculus, lib. ii., 66: "Repugnante Cæsare, sed frustra adversus duos, instauratum Sullani exempli malum, proscriptio."

236 Vell. Paterculus, lib. ii., 66: "Nihil tam indignum illo tempore fuit, quam quod aut Cæsar aliquem proscribere coactus est, aut ab ullo Cicero proscriptus est."

237 Suetonius, Augustus, 27: "In quo restitit quidem aliquamdiu collegis, ne qua fieret proscriptio, sed inceptam utroque acerbius exercuit."

238 Phil., iv., ca. xviii.

239 В следующем списке я разделил последние, отделив "Нравственные эссе" от "Философии".

240 Я привел здесь те трактаты, которые всегда печатаются среди сочинений Цицерона.

241 De Inventione, lib. ii., 4.

242 Квинтилиан, в своем "Проэмии" или "Предисловии": "Oratorem autem instituimus illum perfectum, qui esse nisi vir bonus non potest". Кажется, что почти возник вопрос, может ли существовать совершенный оратор, хотя нет сомнений, что он еще никогда не был таковым.

243 Quint., lib. iii., 1: "Præcipuum vero lumen sicut eloquentiæ, ita præceptis quoque ejus, dedit unicum apud nos specimen orandi, docendique oratorias artes, M. Tullius." И в Таците, De Oratoribus, xxx.: "Ita ex multa eruditione, ex pluribus artibus, - говорит он, говоря о Цицероне, - et omnium rerum scientia exundat, et exuberat illa admirabilis eloquentia; neque oratoris vis et facultas, sicut ceterarum rerum, angustis et brevibus terminis cluditur; sed is est orator, qui de omni quæstione pulchre, et ornate, et ad persuadendum apte dicere, pro dignitate rerum, ad utilitatem temporum, cum voluptate audientium possit." Это не похоже на Тацита, но в равной степени отражает мнение того времени.

244 De Oratore, lib. i., ca. xi.

245 Ibid., lib. i., ca. xxv.

246 Там же, lib. i., ca. xlv.

247 Там же, lib. i., ca. lii.

248 Там же, lib. i., ca. lx.

249 De Oratore, lib. ii., ca. i.

250 Ibid., lib. ii., ca. vii.

251 Там же, lib. ii., ca. xv.

252 Там же, lib. ii., ca. xxiv.

253 De Oratore, lib. ii., ca. xxvii.: "Ut probemus vera esse ea, quæ defendimus; ut conciliemus nobis eos, qui audiunt; ut animos eorum, ad quemcumque causa postulabit motum, vocemus."

254 Ibid., lib. ii., ca. xlv.

255 De Oratore, lib. ii., ca. lxviii.

256 De Oratore, lib. iii., ca. liv.

257 Ibid., lib. iii., ca. lv.

258 Брут, ок. xii.

259 Там же, ок. xvii.

260 Там же, ок. xxxviii.

261 Там же, ок. l.

262 Там же, ок. lvii.

263 Там же, ок. lxxv.

264 Брут, ок. xciii.

265 De Divinatione, lib. ii., 1.

266 Оратор, ок. ii.

267 Оратор, ок. xxvi.

268 Там же, ок. xxviii.

269 Там же, ок. xxxvi. Здесь его язык становится очень изящным.

270 Ad. Att., lib. xiv., 20.

271 Topica, ca. 1: "Itaque hæc quum mecum libros non haberem, memoria repetita, in ipsa navigatione conscripsi, tibi que ex itinere misi."

272 Quint., lib. xi., 3. Переводы этих эпитетов: "открытый, неясный, полный, тонкий, легкий, грубый, укороченный, удлинённый, суровый, податливый, ясный, затуманенный".

273 Brutus, ca. xxxviii.

274 De Oratore, lib. i., ca. liii.

275 Academica, ii., lib. i., ca. iii.

276 Ibid., i., lib. ii., ca. vii.

277 Там же, lib. ii., ca. xii.

278 Там же, lib. ii., ca. xxix.

279 Academica, i., lib. ii., ca. xxxvii.

280 Там же, lib. ii., ca. xxxix.

281 Pro Murena, ca. xxix.

282 De Finibus, lib. i., ca. iii.

283 Ibid., lib. i., ca. v.

284 De Finibus, lib. ii., ca. xxx.

285 De Finibus, lib. iii., ca. xxii.

286 De Finibus, lib. iv., ca. 1.

287 De Finibus, lib. v., ca. ii.

288 Там же, lib. v., ca. xix.

289 Там же, lib. v., ca. xxiii.

290 Epis., lib. i., 1, 14.

291 Tus. Disp., lib. v., ca. xi.

292 Tus. Disp., lib. i., ca. xxx.

293 De Natura Deo., lib. i., ca. iv.

294 Ibid., lib. i., ca. ix.

295 Там же, lib. i., ca. xiv.

296 Там же, lib. ii., ca. xxix.

297 De Nat. Deo., lib. ii., ca. liv., lv.

298 De Nat. Deo., lib. iii., ca. xxvii.

299 De Divinatione, lib. ii., ca. xxxiii.

300 De Divinatione, lib. i., ca. xviii.

301 Ibid., lib. i., ca. xlvii.

302 De Divinatione, lib. ii., ca. i.

303 Гораций, Ер., lib. ii., ca. i.:

"Греция, покорив Грецию, покорила ее завоевателя, И отполировался Рим, который до тех пор был груб". Перевод Конингтона.

304 De Divinatione, lib. ii., ca. ii.

305 Ibid., lib. ii., ca. li.

306 Историю о Симоне Дю Босе и его MS. впервые рассказал мне мистер Тирелл в первом томе "Переписки Цицерона", стр. 88. То, что человек был таким ученым и в то же время таким лжецом и до конца своих дней довольствовался тем, что обманул мир с помощью фиктивного

MS., в то время как его эрудиция, если бы она была заявлена, принесла бы ему славу ученого, просто удивительно. Возможно, он хотел, чтобы его раскрыли. Я, например, не слышал бы о Бозиусе, если бы не его ложь.

307 De Republica, lib. iii. Бесплезно приводить здесь ссылки. Все это фрагментарно и было разделено по-разному по мере получения новой информации.

308 De Legibus, lib. i., ca. vii.

309 De Legibus, lib. i., ca. x.

310 Ibid., lib. ii., ca. xviii.

311 De Legibus, lib. iii., ca. ix., x.

312 Там же, lib. iii., xvii.

313 De Senectute, ca. ix.

314 Там же, прим. x.

315 Там же, ок. xi.

316 Там же, ок. xviii.

317 Там же, ок. xxi.

318 De Amicitia, ca. xix.

319 De Officiis, lib. ii., ca. v.

320 Ibid., lib. i., ca. xvii.

321 De Officiis, lib. i., ca. xxix: "Suppeditant autem et campus noster et studia venandi, honesta exempla ludendi". Этот отрывок цитируется здесь как противоядие тому, что было извлечено некоторое время назад из одного из его писем, которое было использовано, чтобы показать, что охота не является занятием для "вежливого человека" - так как он, Цицерон, не одобрял убийство животных Помпеем на его новой сцене.

322 Ibid., lib. i., ca. xxxi.

323 De Officiis, lib. i., ca. xxxvi. Этот отрывок не может не напомнить о письмах лорда Честерфилда к сыну, написанных с той же целью; но мы сразу видим, что римлянин хотел видеть в своем сыне гораздо более высокий тип поведения, чем англичанин. Англичанин дает следующий совет: "Тысяча мелочей, не поддающихся отдельному определению, сговариваются, чтобы сформировать эти грации - это "je ne sais quoi", которое всегда радуется. Симпатичное лицо; благовоспитанные движения; соответствующая форма одежды; гармоничный голос, что-то открытое и веселое в лице, но без смеха; отчетливая и правильно поставленная манера говорить - все эти и многие другие вещи являются необходимыми ингредиентами в составе приятного "je ne sais quoi", которое чувствуют все, но никто не может описать. Поэтому внимательно следите за тем, что не нравится или радуется вас в других, и будьте уверены, что в целом то же самое будет нравиться или не нравиться им в вас. Упомянув о смехе, я должен особенно предостеречь вас от него; и я хотел бы, чтобы, пока вы живы, вас часто видели улыбающимся, но никогда не слышали смеющимся". Я уверен, что Цицерон смеялся, и его смех был слышен, и при этом он всегда оставался верен манерам джентльмена.

324 De Officiis, lib. i., ca. xlii.

325 De Officiis, lib. ii., l.

326 Там же, lib. ii., ca. xiii.

327 Там же, lib. ii., ca. xiv.

328 De Officiis, lib. ii., ca. xxiv.

329 Ibid., lib. iii., ca. i.

330 De Republica, lib. vi. Бесплезно приводить главы, так как трактат, будучи фрагментарным, по-разному делится в разных изданиях.

331 Ad Archiam, ca. xii.

332 De Republica, lib. vi.

333 Academica, 2, lib. i., ca. vii.

334 Academica, 1, lib. ii., ок. xxxviii.

335 De Officiis, lib. i., ca. xlv.

336 Tusc. Disputationes, lib. i., ca. xxx.

337 De Finibus, lib. v., ca. xxiii.

КОНЕЦ.

Примечание транскриптора:

Латинское слово "demuntiat" в сноске 22 исправлено на "denuntiat", а латинские слова "At" и "audient" в сноске 253 исправлены на "Ut" и "audiunt" соответственно после сверки с достоверными источниками.